

Матьяна Тончарова

# ЕВРИПИД



МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1984

---

83.3(0)3  
Г 65

**Рецензенты:**  
доктор исторических наук,  
профессор **В. И. Кузицин**,  
кандидат филологических наук,  
член СП СССР **М. И. Былинкина**

Г  $\frac{4702010200-270}{078(02) - 84} 139 - 84$

© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.



### В ЛУЧАХ САЛАМИНА

Древним было присуще связывать воедино все вещи во Вселенной, они видели Космос как огромное микро-здание, все составные которого, начиная от положения звезд и кончая судьбой ничтожнейшего из смертных, находятся в перасторжимой взаимосвязи. Рождение великих людей обычно связывали с какими-то большими событиями, на долгое время определявшими развитие того или иного общества. Так вот и о Еврипиде его античные биографы говорят, что он родился в день морского сражения с персами у острова Саламин, 5 октября 480 года до новой эры. Хотя согласно другим источникам он родился четырьмя годами раньше во Флисе, одном из тех аттических поселений, начало которых восходит к мифическим микенским временам, и был увезен на Саламин вместе с другими детьми и женщинами, когда персидские полчища вторглись в пределы Аттики. Но так как первая дата считается общепринятой, то от нее мы и будем вести отсчет долгим и трудным годам великого трагика.

Противоречивы и немногие сведения о родителях Еврипида. Традиция требовала, чтобы любой мало-мальски знаменитый человек обязательно был благородного

происхождения, стоит ли говорить о том, что происхождение большинства великих людей и героев древности возводили к царям или даже полубогам, так и относительно Еврипида: одни были склонны считать, что его мать, Клито, была из древнего рода, и усматривали в еском свидетельстве его причастности к аристократии в том, что мальчиком он подавал вино певцам во время праздника Таргелий — это было обязанностью и привилегией детей из знатных семейств. Другие же утверждали, что матерью Еврипида была простая торговка овощами и зеленью, о чем всю жизнь не уставали напоминать поэту комедиографы. Сам Еврипид упоминает вскользь в своей трагедии «Меланиппа», что его мать знала толк в полезных травах.

Что же касается его отца, Мнесарха (или Мнесархида), то здесь все сходится на том, что это был человек незнатный и, видимо, не особенно состоятельный, торговец или же содержатель гостиницы с не очень хорошей репутацией. По неизвестным причинам он был вынужден даже бежать одно время из Атики в соседнюю Беотию, но и там не преуспел, залез в долги и был наказан: по местному обычаю, его вывели на рынок и посадили накрытого корзиной на виду у всего народа, что считалось большим бесчестьем. Опозоренный Мнесарх вернулся назад в Атику, и дальнейшая его деятельность неизвестна. Трудно сказать, какая из версий о происхождении Еврипида является более достоверной, но скорее всего он был человеком незнатным, ибо не раз на своем веку сетовал на тяготы хундордства:

Иль не родиться,  
Иль благородного сыном отца  
В доме вельможном родиться желай.  
Лучше не жить  
Вовсе на свете незнатным,  
В бедности солнца лучше не видеть.

И даже если его осмеянная в комедиях мать действительно была из старинной семьи и мальчиком Еврипид еще пользовался какими-то привилегиями знатных, по крайней мере при выполнении религиозных обрядов, то позже, в зрелом возрасте, это сомнительное благородство его «не охранило... от незаслуженных страданий», и в своей бесстрашной схватке с жизнью, в презрении к богатым и правдным, в своем глубоком демократизме и вере в простого труженика он всегда был инстинктивным сыном простолюдина, хотя ни своими привычками, ни ве-

ликим, алчущим познания разумом он ни в чем не походил на пезадачливого отца.

Это было тяжелое время, дым стлался над Аттикой, разоренной восточными варварами. Уже более десяти лет длилась война, истоки которой уходили в далекое прошлое. Ранней весной 480 года персы снова вторглись в Элладу: огромная армия из всех подвластных персидской державе народов, ведомая Ксерксом, сыном покойного Дария, перешла Геллеспонт и быстро двигалась к югу, вытравливая поля и разоряя селения. Ее обгоняли слухи, вселявшие панику среди греков, об устрашающем виде варваров, об изобилии у них золота и всякого добра, об их неслыханной храбрости и, очевидно, непобедимости. Почти во всех греческих полисах землевладельческая аристократия выступила за добровольное подчинение персам, и многие города сами открыли ворота завоевателям. И только Афины и Спарта, два наиболее сильных греческих государства, позабыв в годину опасности о своих постоянных раздорах, идущих из глубины веков, были полны решимости насмерть стоять за жизнь и свободу. Ксеркс не отправил даже в Афины и Спарту гонцов — требовать в знак подчинения земли и воды. Он не забыл, как посланцев его отца Дария афиняне сбросили в пропасть, а лакедемоняне — в воду, велел им оттуда принести землю и воду царю.

В Фермопильском ущелье, открывавшем единственный путь в Среднюю Грецию, союзное войско греков во главе со спартанским царем Леонидом пыталось остановить наступление персов, мужественно отражая атаки варваров. Однако нашелся предатель, некий Эпизалт, который провел врагов по тропе, ведущей через горы, прямо в тыл защитников Фермопил. По приказу царя Леонида (это о нем оракул сказал, что смертью своей спасет он Элладу) греческие воины отступили, сам же он с тремястами своими соратниками, цветом мужей Лакедемона, навсегда остался в ущелье, прикрывая отход основных сил. Персы лавиной хлынули в Аттику, сжигая деревни, вырубая сады и оливковые рощи. Население в ужасе стекалось в город, ища спасения за его не столь уж надежными стенами.

Казалось, спасения ждать было неоткуда, и страшная участь афинян была решена. И лишь Фемистокл, гениальный незаконнорожденный сын гражданина Неокла, которого в детстве не пускали в гимнасий для законных детей, пытался спасти свой народ, убеждая сограждан

войти вместе с семьями на корабли и оставить пустой город врагу, чтобы затем сразиться с варварами на море. Ведь предрек же когда-то (как писал об этом впоследствии Геродот) афинянам Дельфийский оракул: «Хотя будет взято все, что заключает в себе земля Кекропова и долина священного Киферона, далекозрящий Зевс даст Тритонее (Афине) деревянную стену, которая останется несокрушимой и сохранит тебя и детей твоих».

И теперь Фемистокл убеждал афинян, что под «деревянной стеной» следует понимать корабли, хотя старики настаивали на том, что оракул имел в виду деревянные стены Акрополя, и предлагали укрыться за ними. Однако сын Неокла одержал верх, и начался печальный исход людей Аттики, многим из которых казалось, что они покидают свою землю навсегда. «Когда весь город уезжал на кораблях, это зрелище внушало одним жалость, другим удивление по поводу такого мужества: семьи свои афиняне провожали в другое место, а сами, не уступая воплям, слезам и объятиям родителей, переправлялись на остров». Среди женщин, переправившихся на Саламин, была, вероятно, и Клито, жена Мнесарха, вот-вот ожидавшая ребенка. Те же старики, что все-таки остались в Афинах и укрылись в святилищах на Акрополе, были все перебиты персами.

После великой победы в Саламинском сражении варварский натиск был остановлен, но до настоящего мира было еще далеко. В 479 году персы под предводительством Мардония снова двинулись в Аттику и заняли Афины, от которых после этого почти ничего не осталось. И лишь через год-другой стали возвращаться в родной город афиняне, по существу, на пепелище: большинство домов и храмов было разрушено, от обводной стены уцелели лишь небольшие куски, уничтожены были даже масла — дар самой Афины и источник соленой воды — дар Посейдона, эти древнейшие святыни афинян. Однако печальное зрелище дотла разоренного города, тягостный перечень утрат, скорбь о погибших не могли омрачить всеобщую радость победы, осознание того, что они отстояли свою землю. Радовала и богатая военная добыча — немалое подспорье при столь чудовищном уроне. Десятую часть из персидского золота сразу же отослали в Дельфы, в святилище Аполлона, и там из него сделали статую человека в 12 локтей высотой, с корабельным носом в руке — в память о матросах и воинах, спасших Элладу. Жители Аттики стали понемногу

возвращаться на родину, многие семьи из разоренных войной селений, в том числе и семья Мнесарха, осели в Афинах.

Детство Еврипида прошло в обстановке подъема духа всего афинского народа, больших надежд и упований на новые победы в будущем. Бессмертные боги защитили афиняи от варваров (ведь недаром воскликнул великий Фемистокл: «Это не мы, которые сделали это!»), и хотелось верить, что они и впредь не обойдут своей милостью город Паллады. Сын Мнесарха, как и большинство его одноклассников — ровесников Саламина и Фермопил, рос в тревожном и радостном осознании того, что и он, пусть еще малолетний, ничего пока не умеющий, тоже есть частица того славного, непобедимого сообщества, о стойкость и мужество которого разбились, казалось бы, неостановимые валы восточного варварства. Он рано почувствовал себя гражданином великого Города и был готов выполнить все, к чему обязывало это гражданство.

Каково бы ни было состояние и общественное положение родителей Еврипида, он получил хорошее воспитание и образование, на чем сходятся все биографы, хотя отец его, уж конечно, не предполагал вырастить из сына поэта или философа. По обычаям того времени, мальчики до семи лет находились на попечении матери или кормилицы в гинекее, женской половине дома, а достигнув школьного возраста, переходили под надзор педагога, обычно престарелого преданного раба, который сопровождал ребенка в школу, нес его книги, следил за его поведением на улице. В соответствии с понятием калокагатии (представлении о совершенном, идеальном человеке: «калос» — прекрасный и «агатос» — хороший) греки стремились развивать у детей как физическую красоту сильного, тренированного тела, так и высокую нравственность, благородство и стойкость души. Во времена детства Еврипида образцом такой калокагатии считали Солон, законодателя, мудреца и поэта минувшего века, а во времена его молодости пример подобного совершенства видели в политическом деятеле Перикле и поэте Софокле.

Обучение в частных школах, в одной из которых учился, по-видимому, и сын Мнесарха, с ранних лет отличавшийся незаурядными способностями и тяготением к знаниям, предусматривало не какую-либо практическую деятельность юношей в будущем, а прежде всего их мо-

ральное совершенство и благородное времяпрепровождение (например, игра на лире или же декламирование эпических поэм), как то и подобает свободному и самостоятельному человеку, которому никогда не придется, подобно рабу, заниматься тяжелым физическим трудом. В школе учили писать сначала острым кончиком металлической или костяной палочки на натертых воском дощечках, а потом тростниковым пером на папирусе, Заучивали алфавит, занесенный в Элладу согласно преданию финикийцем Кадмом, поселившимся когда-то в Беотии. Считали при помощи камешков и особой доски, называемой абака. Читали, запоминали наизусть отрывки из поэм Гомера, привезенных якобы из малоазийской Ионии спартанцем Ликургом и записанных в Афинах совсем недавно, в прошлом веке, при сыновьях тирана Писистрата; а также стихи Гесиода, Феогнида, Солона, Мимнерма, Фокилида, Тиртея — возвышенная поэзия, призванная воспитывать у будущих граждан Афин благородный образ мыслей, патриотизм и твердые нравственные правила. Учителя, обычно из метеков (уроженцев других земель, проживающих в Афинах) или даже из вольноотпущенников, рассказывали школьникам древние мифы, сказки и басни горбатого раба Эзопа, не зная которых считалось позором для образованного человека.

Традиционное воспитание включало в себя заучивание наизусть изречений древних мудрецов (таких, как легендарный лаконец Питтак), своего рода правил человеческой жизни, вобравших в себя опыт многих поколений: «Соблюдай меру», «Будь владыкой своих удовольствий», «Трудно быть хорошим», «Все мое ношу с собой», «Преодолевай гнев», «Познай самого себя». И самое главное из этих речений, смысл которого мальчикам еще предстояло понять, осознать, подтвердить всей своей собственной жизнью: «Каждый человек сам определяет свою судьбу, но сам же за это и расплачивается». Иногда учитель выводил их за город, к реке Кефис, где в тени старых тополей, на свежей низкой траве внушал им традиционную мудрость, которая многим из этих юношей, полных дерзкого стремления покорять огромный окружающий мир и познать все радости жизни, казалась, возможно, несколько устаревшей: «Если случится радость кому испытать — следом отмищенье идет». И хотелось верить, что эти уже порядком избитые Эзоповы строки к ним-то уж не имеют никакого отношения...

Большое внимание уделялось музыке, которой начи-



нали обучать раньше прочих предметов: учитель проигрывал несколько раз на кифаре или на лире какой-то напев, а ученики подпевали ему хором, заучивая, запоминая. Когда мальчики становились постарше, их учили рисовать, знакомили с начатками географии, ботаники, астрономии, риторики и философии. Впрочем, это считалось сомнительным новшеством, и многие приверженцы старинного воспитания возражали против него. Простые афиняне, продолжавшие верить в своих древних богов и соблюдать дедовские обычаи, имели весьма смутное представление о географии или же астрономии, мир для многих из них ограничивался Индией на востоке, Оловянными (Британскими) островами на севере и Карфагеном на юге. О тайнах Космоса задумывались лишь натурфилософы, а для прочих людей Земля представлялась огромным плоским диском, омываемым океаном. Большую часть времени при мягком и теплом климате Аттики мальчики проводили вне дома, так же как и взрослые мужчины, участвуя в качестве маленьких зрителей, жадно впитывающих многообразие впечатлений, во всех событиях из жизни города, процессиях и празднествах, — и эти впечатления имели не меньшее значение для формирования их мировоззрения и культуры, чем обучение в школе. Так, об Еврипиде античные авторы сообщают, что юношей он участвовал в качестве факельщика в празднестве в честь Аполлона Зостерского. Этот праздник справлялся в Дельфах, куда юноши, обычно красивые и знатные, приезжали на галере с традиционными дарами для великого бога.

Хотя война продолжалась еще целый ряд лет и разоренные войной афиняне жили в общем довольно скудно, так что приезжие из Сицилии или Азии даже удивлялись убожеству Афин — скоплению грубых домишек, обнесенных валом, свободные граждане города Паллады с пышностью справляли традиционные празднества в честь древних милосердных богов. Во время Панафийей — празднества в честь Девы-Афины (Великих, справляемых раз в четыре года, и Малых, справляемых ежегодно) совершались обильные жертвоприношения в честь Девы-Афины, покровительницы города, — мясом ягнят, медом, вином, цветами; проводились различные состязания — гимнастические, военные, конные ристалища, певцы-рапсоды соревновались в исполнении гомеровских гимнов. В конце праздника все жители Афин с торжественными песнопениями направлялись к статуе

богини на Акрополе, чтобы преподнести ей согласно древней традиции новое платье — роскошный пеплос, пурпуровый или шафрановый, и ветви оливы. Завершались Панафиней всеобщим весельем, пирами, плясками.

В месяце Посейдоне (в конце декабря — начале января), когда начинали разливать и пробовать молодое вино, справлялись Сельские Дионисии, в Гамелеоне (январе — феврале) — Ленеи и, наконец, от 8 до 13 Элафоболлиона (март — апрель) праздновались Великие, или Городские, Дионисии — блестящее торжество, на которое собирались все жители Аттики и приезжали гости из соседних греческих городов. И все это в честь Диониса, древнего бога вечно текущей, неиссякаемой жизни, бога вина и веселья, пришедшего в Элладу неведомо когда с таинственного востока. В честь этого бога подвыпившие аттические поселяне издавна устраивали шествия ряженных, изображая сатиров и вакханок — свиту Диониса. Под звуки флейт, тимпанов и бубнов, одетые в козлиные шкуры, они хором исполняли дифирамбы, славя великого бога (само название Дифирамб было одним из культовых имен Диониса). Их песни, шутки, костюмы могли бы показаться непристойными современному человеку, но для этих земледельцев, весь смысл жизни которых заключался в том, какой урожай даст засеянная ими земля, какой приплод принесут козы и овцы, сколько детей народится в семье — будущих пахарей и кормильцев, для них сам факт оплодотворения и все, что связано с ним, было священным. Бесконечное воспроизводство жизни, несмотря на немплость стихий, голодные годы, войны и притеснения, вечная радость жить, и рождать себе подобных, и радоваться их радости — вот что такое был для них мудрый и щедрый Дионис, даровавший к тому же вино, этот источник забвения и утешения в бесконечных тяготах людского существования.

С VII века культ Диониса распространился во многих греческих городах, а с середины VI века, при тиране Писистрате, стремившемся заручиться поддержкой крестьянства, культ этого сельского бога, потеснившего аристократических олимпийцев, стал в Афинах общегосударственным. Главной и наиболее привлекательной частью Дионисий и Ленеи скоро стали театральные представления, которых с нетерпением ждали весь год, — трагедия, в которую превратились со временем традиционные дифирамбы одетых в козлиные шкуры поселян («трагос» и означает «козел»). В дни театральных представлений

приостанавливались все дела, даже заключенных выпускали на время из тюрьмы, чтобы и они могли принять участие во всеобщем торжестве. В театр допускались и рабы, если их хозяева платили за вход. Во времена детства Еврипида был уже почти отстроен каменный театр без крыши и занавеса, на семнадцать тысяч зрителей, расположенный на склоне Акрополя. Круглая орхестра диаметром в 24 метра, на которой разыгрывалось действие, северной своей частью врезалась в гору, а южная ее часть была подперта стеной. Перед ней амфитеатр — расположенные полукругом каменные сиденья, обычно зрители клали на них принесенные с собою подушки. В первом ряду располагались почетные места — 67 мраморных кресел для жрецов, послов, а также афинских граждан, имеющих особые заслуги перед обществом.

Театральные состязания, к которым допускались три трагических, а затем, несколько позже, и три комических поэта, длились три дня. Ежедневно до полудня ставилась три трагедии и одна сатирическая драма (обычно это была тетралогия, принадлежащая одному автору и связанная единством сюжета), а вечером — комедия. В конце третьего дня десять судей, по одному от каждой аттической филы, приносили клятву, что будут судить по справедливости, и определяли места каждого из участвующих поэтов. К состязаниям допускались только новые произведения, и лишь на Сельских Дионисиях, справлявшихся в богатых земледельческих районах Аттики, можно было видеть старые трагедии. Согласно античной традиции первые трагедии (от них сохранились лишь названия — «Алkestида» и «Пенфей») были созданы поэтом Феспидом из аттического округа Икария, который приобщил к традиционному хору в честь Диониса актера и положил начало диалогу. Писистрат пригласил его в Афины и всячески поддерживал. Вслед за ним трагедии писали Пратин, Хойрил и Фриних. О последнем известно, что он поставил во время ионийского восстания против персов трагедию «Взятие Милета», которая повергла афинян в столь глубокую скорбь и волнение, что все зрители плакали, а власти оштрафовали поэта за нарушение общественного спокойствия.

Этим первым трагедиям было еще, конечно, далеко до тех великих творений, создаваемых полвека спустя, в которых отразились почти с формульной четкостью глубокие взаимосвязи между человеком и миром и которые были по сути своей таким же объяснением бытия,

как и философия. И понадобилось время, чтобы афинский театр стал политической трибуной, и истинной школой нравственного воспитания, и высшим таинством сопереживания, постижения — через традиционные, всем известные мифологические сюжеты и весьма условные, почти лишенные личностных очертаний образы — своей собственной сути, собственной судьбы каждого из сидящих в театре Диониса, для которых неизменные парадигмы жизни оказывались столь же непреложными, как и для героев Троянской войны. Катарсис — очищение собственной души через приобщение к чужому страданию — вот что стало великим смыслом античной трагедии, сумевшей выразить в своих лучших проявлениях все одиночество и не поддающееся объяснению существование человека в бездне Вселенной...

Театр Еврипидова детства и юности был театром Эсхила, о котором так говорил впоследствии, вторя восхищению бесчисленных почитателей, поэт Диоскорид:

То, что Феспид изобрел — и сельские игры и хоры, —  
Все это сделал полней и совершенней Эсхил.  
Не были тонкой ручной работой стихи его песен,  
Но, как лесные ручьи, бурно стремились они.  
Вид изменил он и сцены самой. О, поистине был ты  
Кем-то из полубогов, все превозмогший певец!

Еще совсем молодым двадцатипятилетним поэтом Эсхил представил вместе с Хойрилом и Пратином на суд сограждан в 500 году свою первую трагедию. Тот праздник надолго запомнился афинянам, потому что во время представления вдруг обрушились деревянные скамьи театра. Пойдя дальше своих предшественников, Эсхил ввел второго актера (впоследствии ими стали почти бесменно Клеандр и Миниск), а также декорации, маски, котурны, сделал более динамичным действие драмы и более характерными, психологически углубленными образы традиционных героев Троянской войны и мифов Микенского времени, из которых афинские трагики черпали сюжеты для своих произведений. Так, в одной из своих ранних трагедий, «Просительницы», Эсхил обратился к преданию о Данаидах — мифу, который связывает туманную предысторию греков с великими царствами Египта (эта тема постоянно привлекала к себе эллинских историков и поэтов, стремящихся определить начало начал своей культуры). И уже в этой трагедии отчетливо звучали те основные положения Эсхила, которые проходят потом через все его творчество, — милосердие к

страждущим и упование на высшую, божественную справедливость.

Суровый, непримиримый к недостаткам сограждан, величественный видом марафонский боец был окружен легендами: рассказывали, что к Эсхилу, заснувшему в винограднике, явился сам Дионис и велел послужить ему на поэтическом поприще. То, что поэт был родом из Элевспна, где издавна справлялись закрытые для посторонних таинственные мистерии, усугубляло мистический налет его произведений с их мрачными образами и глубоким благоговением перед всем тайным и непознаваемым. Получив в сорок лет свою первую награду (это было в 484 году), Эсхил затем безраздельно царил в афинском театре, являя себя в сатирической драме не меньшим мастером, чем в трагедии, и даже нередко сам исполнял главные роли. Как и все поэты, писавшие для театра, Эсхил (хоть он и любил говорить, что «питается крохами от богатой трапезы Гомера») писал прежде всего о волновавшей его современности, в монологах его героев и в партиях хора звучат все сомнения и размышления, все те самые вопросы, которые тревожили его соотечественников и от решения которых во многом зависела дальнейшая судьба Афин. И первый, самый главный из этих вопросов: кто будет править городом, поднимавшимся из руин, народ или аристократия, демос или эвпатриды? Воспитанный при демократии Клисфена, законы которого положили конец господству старинной землевладельческой знати, Эсхил твердо верил в то, что только благодаря народовластию, именно потому, что афиняне «никому... не служат, не подвластны никому», им удалось отразить полчища варваров и стать во главе всех эллинов в борьбе за свободу Греции. И победа над персами, которую он, преисполненный священного пафоса, воспел в своей трагедии «Персы» (поставленной в 477 году ничем пока не знаменитым Периклом, сыном известного полководца Ксантиппа), была для него не просто победой над иноземными завоевателями, но прежде всего победой демократии над деспотизмом:

Азия больше не будет  
Жить по персидской указке.  
Больше не будут народы  
Дать приносить самодержцам,  
В страхе не будут люди  
Падать наземь. Не стало  
Царской власти сегодня.

В годину опасности все люди Аттики, как простые земледельцы, ремесленники и матросы, так и наследники старинных родов, издревле владевших плодородными землями Педиона, в едином порыве встали на защиту отечества. Однако это спасительное единство окончилось вместе с войной, и Эсхил, как никто другой, чувствовал, видел, как нарастают противоречия в государстве.

Фемистокл, сосредоточивший теперь в своих руках всю власть, и окружавшие его люди не всегда были слишком строги в выборе средств для достижения намеченных целей, порой излишне самостоятельно распоряжались государственной казной, и Эсхил не был уверен, что эти новые люди принесут государству пользу. Поэт по-своему, исходя из традиционных представлений уходящего в прошлое полисного уклада, понимал и интересы простого народа, прежде всего земледельцев, и демократию, и саму свободу, и сомневался в том, что власть богатых судовладельцев, купцов, хозяев больших мастерских принесет благо афинянам. Многие из того, что происходило в 70-е годы в Афинах, было непонятно Эсхилу, не нравилось ему, и поэт уезжает в Сицилию, куда он ездил впервые еще в 500 году и где у него завязались дружеские связи. Там, при дворе тирана Гиерона, он снова поставил «Персов» и снискал такую же славу, как и на родине.

И действительно, борьба между афинским демосом (мелкими землевладельцами и безземельными фетами, ремесленниками, матросами, торговцами и судовладельцами) и старинной знатью, сыгравшей немаловажную роль в победе над персами и претендовавшей теперь снова стать у власти, возобновилась с новой силой. В обстановке этой долгой борьбы крепились демократические убеждения послевоенного поколения незнатных афинских граждан, к которому принадлежал и Еврипид, чьим идеалом общественного устройства с юных лет и навсегда осталось народовластие, и не только потому, что он был сыном простолюдина, но и в силу того, что для самой его натуры, для его дерзкого, испытующего ума была неприемлема любая иерархичность, сама идея подчинения большинства более сытому меньшинству, к каким бы богам или же мифическим героям ни возводило последнее свои корни. Он рос с убеждением, что только демократия открывает широкие возможности для развития афинского общества. Укрепление этих надежд немало способствовали и те полные дерзкого размаха преобразования, ко-

торые осуществлял в опустошенном войной городе Спаситель Эллады Фемистокл.

Предвидя, что усиление Афин, так много сделавших для общей победы над варварами, вызовет недовольство старинных противников полиса, и прежде всего Спарты, он торопился укрепить город и увеличить его морскую мощь. Правдами и неправдами, несмотря на протесты спартанцев, он отстраивал гавань Пирей и возводил оборонительные стены. Не сомневаясь (особенно после своего посещения Лакедемона) в том, что столкновение между Спартой и Афинами неизбежно, Фемистокл убеждал афинян как можно скорее заключить мир с Персией.

Все это, и особенно его стремление сделать решающей в жизни полиса роль эkkлeсии — народного собрания в противовес и ущерб Ареопагу, совету архонтов-эвпатридов, вызывало все большее сопротивление богатой знати. Стремясь настроить против Фемистокла также и демос, противники обвиняли его в измене, в тайных сношениях с персами, в хищении государственных средств и, наконец, в том, что он не считается с волей народа и стремится к тираннической власти. Это было самое серьезное из обвинений, так как афиняне, в памяти которых еще была жива борьба с Писистратидами, больше всего боялись новой тирании и тут же удаляли из города всех подозреваемых в подобных намерениях.

В 471 году состоялся «суд черепков», и Спаситель Эллады, подвергнутый остракизму, вынужден был навсегда покинуть отечество. С ним поступили так, как «афиняне обыкновенно поступали со всеми, могущество которых они считали тягостным для себя и несовместимым с демократическим равенством». Афиняне широко применяли остракизм (так, «суду черепков» был подвергнут еще до вторжения персов даже Аристид), и это отнюдь не считалось наказанием, а лишь необходимым средством сберечь демократический строй от тенденций к единовластию.

И герою Саламинского сражения, мудрому устройте-лю Афин, пришлось, как безродному бродяге, просить пристанища на чужбине. После долгих скитаний и злоключений, не прижившись ни в Аргосе, ни в Спарте, приговоренный заочно к смерти афинским судом, Фемистокл нашел наконец приют у своего бывшего врага — персидского царя.

После изгнания Фемистокла Афины словно вернулись к благословенному для аристократии Доклисфенову

времени. Опять Ареопаг, совет «благородных и лучших», стал вершить высший суд и блюсти все дела в государстве, и богатые землевладельцы потеснили на надлежащее место моряков и ремесленников. Теперь первым человеком в городе стал Кимон, сын знаменитого Мильтиада, одного из стратегов — победителей при Марафоне, одержавший блестящие победы над персами у реки Стримон во Фракии и у реки Эвримедонт в Памфилии (469—468 годы). В ореоле военных успехов, простой, неприятелятальный в обращении, и щедрый, он пользовался любовью афинян простого происхождения, прощавших великому полководцу его богатство и знатность за незаурядность и широту натуры. Стремясь спискать расположение народа, «Кимон приглашал каждый день пуждающихся граждан обедать, одевал престарелых, снял загородки со своих участков, чтобы кто захочет пользовались их плодами». На богатую добычу, захваченную у персов, он украсил город портиками, обсадил платанами площадь и превратил, проведя туда воду, запущенный участок неподалеку от Афин, где было святилище древнего героя Академа, в прекрасную рощу, известную впоследствии под названием Академия. Поклонник спартанского строя, он даже сына своего назвал Лакедемонием и стремился к самым дружественным отношениям со Спартой, однако та, обеспокоенная ростом влияния Афин, не всегда шла навстречу этим устремлениям, хотя сам Кимон пользовался у лакедемонян большим уважением.

Между тем сыну Мнесарха исполнилось двенадцать лет, и, как это было принято в Афинах, он стал посещать две школы одновременно: первую половину дня он проводил в мусической школе, занимаясь музыкой, поэзией, географией, риторикой, а потом отправлялся в палестру. Скинув одежду и натерев кожу оливковым маслом, он вместе с другими мальчиками тренировался под наблюдением педотриба в беге, прыжках, метании диска и копья, борьбе и верховой езде. С четырнадцати лет эти занятия становились главными: сыновья свободных афинян должны были быть хорошо подготовленными к своему основному труду на благо отечества — ратному делу. Они бегали по полю, усыпанному толстым слоем песка, в котором вязли ноги; надев на руки ремни с шипами, бились в кулачном бою, нанося друг другу серьезные ранения, учились переносить усталость и боль. Поскольку при рождении сына Мнесарху было предсказано то ли оракулом, то ли прохожим халдеем, что его сыну



суждено одерживать победы на священных состязаниях, он решил, что речь идет об атлетике, и уделял особенное внимание физическому воспитанию мальчика. Юношей Еврипид был неплохим атлетом, и отец решил даже свозить его в Олимпию на священные игры в честь Зевса Олимпийского, учрежденные, по преданию, самим Гераклом и проводимые раз в четыре года.

Впервые в жизни сын Мнесарха выехал за пределы Аттики, стоял июль, самое жаркое время года, но в Олимпию со всех сторон Греции и даже из колоний спешили многочисленные участники состязаний и зрители. Сначала плыли по морю до устья реки Алфей, а потом вверх по реке. Здесь, в пелопоннеской Элиде, расположился священный город, в который никто не смел вступать с оружием в руках. Здесь были храмы Зевса и других богов, алтарь и сокровищницы различных государств Эллады, а также стадион — обширная площадка для выступления атлетов. Перед началом состязаний совершались жертвоприношения, потом был торжественный выход и представление всех атлетов; участвовать мог каждый свободный гражданин, не запятнавший себя преступлением или каким-нибудь порочающим поступком. Наградой победителю был лишь венок из дикой маслины, но это было огромной честью и для него самого, и для его города. По возвращении домой ликующая толпа сограждан встречала победителя, венок он возлагал на алтарь перед храмом главного божества и потом всю жизнь имел право на обед в пританее и почетное место на празднествах. Нередко в честь победителей на Олимпийских играх ставились статуи и слагались хвалебные оды. На все это, возможно, надеялся для своего сына и помнящий о предсказании бродячего пророка Мнесарх, однако Еврипида не допустили к играм по молодости. И хотя впоследствии он все же удостоился награды на одном из атлетических состязаний в Афинах, не это искусство было его призванием. У высокого, рослого, обладавшего привлекательной внешностью юноши была пылкая поэтическая душа, творческая натура, жаждавшая самовыражения, истинной школой для которой стал театр.

В это время в Афины возвратился Эсхил, но время его безраздельного царствования в театре окончилось, потому что уже на Великих Дионисиях 468 года первую награду получил двадцатидевятилетний Софокл, сын Софилла, состоятельного владельца оружейной мастерской, дотоле неизвестный афинянам как поэт и заслуживший

впоследствии прозвище «аттической пчелы» за размеренную правильность отточенного стиля и творческую плодovitость. К этому времени многие юноши из хороших семей, тяготеющие к искусствам, пробовали свои силы в трагической поэзии, но казалось удивительным то, что уже раннее произведение поэта оказалось настолько совершенным. Все сидящие в этот день на прогретых весенним солнцем скамьях театра Диониса смутно чувствовали, что речь идет не о двух, одна чуть лучше, другая чуть хуже написанных традиционных трилогиях, но о разных видах трагической поэзии как таковой. Подошел конец состязаний, а судьи все никак не могли договориться, кому же присудить пальму первенства. И тут в театре появился Кимон с десятью другими стратегами, которые как раз вернулись с острова Скирос и хотели принести жертвы Дионису. Тогда решили спросить их мнения, и Кимон со своими товарищами присудил первую награду сыну оружейника.

Хотя умудренный жизнью Эсхил оставался как будто бы философски спокоен (ведь сказал же он однажды: «Я посвящаю свои трагедии времени»), в Афинах поговаривали о том, что старый поэт очень расстроен поражением и даже собирается обратно в Сицилию. Однако уже следующей весной его величаява муза снова повергла сограждан в трепетное и боязливое восхищение. Представленная им в этот раз «Эдиподея» (трагедии «Лаий», «Эдип» и «Семеро против Фив») словно напоминала афинянам, столь гордым своими успехами, о том, что все в этом мире подвластно Апанке — Судьбе, перед которой бессильны сами бессмертные боги и которую, как утверждал поэт, сын своего времени, не преодолеть никогда человеческой воле. Единоборство человека с судьбой, единоборство дерзкое, но фаталистически гнетное, было одной из главных тем всей греческой драмы, поскольку в жизни античного человека слепая случайность играла решающую роль и жесткие механизмы бытия казались поистине непознаваемыми, неподвластными воле и разуму.

Эсхил обратился в этих трагедиях к древнейшему мифу фиванского цикла о родовом проклятье, на сюжеты которого создавали свои произведения Софокл и впоследствии Еврипид. Когда-то, в седые ахейские времена, царь города Фив Лаий украл чужого ребенка. Отец ребенка проклял царя, это проклятье тяготело потом над всем его родом, и ни сын, ни внуки преступного Лаийя никакими ухищрениями ума не могли избежать предначертанной

им заранее гибели. Получив предсказание о том, что он умрет от руки собственного сына, Лаий приказал убить своего только что родившегося ребенка, но его повеление не было выполнено, и подобранный пастухами младенец Эдип был усыновлен коринфским царем. Став взрослым, Эдип с ужасом узнает от оракула, что ему суждено стать убийцей родного отца и мужем собственной матери. Он покидает Коринф, стремясь избежать преступления, но по дороге встречает какого-то знатного старца и убивает его в результате случайной ссоры. Этим старцем и был настоящий отец его, Лаий. Затем Эдип попадает в Фивы, оставшиеся без царя, побеждает чудовище Сфинкса и в награду за это становится мужем царицы Иокасты, не зная, что она-то и есть его мать. Так исполняется предсказание оракула, сбывается проклятье отца, потерявшего любимое дитя, и непреодолимый, высший закон Справедливости, в силу которого никакое преступление на этой земле не остается безнаказанным и кара за грех только вопрос времени.

В «Эдиподее» проявилась особенно отчетливо трагическая ирония Эсхила, порожденная то ли его собственным жизненным опытом, то ли постигнутая умозрительно как один из законов смутного и зыбкого бытия того времени: чем больше его герои, и прежде всего злосчастный Эдип, стараются избежать своей страшной судьбы, тем ближе они продвигаются к гибели. Узнав в конце концов о том, что он все-таки стал убийцей отца и женился на собственной матери, Эдип ослепляет себя, чтобы не видеть обманного мира и не обольщаться тщетной надеждой, что можно что-то понять в этом темном хаосе, именуемом жизнью. Но злоключения царского рода на этом отнюдь не кончаются: оскорбленный своими сыновьями, Этеоклом и Полиником (рожденными им от собственной матери), Эдип проклинает и их, предрекая, что после его смерти они будут мечом делить отцовское наследство. Так оно и случилось, и в последней трагедии этой трилогии, «Семеро против Фив», Полиник, изгнанный братом и нашедший приют в Аргосе, идет войной на родной город, ведя с собой семь аргосских полководцев. Гибнут аргосские воины, гибнут и сами братья, сойдясь в поединке у древних фиванских стен, их губит проклятье слепого отца и рок, тяготеющий над их родом:

Отец! Отец! Его проклятье черное  
С меня сухих — в них слез нет — не спускает глаз  
И говорит, что лучше умереть скорей.

Гибнет и их сестра Антигона: нарушив приказ старейшин, она похоронила Полиника и потом покончила с собой, замураванная заживо в царской гробнице. Так кончается род совершившего преступление Лаийя:

Проклятья древнего не смирить,  
Когда приходит возмездья срок.  
И вот она настает, расплата...

В описании ужасов войны, ярости обуйных Ареем героев, в страстных и мощных стихах Эсхила еще довел геронический дух недавней войны, это писал человек, сам побывавший во власти ее грозного бога. Но это было не только воспоминание, это было и предвидение будущего, предостережение против братоубийственной вражды между эллинами, которая, как с горечью замечал старый поэт, растет с каждым годом и вот-вот может вылиться в открытое столкновение. Он боялся, что греческие города погубят друг друга, как братья Этеокл и Полиник, и хотел предостеречь от этого афинян.

Юноша Еврипид, как и большинство его сограждан, не мог не испытывать восхищения перед сумрачным гением марафонского воина, его титаническими образами, но он (что стало особенно ясно впоследствии, когда он обратился к тем же самым мифам и героям) видел и человека, и жизнь, и управляющие ею законы, и даже сам театр несколько иначе. Его манили, влекли к себе непознанные глубины людской души, остававшиеся огромной неразгаданной тайной не только для него, но даже для тех мудрецов и философов, которые так или иначе пытались объяснить устройство Вселенной и происхождение нашего мира. Уже в молодые годы сын Мнесарха смутно чувствовал, что силы, таящиеся внутри человека, не менее значимы для течения жизни, чем грозные силы беспредельного Космоса, что по природе своей они схожи между собой, что мысль человека, его любовь или ненависть, великая жажда нового, ведущая его ко все новым открытиям и приобретениям, — все это движет миром, и горе тому народу, где эта мысль дремлет в бездействии, горе и народу, среди которого ненависть возобладает над любовью. Возможно, что в эти свои молодые годы Еврипид и сам не смог бы достаточно ясно объяснить, почему его так привлекает к себе жизнь души и сердца, почему он ищет в любви разгадку многого из того, что творят и всегда творили люди, да и сама любовь понималась им далеко не философски — не как та

великая Любовь к себе подобным, к которой воззвал, замученный и разуверившийся род людской спустя три с половиной столетия, но всего лишь как Эрос — непреоборимая страсть, влекущая мужчину и женщину, которая часто оказывается сильнее законов неписаных и писаных, которая рушит судьбы и колеблет государства.

И долго, довольно долго (и в этом его не раз обвиняли соотечественники, многим из которых, вероятно, было недоступно чувство любви в такой мере, какая выпала и на долю самого поэта и какой он наделил своих героев) Еврипид видел в великой священной силе, связующей мужчину и женщину, первопричину многого из того, что происходит в мире, не говоря уже о счастье или несчастье каждого из смертных. Он был еще слишком молод для того, чтобы вполне проникнуться непреходящей важностью тех вечных вопросов, на которые пытался ответить в своих сумрачных творениях великий Эсхил; о загадках сердца молчали философы; большинству окружающих его людей казалась непристойной сама тема любви и связанного с нею страдания, и лишь в прекрасных элегиях поэтов минувших веков сын Мнесарха находил то, что волновало, теснило, наполняло томлением его собственную душу. Он находил это в меланхолических размышлениях Мимнерма из Колофона, изящных стихах беспечного (или же казавшегося беспечным после стольких и стольких разочарований и утрат) Анакреонта, в песнях мятежного духом Алкея и, конечно же, в страстных излияниях Сапфо, и ему казалось удивительным, неправдоподобным, что для этих людей, живших задолго до него, в, казалось бы, более грубые времена, счастье любви, боль разбитого сердца тоже были самым главным.

Их пысканная лирика, поэзия утонченных людей, свободных от каждодневных забот о хлебе насущном и целиком погруженных в мир собственных чувств, расцвела в VII и VI столетиях на больших островах Эгейского моря, культура которых тогда была выше, чем в Афинах и других греческих полисах. Особенно славился своими песнями остров Лесбос, населенный издревле музыкально одаренными, склонными к поэзии эолийцами. Согласно преданию именно к этому острову приплыла по волнам от фракийского побережья голова Орфея, растерзанного менадами, и его лира хранилась с тех пор здесь, в святилище Диониса. И возможно, поэтому были так вдохновенны творения лесбосских поэтов Алкея и Сапфо, дочери Скамандропима и Клеиды, имя которой вошло на

века в легенды. Супруга богатого митиленского гражданина, уважаемая согражданами, она главенствовала над Домом муз при святилище Афродиты и обучала пению девочек. В смутные годы гражданских междоусобиц, как женщина богатая и знатная, должна была искать на время прибежище в Сицилии. Но, вероятно, ни хор, ни семья ее — дочь Клеида, «родная, золотая, что весенний златоцвет», ни ее положение в городе не были для Сапфо главным, ее душа, жаждущая красоты нетленной и высшей, страдала от одиночества, и, как доносят предания, поэтесса покончила с собой, бросившись в море, от неразделенной любви к человеку, примечательному, в сущности, лишь тем, что его любила Сапфо.

Солон говорил, что не хотел бы он умереть, не услышав ее новых песен, а позднее Платон называл ее десятой музой: «Девять лишь муз называя, мы Сапфо наносим обиду: разве мы в ней не должны музу десятую чтить?» Для юного сына Мнесарха, душа которого пела и плакала вместе с бессмертной Сапфо, не было никакого сомнения в том, что эолянка была самой музой поэзии, умевшей вместить в четыре строки всю боль одинокого сердца, взыскующего совершенства, но так и не нашедшего его:

Знаю, не дано полноте желаний  
Сбыться на земле, но и долей дружбы  
От бывлой любви — утоленья сердцу  
Лучше забвенья.

Пройдут годы, и в лучших, самых проникновенных и скорбных стихах Еврипид повторит свою учительницу, свою вневременную современницу, а пока он читал, учился, упражнялся в гимнасии, строя, как свойственно молодым людям, большие планы полной достойных свершений жизни. И уже Эрос, «истомчивый, горько-сладостный, необоримый змей», всесильный бог, который глядел в свое время на нежного Ивика «влажно мерцающим взглядом очей своих черных», которому верно служили Анакреонт и Мимнерм, этот ветреный бог уже обманчиво обещал и ему — как тысячам тысяч юношей и раньше и позже — повести его, радостного и всеприемлющего, по тем нездешним лугам, о которых пела десятая муза, где «розы пышно раскрылись; льют сладкий запах апис и медуница»...



#### НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ, МЕЧТАЯ О МЕЛЬПОМЕНЕ

Когда Еврипиду исполнилось восемнадцать, он стал считаться эфебом — молодым человеком и, включенный в общий список афинских граждан, поступил на военную службу. По традиции, эта служба должна была проходить вне города, в деревнях, крепостях и лагерях на границах Аттики, где эфебы почти круглые сутки проводили в полях и горах, охотясь и тренируясь, питаясь растениями и дикорастущими плодами, приучаясь переносить голод, усталость, спать на земле, закутавшись в плащ. Они учились обращаться с различным оружием, маршировать и строить лагерь, а также были обязаны наблюдать за безопасностью окрестных деревень и дорог. Однако ко времени эфебии Еврипида от значительной части этих уставов уже отошли: многие юноши, и особенно из состоятельных семей, не желали жить в общих лагерях и собирались все вместе лишь на учениях в назначенное время. В промежутках же между учениями, щеголеватые одетые в тонкие ткани, тщательно причесанные и благоухающие дорогими маслами, эфебы играли в кости, ходили на заседания суда и в гимнасий, пировали, валяясь допьяна с танцовщицами и флейтистками. Но были и такие, которые в свободное от воинской служ-

бы время стремились пополнить свое образование, читали и посещали лекции заезжих философов, участвовали в ставших обычными к этому времени публичных диспутах, и Еврипид скорее всего был одним из них, хотя, безусловно, и он был не чужд обычных утех и радостей молодости. Однако это приятное времяпрепровождение сразу же кончалось, едва от властей поступал приказ выступить в поход к границе или еще того дальше — в какое-то из поселений на самой окраине греческого мира, и вот тогда-то эфебы и должны были показать, чего они стоят как воины и будущая опора отечества.

В месяце Бодромионе (сентябре), в первый год отбывания эфебии, юные воины в полном вооружении отправлялись в храм Аглавры, чтобы пропнести там следующую клятву: «Клянусь никогда не наложить позора на это священное оружие и никогда не бросать своего места в битве. Клянусь сражаться за моих богов и за мой очаг и один, и вместе со всеми. Клянусь не оставлять после себя отечество свое умаленным, но более могущественным и более кренким. Клянусь повиноваться всякому приказанию, какое только будет мне дано мудростью представителей государства. Клянусь подчиняться законам как пыне действующим, так и имеющим быть изданными народом. Клянусь не допускать никою нарушать или колебать эти законы и обещаю сражаться за них и один и со всеми. Клянусь чтить культ моего отца и в свидетели клятвы призываю Аглавру, Эниалия, Ареса, Зевса, Фалло, Авксо и Гегемон». Эти древние слова произносил вместе с другими афинскими юношами и сын Мнесарха и потом всю свою долгую жизнь оставался им верен, какие бы тяжкие сомнения ни одолевали его и какими бы нелеными или несправедливыми ни казались ему порой те законы и приказания, которые он поклялся исполнять и защищать в храме Аглавры.

Существует версия, что Еврипид был в том отряде, который был послан на помощь афинской колонии на реке Стримон, осаждаемой окрестными варварскими племенами. Грекам часто приходилось выступать на защиту от полудиких соседей своих многочисленных колоний, разбросанных по всему Средиземноморью, по побережью Мраморного и Черного морей. Эти колонии, похожие, как сказал об этом впоследствии Цицерон, на своего рода кайму, пришитую к обширной ткани варварских полей, освобождали города-метрополии от избыточного обедневшего населения, давали прибежище тем, кто потерпел по-



ражение в политической борьбе, они были очагами и проводниками греческой культуры на всех окраинах тогдашней Ойкумены. Афинская колония на реке Стримон в тот год подверглась особенно сильному натиску фракийцев, так что ее население было почти истреблено. Это был первый выход юного сына Мнесарха за пределы привычного эллинского мира, тем более сильными должны были быть впечатления от прекрасной природы Фракии, от столкновений с воинственными варварами, о которых он знал до этого понаслышке и которых видел лишь в качестве рабов, попадавших время от времени из своих горных долин и лесов на невольничий рынок в Афинах. Впечатления эти отразились впоследствии в его трагедии «Рес».

Хотя со времени эфебии и потом почти сорок лет Еврипид сражался, отстаивая интересы Афин, и с варварскими племенами, и с соседями-греками: беотийцами, фиванцами, эгинцами — военная служба так и не стала для него чем-то большим, чем выполнение гражданского долга, и он не достиг на этом поприще каких-либо достойных упоминания успехов. Не испытывал он также тяготения к общественной деятельности и не был охотник проводить время в суде или на площади, слушая известных ораторов и с жаром, что было свойственно большинству афинян, обсуждая те или иные события политики. Двадцатилетним юношей, окончив эфебию, он пытается обрести себя в творчестве, полный стремления посвятить себя служению Аполлону и музам, стремления, которое, очень возможно, вызывало недоумение и недовольство родителей (ведь недаром во многих из своих более ранних трагедий Еврипид то здесь, то там язвительно иронизирует по поводу несносного себялюбия стариков, их слепого стремления навязать молодежи свой жизненный опыт сомнительной ценности). Подобно многим талантливым людям, сын Мнесарха пробовал себя в молодости в разных искусствах, занимаясь живописью и музыкой — увлечение, которому он остался верен всю жизнь и которое отразилось позднее в богатом музыкальном сопровождении его трагедий. Есть даже версия, что какие-то картины, написанные Еврипидом, были найдены впоследствии в Мегарах. В неборимой тяге к знаниям, которую Еврипид сохранил до самой старости и благодаря которой он стал, по свидетельству современников, одним из самых просвещенных афинян, он читал философские сочинения и трактаты логографов, старинные эпи-

ческие циклы, так называемые «Киклические поэмы», и модные в то время описания каких-либо путешествий в далекие неведомые земли. Возможно, уже в эти годы он начал собирать свою знаменитую библиотеку, хотя книги, папирусные рукописные свитки, стоили очень и очень педешево и приобретать их могли позволить себе только состоятельные люди (так, первую библиотеку в Афинах собрали Писистратиды, наследники знаменитого тирана).

Развитию разносторонних увлечений Еврипида (так же как и других молодых людей, и родовитых и незнатных, но равно жаждущих знаний, которых в Афинах становилось все больше) в немалой степени способствовало то, что в Афинах, превращавшихся понемногу в культурный центр всей Эллады, поселилось к этому времени немало образованных людей, поэтов и философов, историков и художников, из других греческих областей, и особенно из ионийских городов Малой Азии. Духовная жизнь афинян становилась все более многообразной и насыщенной, развиваясь в преодолении отживших традиций и представлений по мере того, как демос, оттесненный на время на задний план политической жизни, вновь начинает борьбу за право решать дела государства, а вожди демократии, и первый из них — Перикл, сосредотачивают вокруг себя все передовое и ищущее. И Еврипида, хотя он никогда, на чем сходятся все биографы, не принимал особенно активного участия в общественной жизни, не могло не радовать оживление сторонников демократии, не могла не интересовать та решающая битва, которую они начали против оплота богатой знати — Ареопага. И у него, как у большинства сторонников народовластия, вызывало насмешливые сомнения с таким ожесточением отстаиваемое Ареопагом право вершить справедливость от имени самой Афины, поскольку продажность и не слишком высокая нравственность многих из них были известны в городе всем и каждому.

Недовольные политикой Кимона демократы только и ждали повода для выступления. Таким поводом явилось предложение Кимона послать отряд афинских гоплитов на помощь спартамцам, которые оказались в это время в очень тяжелом положении в связи с сильным землетрясением в их области, а также с восстанием илотов (крепостного населения, появившегося в результате частично же подчинения додорийских обитателей этой земли, частично же в процессе социального расслоения, долговой кабалы и постепенного порабощения богатыми землевла-

дельцами своих бедных соседей). Это восстание, известное под названием Третьей мессенской войны (464 год), быстро охватило всю Лаконику и Мессению. Илоты, покинув поля, укрепились на горе Итоме, и спартанцы никак не могли заставить их сдаться. Тогда-то они и обратились за помощью к Афинам, но Кимону только с большим трудом, вопреки вождям демократии и прежде всего Эфиальту, человеку решительному и напористому, удалось убедить народное собрание оказать эту помощь. Три тысячи афинских гоплитов, прибывшие к Итоме, не смогли изменить положения. Больше того, их заподозрили в тайных сношениях с илотами и отправили обратно в Афины, нанеся этим обиду и большой политический ущерб Кимону. Лишь на десятый год осады илоты сдались, выговорив себе право свободного ухода из Пелопоннеса.

Воспользовавшись этим, сторонники демократии, и первый из них Эфиальт, перешли в наступление на привилегии родовой знати, и в 462 году народное собрание приняло закон, лишавший Ареопаг большей части его прежних прерогатив. Кимону, подвергнутому остракизму, пришлось удалиться в изгнание (461 год), и теперь все дела в Афинах решал афинский демос и те, кто его возглавляли, Эфиальт и Перикл.

Перикл, сын Ксанטיפпа, героя войны с персами, стал тем человеком, общественным и политическим деятелем, который довел до наивысших успехов свершения афинской рабовладельческой демократии, превратив родной город в Око Эллады и оставив по себе славную память в веках. Ведь недаром согласно преданию его матери был сон, что она родила льва. Новый вождь афинского демоса был из очень знатного рода, по матери — родственник знаменитого реформатора Клисфена, получил прекрасное воспитание, питал интерес к философии и искусствам (он учился у софиста Дамона и слушал лекции философа Зенона из Элеи) и, как пишет об этом Плутарх, «стал на сторону демократии и бедных, а не на сторону богатых и аристократов — вопреки своим природным наклонностям, совершенно не демократическим». Возможно, что так оно и было. Но в то время для каждого, кого беспокоила судьба Афин или же манила к себе политика, становилось все более очевидно, что только демократия способна обеспечить полису дальнейшее развитие и что, только опираясь на народ, можно что-то сделать и как-то выдвинуться. Землевладельческая аристократия уже не

могла претендовать на то, что она представляет собой хозяйственную основу общества: хлеб, как и многие другие продукты питания, теперь ввозили главным образом с берегов Эвксинского Понта. Многочисленные суда доставляли в Пирей рыбу, сушеные фрукты, мед, масло и вино, не говоря уже о дорогих тканях, шерсти, украшениях и прочем, почти со всех сторон Средиземноморья, даже из далекой Кирены (Северная Африка). В Канфаре, одной из гаваней Пирея, склады ломались от различных товаров, афинский порт стал перевалочным пунктом, куда прибывали, платя огромные пошлины, купцы со всей Ойкумены, так что ежегодный товарооборот достигал порой колоссальной суммы — двух тысяч талантов. И не атическим земледельцам, порядком разоренным войной, так что многие из них навсегда покинули родные поля и переселились в Афины, не им, а ремесленникам, производящим множество товаров на вывоз, мореходам, богатеющим день ото дня судовладельцам и дельцам — вот кому пришло время решать дела полиса, определять его пути и положение в Греции.

Постепенно Перикл сосредоточил в своих руках все дела в полисе, стараясь в то же время оставаться справедливым и кротким в обращении с народом, терпеливо снося насмешки и даже оскорбления от граждан, чем-либо им недовольных. Его безусловная честность, бескорыстие в служении городу, преданность демократии снижали ему любовь и уважение большинства твердо верящих в него афинян. Стремясь довести до конца начатое вместе с Эфиальтом (убитым в 461 году), Перикл продолжал теснить аристократию, стремясь расширить права малоимущих и неимущих афинских граждан: так, через несколько лет, в 457—456 годах, должность архонтов, бывшая ранее привилегией знати, стала доступной для свободного гражданина любого происхождения. Среди всех этих важных дел Перикл не утратил, однако, интереса к искусствам и философии, к одаренным, образованным людям, таким, как софист и музыкант Дамон, скульптор Фидий, философ Анаксагор, в обществе которых он любил проводить свой досуг.

С укреплением демократии стал более заметным отход от многих традиционных представлений и верований, казавшихся просвещенным афинянам уже устаревшими. В поисках объяснения мира молодежь все чаще обращалась к различным философским учениям, стремясь постигнуть веками накопленную мудрость. Люди поколения

Еврипида, верящие в себя и в набирающую силы демократию, стихийно тяготели к материалистическому объяснению мира, тому объяснению, основы которого заложили еще в прошлые века натурфилософы; Фалес, считавший воду главным элементом многообразного и в то же время единого мира, Анаксимандр с его учением об апейроне — бесконечной, бессмертной, находящейся в вечном движении первостихии и его последователь Анаксимен, для которого воздух являлся первоначалом всего сущего, а наш мир был лишь одним из бесконечного множества неизвестных миров. Стремящиеся познать закономерности жизни читали Ксенофана, философа и поэта, утверждавшего, что из земли все возникло и в землю все обратится, и сомневавшегося в том, что миром правят божества, похожие своим видом на людей. Философы этого времени, середины V века, такие, как Левкипп, стремились развивать дальше концепции понийцев, отстаивая атомистическое устройство мира и считая, что в основе всеобщей лежит бесконечное множество находящихся в вечном движении элементов...

Афины Еврипидовой юности жили в своем большинстве просто и даже скудно: одевались без роскоши, завтракали обычно горстью маслин с лепешкой, обедали гороховой или ячменной похлебкой, вареными овощами и рыбой, мясо ели только по праздникам, пили разбавленное вино, обитали (и даже такие аристократы, как Климон) в грубо сложенных, низких домишках, но многим из них, ровесников битвы при Саламине, были присущи дерзость мысли и безоглядная смелость, с которой они пытались проникнуть в великие тайны вселенной. Этот век дал немало просвещенных людей, для которых осмысление мпроздания и человеческого бытия казалось не менее, а может быть, даже более важным, чем их собственная жизнь с ее каждодневными заботами и удовольствиями. К таким принадлежал и Еврипид, о чем говорит и его творчество, и весь его жизненный путь, поскольку уже в молодом возрасте он обратился (насколько это позволяло ему положение афинского гражданина и воина) к поискам смысла и закономерностей жизни, к изучению философии. И возможно, что он сделал бы немало в этой области, следуя своим знаменитым учителям (тому, кто давно уже не существовал, — Гераклиту, и тому, кто жил рядом с ним, — Анаксагору), если бы не манила его задача еще более сложная — соединить философию с поэзией, сделать театр еще большей школой про-

свещения сограждан, приобщения их к тем вечным истинам, которые открывались ему самому на долгом пути познания жизни.

Гераклит, к основным положениям которого постоянно обращался впоследствии в своем творчестве сын Мнесарха, был властителем дум того времени. Он поражал уже современников гениальностью своего разума, проникавшего в глубины вселенной, хотя многое в его трудах и речениях было неясно и понимаемо с трудом, за что философ был прозван Темным. Он жил полувеком раньше Еврипида в Эфесе, по преданию, вел аскетический образ жизни, стоял в стороне от политики и часто уединялся в горы, целиком погружаясь в свои размышления. Его учение о диалектике — внутреннем диалоге всего сущего увенчало собой вековую работу мысли ионийских натурфилософов, в свою очередь, многое почерпнувших из наблюдений египетских и вавилонских жрецов. В своем сочинении «О природе», написанном изысканным, сложным, полным афоризмов языком, Гераклит утверждал, что «мир единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим», что все во вселенной, в том числе и человеческая мысль, развивается в вечной борьбе противоречий и что эта «борьба — отец всех вещей». Все относительно, все преходяще, учил гениальный Эфесец, но из единства противоречий и образуется скрытая гармония мира.

Пойдя дальше своих предшественников, Гераклит стремился постигнуть не только законы великого Космоса, но и того микрокосмоса, который заключен в каждом из смертных. Возможно, что и Еврипида (трагедии которого — это трагедии всепоглощающих страстей, более сильных, чем сам Рок, трагедии человеческого сердца, его падений, взлетов и заблуждений) привлекала прежде всего та часть философии Гераклита, которая объясняет природу человека. Веря в существование души, которую он представлял себе как одно из состояний огня — первоначала всего сущего, Гераклит придавал огромное значение разуму, считая его основным орудием познания мира. В способности разума к обобщению, синтезу, к сведению в одну мысль разнородных явлений мироздания и бытия великий философ видел разницу между умными и глупыми людьми: умный стремится познать общее, глупый удовлетворяется деталями.

Еврипид очень многое воспринял от Гераклита, все

его мышление и творчество было пронизано верой в человеческий разум и уважением к нему, благоговением перед Логосом — словом, мудростью, высшим законом, упорядочивающим хаос мироздания, а также глубочайшим осознанием диалектики всего сущего, открытой бессмертным Эфесцем. Однако осознание этого, проникновение в беспредельный и непостижимый мир, где все едино и взаимопреходяще: «Кто знает, жизнь не есть смерть, а смерть не жизнью ль в мире том зовется?» — все это размывало устои собственного бытия жаждущего познания сына Мнесарха, подтачивало радость жизни. Не избежал он, по-видимому, и влияния интеллектуального аристократизма Гераклита, который делил весь род людской на немногих «знающих» и многих «незнающих», на одиноких мудрецов, причастных к тайнам вселенной, и невежественную «толпу», обеспокоенную главным образом потребностями собственного желудка. И хотя в отличие от гениального Эфесца, твердо стоящего на том, что править обществом должны лишь немногие и лучшие, Еврипид всю свою жизнь оставался убежденным сторонником демократии, его, научившегося возносить мыслью к бескрайним просторам вселенной, тоже во многом не устраивали ни окружающая действительность с ее житейскими заботами и компромиссами, ни люди, среди которых отнюдь не всех можно было бы причислить к умным. Приобщившись к великому осознанию себя самого как частицы вечной и бесконечной материи, Еврипид сделал невозможной для себя простую, обычную жизнь афинского гражданина, и уже тогда пролегла между ним и большинством его соотечественников, погруженных в заботы реальной жизни, та трещина, которая с годами становилась все глубже. По той же причине уже в молодом возрасте Еврипид испытывал больше склонности к уединению и размышлениям, чем к конным ристаниям или всякого рода сборищам, пирам и складчинам с вином, которые так любила устраивать афинская молодежь. Но, с другой стороны, может быть, вера Гераклита в некий высший закон, на котором зиждется мир, во вселенскую справедливость («Солнце не перейдет своей меры; в противоположном случае его постигнут Эринии, помощницы Справедливости») помогла Еврипиду выстоять перед обманами бытия, питала и укрепляла его собственные интуитивные и необъяснимые уования на то, что в конечном счете, несмотря ни на что, справедливость и истина все-таки существуют...

Убеждение в том, что можно и должно посвятить долгие годы и, может быть, даже всю жизнь осмыслению мира, окончательно сложилось у сына Мнесарха после знакомства с Анаксагором, сыном Гегисебула из малоазийского города Клазомен, «которого современники называли Умом — потому ли, что удивлялись его великому, необыкновенному уму, проявившемуся при исследовании природы, или потому, что он первый выставил принципом устройства вселенной не случай, не необходимость, а ум». Еще до нашествия персов, где-то в 480 году, Анаксагор двадцатилетним молодым человеком побывал впервые в Афинах, спустя пятнадцать лет он поселился здесь, как ему, возможно, казалось тогда, навсегда, чтобы без помех заниматься тем единственным, что привлекало его в этом мире, — философией. (Это был, собственно, первый философ, надолго поселившийся в Афинах, так как до этого философы, уроженцы других греческих полисов, лишь наезжали время от времени в город Паллады.)

К сорока годам, когда Анаксагор начал читать свои лекции об устройстве вселенной, он был уже заметной фигурой; афиняне восхищались его способностью проникать в тайны природных явлений (так, он заранее предсказал солнечное затмение 463 года) и в то же время недоумевали: «Ему остались по наследству большие деньги, а он по беззаботности потерял все — вот каким неразумным мудрецом он был», — так писал об этом впоследствии философ Платон. Даже уважающим образованность и склонность к абстрактному мышлению афинянам казалось удивительным, что он бросил богатый дом на родине, оставил без обработки поля на пастбище овцам, чтобы ему ничто не мешало до конца своих дней заниматься философией, астрономией и математикой. Равнодушие знаменитого философа (которого Аристотель впоследствии считал живым воплощением собственного идеала «созерцательной жизни» и который не считал блаженным ни богача, ни властелина) к благам земным, его убеждение в том, что единственное, ради чего человеку стоит появиться на свет и жить, так это лишь «для того, чтобы наблюдать небо и на нем звезды, Луну и Солнце», — все это действовало на его учеников, в том числе и на Еврипида, даже еще сильнее, чем само его учение. Долгие годы общения с мудрецом из Клазомен, все помыслы которого были обращены к великим загадкам Космоса, способствовали тому, что и слушавшие его лекции (среди которых были и Перикл и Сократ) постепенно приучались



подходить ко всему — и к своей собственной жизни, и к бытию вообще — с недоступными для обычных людей мерками, до конца проникнувшись великим осознанием вечности и беспредельности мпродания. Впрочем, Анаксагор проявлял порой и неожиданный интерес к вещам более простым, например, к театру, занимаясь на досуге проблемами перспективы при разрисовке театральных декораций.

Основное сочинение Анаксагора «О природе», знакомство с которым уже в конце V века считалось обязательным для каждого образованного человека, начиналось словами: «Вместе все вещи были...», и этот тезис «все во всем» был основным философским принципом его понимания вселенной. Анаксагор считал, что мир, имевший начало, развивался из некоего первоначального состояния неопределенности, когда вещей как таковых еще не было, и движущей силой этого развития является Разум (Нус), существующий вне человека и пронизывающий собой все сущее. Целью же всех процессов, протекающих в Космосе, было, по мысли великого философа, появление человека как разумного существа и цивилизации. При этом он допускал возможность существования если уж не многих миров, то какого-то другого мира, недоступного для нас, но в целом подобного нашему. Он утверждал, что все сущее, все, о чем человек знает и о чем он может только догадываться, состоит из неразрушимых элементов — «семян вещей» — гомеомериев, бесконечных в своем количестве и качестве: «...следует полагать, что во всех соединениях содержится многое и разнообразное (в том числе) и семена всех вещей, обладающие всевозможными формами, цветами, вкусами и запахами». Семена эти существуют в бесконечном движении, а их упорядочение есть опять же результат мирового Разума, который был для клазоменского мудреца (недаром его все чаще обвиняли в безбожии) единственным богом и высшим законом вселенной. Вера в этот постигаемый лишь умозрительно Разум не мешала, однако, Анаксагору материалистически объяснять устройство вселенной, природу звезд, Луны и Солнца, доискиваться до естественных причин лунных и солнечных затмений и других метеорологических явлений.

Его ученики, философы Архелай (теоретические построения которого были также хорошо знакомы Еврипиду) и Диоген из Аполлонии, пытались развить дальше учение Анаксагора о Высшем разуме, представляя его

как нечто материальное: так, Архелай отождествлял его в какой-то мере с воздухом. Что же касается самого Еврипида, то, хотя он избрал другой путь осмысления мира — через искусство, величественные концепции мироздания беспредельно уважаемого им Учителя, его поистине нечеловеческая интуиция и логика мышления оказали на него огромное влияние, о чем писали биографы Еврипида, о чем свидетельствует все его творчество. С годами он все больше походил на клазоменского мудреца и своим образом жизни, уединенным и созерцательным, своим вызывавшим осуждение сограждан равнодушием к общественной и политической деятельности, хотя он, конечно, всегда оставался сначала афинянином, а потом уже тем «гражданином вселенной», каким считал себя, если верить преданиям, его презревший все близкое ради далекого, все преходящее ради вечного учитель.

При всей своей погруженности в занятия науками Анаксагор немало времени проводил в обществе гетеры Аспасии, родом также из Малой Азии, слывшей одной из самых умных и образованных женщин того времени, истинной собеседницы философов. Через нее он сблизился с Периклом и стал бывать на тех вечерних симпозиумах в доме Аспасии, а затем и в доме Перикла, где не столько пили, сколько беседовали и спорили, добираясь до истины, и где встречались в то время наиболее интересные люди Афин. Не сохранилось никаких упоминаний о том, что на этих собраниях бывал и Еврипид, и это понятно: он был слишком молод, ничем не знаменит, человек довольно скромного происхождения и состояния, к тому же он трудно сходилась с людьми, что мешало ему в отличие от Сократа, тоже неродовитого и небогатого, войти в это общество и впоследствии. И в молодые годы, и потом у сына Мнесарха, так нуждавшегося всю жизнь в верной дружбе и взаимопонимании («дороже всех даров надежный друг»), было мало друзей. Вероятнее всего, потому, что мало находилось людей, способных понять его взыскующую совершенства душу и имевших достаточно терпения, чтобы выносить его раздражительность, рано проявившуюся самоуверенность и резкость в обращении.

Однако не всем в Афинах свобода разума, смелый полет человеческой мысли, столь восхищавшие молодого Еврипида, казались безусловно полезными. Многие не скрывали своих опасений, считая, что отход от заветов отцов может иметь для афинского общества весьма печальные последствия, и одним из таких был Эсхил. По-видимому,

где-то в 461 году, через год после реформы Ареопага, он представил на суд сограждан новую трилогию — «Прометей» («Прометей, похищающий огонь», «Прометей скованный» и «Прометей освобожденный»), где дал свой ответ на многие из тех вопросов, которые с каждым днем меняющаяся действительность ставила перед афинянами.

Когда после победы богов-олимпийцев над титанами Зевс решил истребить и людской род, заменив его новым, более совершенным или же более почитательным поколением, Прометей восстал против этого замысла. Он украд у богов огонь и дал его людям, он вывел их из мрака, страха и дикости, приобщил к созидательной деятельности, научив ремеслам и искусствам. За это все, за то, что он «безмерно смертных чтит», разгневанный Зевс приказал Гефесту приковать Прометей к скале на далеком Кавказе, чтобы страшный орел клевал ему вновь и вновь выраставшую печень. (Представление так и начиналось: выкатывалась экиклема, деревянная платформа на высоких колесах, на которой была скала и прикованная к ней кукла — Прометей.) Напрасно уговаривали его смириться с Зевсовой волей Гефест: «Великим, вижу, болел ты безумием», благоразумный Океан и хор Океанид:

Ты дерзок, не сдаешься ты,  
Под пыткой на своем стоишь,  
Не лучше ль дерзкий придержи язык?

Напрасно: Прометей ценой жесточайших мук отстаивает право на «человеколюбье», право исполнить свое предназначение. Как все богоборцы и освободители, он пытается героическим усилием воли прорвать устоявшийся круг бытия и вывести род людской к каким-то новым высотам, поднять его еще на одну ступень бесконечной лестницы познания. Присущий Прометею как титану дар предвидения лишь усугубляет его страдания: он знает все о прошлом и будущем рода людского, о том, что дарованным огнем люди не всегда будут пользоваться только на благо, что они будут не только обогриваться у этого огня, но и уничтожать им друг друга. Он знает все о судьбе Зевса («ему грозят мученья тягостней моих»), он знает также все про себя самого, но, зная все, он не в силах ни от чего уклониться:

Напрасен ропот! Все, что предстоит снести,  
Мне хорошо известно. Неожиданной  
Не будет боли. С величайшей легкостью  
Принять я должен жребий свой.

Как доносят до нас аптичные авторы, в заключительной части трилогии Прометей, освобожденный Гераклом, мирится со своим мучителем Зевсом. Он признает его власть не из страха, а в результате глубокого осознания тех существенных, нерасторжимых и неотменимых взаимосвязей мира, которые открылись ему самому через страдание. Осознание того, что все в этом мире необходимо обусловлено: и он, Прометей, поощряющий дерзость людскую, и Зевс-Громовержец, эту дерзость сдерживающий. И Эсхил не был бы Эсхилом, суровым хранителем славных заветов марафонского времени, защитником того образа жить и мыслить, благодаря которому, как считал он, греки сокрушили азиатские полчища, человеком, не скрывающим своего недоверия ко всякого рода нововведениям, если бы он не написал этой заключительной части трилогии.

Ибо при всей религиозности Эсхила, этот мир предстает в его трагедиях столь же диалектическим, как в учении Гераклита: и в «Прометее» извечные противоположности жизни ведут между собой нескончаемый спор, вступают в жестокую схватку, чтобы из этой схватки родилась Гармония. И как прав Прометей в своей дерзости, вере в разум и силу познания, так по-своему прав и осторожный Океан, считающий, что конечные последствия знания не может предвидеть никто... Ведь недаром у древних был миф, согласно которому первые люди, Девкалион и Пирра, появились на свет от Прометея и Пандоры, которая открыла ларец с человеческими несчастьями и выпустила их гулять по земле. И поэтому в каждом из людей есть что-то и от Прометея, который смертных «слепыми наделил надеждами», и от несущей гибель Пандоры. В силу этой двойственности, даже благодетельствованные Прометеем люди все-таки не умели жить по-человечески, и, как писал в связи с этим философ Платон, «чуть они собирались вместе, как сейчас же начинали обижать друг друга, потому что не было у них умения жить сообща, и снова приходилось им расселяться и гибнуть... Тогда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род, посылает Гермеса ввести среди людей стыд и правду, чтобы они служили украшением городов и дружественной связью». Таким образом, подвластные диалектике мироздания, богоборец и бог у Эсхила дополняют друг друга как две стороны единого целого. Даже сам Прометей в заключении трилогии приходит к выводу, что все-таки он нужен — некий высший закон, стоящий над людьми,

и суровая справедливость Зевсовой кары: «Через страдания к знанию».

Эта трилогия, в финале которой прославлялся государственный праздник Прометея, имела огромный успех у афинян. Несмотря на общий рост образованности и тягу к просвещению, в массе своей афинский демос, и особенно та его часть, которая недавно вышла из деревни, мыслил согласно традициям и недоверчиво относился к тем слишком уж умным и дерзким, что посягали на веру отцов, на старинные установления и обычаи. Было немало таких, которые, как и мудрый Эсхилос Океан, не были уверены в том, что смертному стоит переходить границы положенного, но только не Еврипид. Известный впоследствии как ниспровергатель устоев, сейчас, в свои двадцать лет, полный сил, еще не растроченной веры в себя и людей, в славное будущее Афин, полный юношеского презрения к сомневающимся и чересчур осторожным, он не мог принять ни в чем точки зрения Эсхила, не мог допустить ни малейшего недоверия к разуму и знаниям.

Он продолжал все свободное время посвящать образованию, мечтая служить Аполлону и музам, но и бессмертная Афродита, пленительная и жестокая, тоже требовала свою часть: увлечения, сокрушительные порывы молодых необузданных страстей, словно ветер с горы на дуб налетавшие (как пела об этом когда-то божественная Санфо), потрясали время от времени его душу и не давали ему, возможно, к его величайшему сожалению и раскаянию, настолько углубиться в чтение и размышления, насколько это необходимо тому, кто причастен к философии. Ведь недаром полвека спустя Эсхил, вызванный из небытия Аристофаном в комедии «Лягушки», презрительно бросит тоже уже не существующему Еврипиду: «Но зато и тебе, и всему, что с тобой, она (Афродита) слишком уж близко известна. Оттого-то навеки ушиблен ты ею». О том, что сын Мнесарха был «ушиблен» Афродитой, афиняне сплетничали долгие годы, считая, что в отношении к нему богиня явила особенное коварство, ибо он, кажется, бывал чаще обманут, чем любим.

Древние считали, что есть две Афродиты: небесная, Урания, — для немногих избранных, и земная, Пандемос, — для всех. И Эроты тоже два: один — возвышенный и прекрасный, а другой — пошлый и ничтожный. И хотя в течение более полувека соотечественники обвиняли сына Мнесарха в бесстыдстве и распущенности чувств, его Афродита могла быть жестокой, мстительной,

грозной и беспощадной, но она никогда не была Пандемос. Время не донесло до нас имена женщин (за исключением двух его жен), черты которых, порой прелестные, порой пугающие, мрачные, навеки запечатлелись в бессмертной веренице героинь его трагедий, а та сила чувств, которая порой шокировала зрителей, была, возможно, лишь отголоском душевных мук, в которые ввергал свирепый Эрос самого поэта:

Рушит все на победном своем пути,  
И несметные беды людям несет,  
И великую пагубу нам сулит  
Поступь грозная бога.

Вероятнее всего, это были гетеры, ибо афинские женщины, а тем более девушки большую часть своей жизни проводили в гинекее и имели весьма мало возможностей для романтических историй. И тем сильнее были разочарования пылкого сердцем сына Мнесарха, что каждый раз он искал и не находил тот идеал возвышенной и нежной возлюбленной, который, неизвестно почему и зачем, жил в его сердце, не давал покоя, не был соотносим ни с одной из встретившихся ему в жизни женщин и нашел воплощение лишь в прелестных образах, созданных его же собственной поэтической фантазией. Вслед за лирическими поэтами прошлых веков (и особенно вслед за Сапфо, которой он был так близок и скорбной страстностью своей поэзии, и бурной жизнью ищущей души) Еврипид смело ввел в трагедию тему, которая многим казалась недопустимой на театре, а именно — любовь и страсть: «Ведь нет для смертных уз теснее, чем день любви во мраке». Любовь, которой не касается Эсхил (по-видимому, в его картине мира любовь не значилась как что-то достойное упоминания), которую Софокл рисует лишь возвышенно и патетически, почти абстрактно, эта любовь у Еврипида является всеокрушающим, неостановимым вихрем, уносящим человека, свою безвольную жертву, в ледяные объятия смерти. Его Киприда безжалостно какает ослушников, всех, кто противится ее власти:

Я властвую, к послушным благосклонная,  
Но карю жестокой повергая в прах  
Строптивцев глупых...

Впрочем, и любовные муки двадцатитрехлетнего юноши, и занятия с Анаксагором должны были вскоре отойти на второй план перед той новой опасностью, которая

незаметно, но совершенно логично подготовленная всем ходом событий в Греции после победы над персами надвинулась на Афины, — опасностью новой войны, на этот раз со своим давним соперником — Спартой. Подходила пора отложить свитки, дощечки и стилос (Еврипид уже начинал в это время пробовать свои силы в поэзии) и с оружием в руках доказать на полях сражений верность клятве, принесенной в храме Аглавры.

Истоки антагонизма между Афинами и Спартой уходили в глубокую древность, ибо, в то время как жители Аттики (называвшейся когда-то Кекропией, в честь рожденного прямо из этой земли змееподобного божества — Кекропа) принадлежали к ионийскому племени, считали себя прямыми потомками древних пеласгов и испокон веку жили в этой стране, дорийцы были пришлым народом. После долгих странствований они вторглись в Среднюю и Южную Грецию, на полуострове Пелопоннес где-то в XII веке до н. э., вскоре после Троянской войны, частично поработив, частично уничтожив местное население — ахейцев и разрушив их древнюю культуру. Корни этой культуры, известной сейчас под названием крито-микенской (наследниками которой считали себя и афиняне), восходили к острову Криту, на котором согласно преданию был рожден и воспитан Зевс. С Критом была связана культура древнего Аргоса, Микен, Тиринфа и Пилоса. Именно здесь, в золотых Микенах и других больших и богатых городах, славных своими строителями и ремесленниками, жили когда-то герои Гомера, сокрушившие малоазийскую Трою. Именно об этом героическом времени хранили память многочисленные мифы и предания, которые греки, в том числе и афиняне, считали своей предысторией. Дорийские завоеватели, настоящие варвары по сравнению с ахейцами, расселились по всему Пелопоннесу и даже на Крите. Позднее, в Лаконике, на плодородной прибрежной равнине, пересекаемой рекою Эврот, образовалась Спарта, Лакедемон, государство, известное не менее, чем Афины, хотя во всем им противоположное. С дорийским вторжением история Греции обратилась вспять. Отброшенная назад, к первобытнообщинному строю, она пришла в запустение и одичание, и только мужественно сопротивлявшимся ионийцам во главе с афинским царем Кодром удалось сдержать натиск завоевателей и отстоять свою землю. Однако часть ионийцев все же переселилась в Малую Азию, обосновавшись на ее побережье после падения Хеттского царства.

На Крите и в некоторых областях Пелопоннеса, например в древнем Аргесе, дорийцы восприняли многое из разрушенной ими культуры, но в Спарте они продолжали придерживаться первоначального образа жизни, сохраняя даже во времена Еврипида многие из древних, восходящих к первобытнообщинному строю установлений (например, пережитки группового брака) и отличаясь от остальных греков даже внешним своим видом. Спартянцы носили простые старинные одежды без каких-либо украшений, жили в домах, построенных только при помощи пилы и топора, пользовались железными деньгами и собирались на ведущиеся исстари совместные трапезы, основным блюдом которых была грубая похлебка из черных бобов — любимое кушанье лакедемонян. Они презирали любой труд, не занимаясь ни земледелием, ни ремеслами, а только военным делом, жестоко эксплуатируя крепостных илотов. Чтобы предотвратить восстания, спартянцы периодически проводили так называемые криптии, ночью неожиданно уничтожая наиболее сильных и умных илотов. Они называли это «священной войной», словно воскрешая кровавые времена дорийского вторжения и гибели ахейских городов. Впрочем, что касается крито-микенской культуры и вошедших в предания героев Троянской войны, то со временем и спартянцы стали рассматривать их как своих славных предков.

На протяжении многих столетий в Спарте сохранялось одно и то же государственное устройство. В мирное время страной управляла коллегия эфоров из пяти человек, избиравшаяся на год, а во время войны власть осуществляли два царя-архагета из династий Эврипонтидов и Агиадов, почитавшиеся спартянцами как земное воплощение божественных Диоскуров и выступавшие главным образом как полководцы. В то время как Афины постоянно расширяли связи с внешним миром, Спарта сознательно стояла в стороне от общего хода развития Греции, замкнувшись в своих старинных установлениях. В то время как в Афинах, и особенно после персидских войн, уделялось большое внимание эстетическому и умственному воспитанию молодежи, в Спарте воспитывали только воинов. Поэтому согласно законам Ликурга детей с какими-либо физическими недостатками сразу же после рождения сбрасывали в Апофеты — нечально известную расщелину в горах Тайгета. С детства спартянцев приучили добывать себе пропитание воровством, уметь хладнокровно убивать, а когда придет час, так же хлад-



покровно и умирать. И не было в Греции воинов более доблестных и стойких, чем спартанцы. Насколько больших высот достигло в Афинах ремесло и искусство, настолько чужда была всему этому Спарта. В Спарте не было ни философов в обычном понимании этого слова, ни художников, ни трагических и комических поэтов. Если в истории Лакедемона и встречались порой поэты-лирики, то они не были спартанцами по происхождению: Тернадр — с острова Лесбос, Алкман — из Сард.

По сравнению с любознательными, предприимчивыми и просвещенными афинянами спартанцы казались особенно косными, невежественными и грубыми. Однако их образ жизни имел и свои преимущества: после того как Ликург «изгнал из Спарты бесполезные и лишние ремесла» и «роскошь, понемногу липшившаяся всего, что ее поддерживало и питало, сама собой увяла и исчезла», общественное неравенство, и так весьма незначительное по сравнению с другими греческими полисами, внешне стало совершенно незаметным. Чувство братства сидящих за одной и той же простой трапезой и стоящих бок о бок в боевом строю порождало у каждого из спартанцев глубокое чувство достоинства, не омрачаемое завистью, стяжательством и другими низкими страстями, ту непоколебимость духа, которой они превосходили всех остальных эллинов, в том числе и афинян. «Оставайтесь бедными, — завещал им Ликург, — и пусть никто не тщится стать могущественнее другого». По всему этому устройство и образ жизни Спарты имели немало поклонников в Элладе, и доблестный Кимон был лишь одним из тех афинян, которым бы хотелось перенести в Атику кое-какие из спартанских установлений.

Что же касается людей образованных, почитающих разум как самое ценное достояние смертных, что касается тех, кто пересматривал и отрицал обветшавшие установления даже собственных предков, им, таким, как Еврипид, казались грубыми и нелепыми, как каменные орудия первоначальных обитателей земли, нравы и обычаи спартанцев. Ученик Анаксагора и почитатель Гераклита откровенно презирал «тупоумных спартанцев», годных разве что для рукопашного боя:

...О, если бы не слава  
Военной силы, Спарта, — в остальном  
Подавно ты последняя на свете.

Ему было непонятно, как вообще можно жить точно в панцире окостеневших обычаев, не имея собственной

индивидуальности, и прошло много лет, прежде чем он увидел у них, стародавних врагов афинян, что-то достойное внимания.

Конфликты между Афинами и Спартой случались на протяжении всей истории, а поскольку Дельфийский оракул предсказал когда-то, что дорийцев изгонят из Пелопоннеса мидяне и афиняне, то спартанцы еще во время персидской войны все время были пасторже, опасаясь, как бы афиняне не сговорились с варварами. Еще в конце VI века под эгидой Спарты был создан Пелопоннесский союз, объединивший южногреческие государства, который стал со временем оплотом всех консервативных, олигархических сил Греции. Теперь же, с усилением морской и торговой мощи Афин, противоречия между ними и городами, входящими в Пелопоннесский союз (и особенно Коринфом, который еще Гомер называл «богатым» и который издавна соперничал с городом Паллады в торговле, ремеслах и искусствах), теперь эти противоречия обострились до предела. Коринфяне не без оснований опасались, что Афины вытеснят их с выгодных рынков Италии и Сицилии, а также на севере, во Фракии и Македонии. Кроме того, богатая аристократия, стоявшая у власти в союзных со Спартой городах, испытывала враждебность и ненависть к набиравшей силу афинской демократии, и все это не могло не привести рано или поздно к открытому столкновению.

Назревавшая война неизбежно должна была принять общегреческий характер, поскольку Афины тоже имели союзников. Еще в 478 году, после славных побед над персами при Платеях и у мыса Микале, целый ряд городов решил объединить свои силы и средства для совместной борьбы против Персии и создал так называемый Делосский морской союз. Союзники должны были поставлять определенное число людей и материалов для снаряжения общего флота и войска. Центром этой симмахии был избран Делос, священный остров, где родились Артемида и Аполлон, в храме которого и решили хранить общесоюзную казну. Во главе симмахии оказались Афины как наиболее сильные на море и имевшие большие заслуги в борьбе с мидийскими варварами, и Аристид, который пользовался уважением союзников, установил общую сумму фороса — 460 аттических талантов, так как объединившиеся города и острова вскоре предпочли заменить денежными взносами личное участие в подготовке флота и войска. На эти деньги афиняне строили все

новые и новые корабли и уже через пятнадцать лет превратились в почти полновластного хозяина Эгейского моря.

Неучастие в общих военно-морских делах, показавшееся вначале союзникам, и особенно небольшим городам, истинным благом, обернулось для них со временем потерей значительной доли самостоятельности. Стремясь к расширению афинского влияния в эллинском мире и даже за его пределами, Перикл, настолько же был внимателен к нуждам своих сограждан, насколько мало припал во внимание мнение союзников, считая, что во имя свободы от варваров можно и должно иногда поступиться частными интересами того или иного отдельного города. Действительно, принадлежность к Архе обеспечивала безопасность морского плавания, позволяла расширить хозяйственные связи между различными, даже наиболее отдаленными областями Эллады, делала доступными рынки Италии, Сицилии, Босфора. Все это способствовало процветанию союзных городов, рабовладельческая демократия которых (мореходы, судовладельцы, купцы, хозяева ремесленных мастерских) считала весьма выгодным для себя членство в симмахии.

Однако, несмотря на все выгоды этого союза, постепенное увеличение флота, который поступал теперь в полное распоряжение Афин и тратился, что было всем очевидно, не только на постройку кораблей и другие военные нужды, а также откровенное стремление их к гегемонии, участвовавшее вмешательство во внутренние дела союзников не могли не вызвать нарастающего недовольства и стремления части союзных городов восстановить былую самостоятельность. И в самих Афинах родовая аристократия постоянно ставила Периклу в упрек несправедливое и неравноправное, по ее мнению, обращение с союзниками по борьбе с варварами, однако все усиливающая свои позиции рабовладельческая верхушка афинской демократии была заинтересована именно в таком положении дел и всецело поддерживала все мероприятия Перикла, направленные на увеличение великодержавной мощи их государства.

Теперь все эти города и острова, в которых после победы демократии в Афинах тоже установился демократический образ правления, оказались так или иначе втянутыми в назревавшую войну. В 460 году вспыхнул пограничный конфликт между Мегарами и Коринфом, в который ввязался остров Эгина, старинный соперник и

педоброжелатель Афин. Афинский флот нанес сокрушительное поражение коринфянам и осадил Египту. Так началась длинная цепь столкновений, сражений, вторжений, развязавшихся в опустошительную и жесточайшую междоусобную войну, получившую название Пелопоннесской, которая обескровила и разорила все втянутые в нее греческие города-государства.

Сначала столкновения с пелопоннессцами воспринимались большинством простых граждан Афин как обычные стычки, имевшие место и раньше, почти всеобщим было желание проучить обнаглевших соседей, и лишь немногие понимали всю меру надвигающейся на полис беды, пытаясь остановить возгордившихся от успехов соотечественников. И первым среди них был Эсхил, который в своей трилогии «Орестея» (458) опять, вновь и вновь, предостерегал сограждан от внутренней смуты и междоусобных войн. В трагедиях «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Эвмениды», в основе которых лежал излюбленный тезис Эскила о том, что ни одно преступление в силу закона мировой справедливости не остается безнаказанным и «вина старинная родит людскую новую вину», старый поэт обратился к мифу о злоключениях микенских Атридов. За страшное преступление царя Атрея, накормившего своего брата Фиеста мясом его собственных детей, платили сыновья, потом внуки Атрея, и несчастьям проклятого рода, казалось, не будет конца:

...Кто содеял — терпи!  
Так нам Правда кричит, по заслугам платя,  
Так научены мы  
Трижды древним, проверенным словом.

Хотя прошло уже около четырех лет с тех пор, как Ареопаг был низведен до простого судилища по уголовным преступлениям, Эсхил все никак не мог с этим смириться. В трагедии «Эвмениды» поэт еще раз напомнил согражданам, при каких обстоятельствах был создан Ареопаг: вершить истинную справедливость, какую он проявил по велению самой Афины в отношении несчастного Ореста, убившего свою преступную мужеубийцу-мать и преследуемого за это свирепыми Эриниями — богинями мщения. Человек уходящего века, Эсхил связывал с нарушением закона, навеки положенного Афиной «своей державе», и порчу общественной нравственности, и обострение разногласий между эллинами. Суровому, религиозному, взыскательному к себе и к людям, ему тя-

жело было видеть, что «теперь для смертных богом стал успех, он выше стал, чем бог», что по мере роста могущества и богатства афинян все меньше и меньше ценятся нравственные достоинства человека и «от безбожья родятся наглость на свет и спесь». Постоянно взывая к Справедливости, Правде и Благочестию, он, потомок древних аттических царей, искал их не в домах богатей, а в бедных хижинах тех незаметных тружеников, на которых издревле и вечно зиждется каждое общество:

А правда светит и в домах,  
Где стены черный дым коптит.  
Она лишь с тем, кто сердцем чист.  
Она бежит от золотого трона,  
Грязь увидавши на руках владыки,  
Она смеется над богатством чванным,  
И все послушно замыслам ее...

И хотя, как сообщают античные авторы, «Орестея» произвела сильное впечатление на зрителей, многое в ней могло не понравиться набирающей силу рабовладельческой верхушке афинского демоса. По мере того как Афины превращались в крупнейший политический, торговый и культурный центр всей Эллады, по мере того как крепли и расширялись рабовладельческие отношения, вытесняя изжившие себя традиционные хозяйственные связи и устои, формировалась и новая мораль, отрицавшая такие, казавшиеся теперь обветшалыми добродетели предков, как умеренность, простота жизни, честность в делах, патриархальная преданность старозаветным обычаям. Нелепым казалось осуждение богатства теперь, когда товары и золото стекались в Афины чуть ли не со всех концов эллинского мира, и в театре Диониса было уже немало таких, которые имели все основания принять на свой счет презрительные вынады Эсхила, продолжавшего мерить жизнь вообще и каждого из своих соотечественников навсегда уходящими в прошлое нравственными мерилками марафонского времени:

Кто спеси полон, кто в дом добро,  
О всякой мере забыв, песет,  
Тем страшен Арес, покровитель мщенья,  
Богатств несметных не надо нам —  
Нужды бы не знать и сберечь без бед  
Достаток скромный, покой душевный.  
Никаким изобильем  
Не откупится смертный,  
Если правду великую  
Попирает ногами.

Многим, особенно молодым, вольномыслящим и жаждущим новизны, могли показаться возмутительными поучения уже отжившего свое старца, его сомнения в пользе рационализма и убеждение в благой необходимости страдания и страха:

Иногда ко благу — страх,  
Пусть же ревностным царем  
Он блюдет престол души,  
Разумению уча  
Через горе.  
Если стинет в сердце страх,  
То найдется ли народ  
И найдется ль человек,  
Чтобы чтит святую Правду?

Выражением проспартанских настроений казались также призывы Эсхила к миру и к прекращению раздоров между греками. И поэтому неудивительно, что недоброжелательство по отношению к нему все росло. Однажды во время представления его даже хотели побить камнями, и он вынужден был искать защиты у жертвенника Диониса. По-видимому, вскоре после постановки «Орестей» против него был возбужден судебный процесс: Эсхила обвиняли в том, что он показал в одной из своих трагедий какие-то священнодействия, связанные с элевсинскими мистериями. К участию в этих мистериях допускались только посвященные, и разглашение их считалось преступлением. Принадлежащий к одному из древнейших родов Элевсина, Эсхил вполне мог быть причастен к этим таинствам, и, видимо, что-то из них нашло отражение в его творчестве, поскольку в суде он оправдывался незнанием запрета говорить о мистериях.

Гелиасты (судьи) были настроены непримиримо, и неизвестно, чем бы окончился этот процесс для шестидесятипятилетнего поэта, создателя более восьмидесяти трагедий и сатировских драм, если бы не его брат Аминий по прозвищу Кинегир, потерявший руку в Саламинском сражении. Он явился в суд и, протягивая обрубок с застарелыми страшными шрамами, в гневе напомнил гелиастам о том, как четверть века назад эпатриды, в том числе и он со своим братом Эсхилом, не щадили себя в борьбе с варварами. Поэт был оправдан, но, оскорбленный, навсегда покинул Афины и уехал в Сицилию, где и умер два года спустя.

С его отъездом в театр Диониса на долгие годы воцарился Софокл, герои которого жили и действовали в

соответствии с исконными законами человеческого бытия, твердо веря в его конечную гармонию. Убеждение Софокла в высшем смысле всего сущего было убеждением спокойного, жизнелюбивого человека, пребывающего в ладу с самим собой и другими людьми, преданного сторонника демократии, которую он считал идеалом общественного устройства. Да и смотреть его трагедии, написанные более простым, чем у Эсхила, языком, было интереснее: Софокл любил наряжать своих героев в пышные костюмы, ввел декорации — красочные полотна с изображением царских дворцов, морских или сельских пейзажей. Для двадцатитрехлетнего Еврипида трагедии Эсхила, как бы ни восставала его все отрицавшая натура против старозаветности певца Саламинского сражения, были незаменимой школой художественного мастерства и примером неподкупного служения Мельпомене. Безусловно, на него не могла не повлиять, хотя бы опосредованно, и сладкозвучная поэзия Софокла, но возникшее вскоре между ними и длившееся потом долгие годы соперничество помешало сыну Мнесарха оценить вполне по достоинству величие своего собрата по сцене.

В эти годы и Еврипид с его дерзким умом, взыскующим вечных тайн бытия, с его пылкой душой, обуреваемой молодыми страстями, начинает пробовать свои силы в искусстве трагедии. Он стремится излить в стихах свое восприятие мира — огромного, свежего, солнечного, полного звуков, красок и запахов весеннего мира двадцатичетырехлетнего, щедро одаренного человека, еще только вступающего в долгий бой с жизнью и преисполненного решимости выиграть этот бой. Отвагой, энергией, дерзостью была проникнута, как доносят до нас античные авторы, одна из его самых ранних трагедий — «Рес», написанная, возможно, под впечатлением похода во Фракию. И уже в этом, вероятно, еще несовершенно произведении был виден почерк великого будущего трагика, те характерные образы и ситуации, которые пройдут потом через все его творчество: последняя спена «Реса» — застывшие в молчании солдаты, и лишь одинокая мать безутешно плачет над телом убитого сына...

Подобно своим предшественникам, он черпал сюжеты для трагедий из эпических поэм, сложных за несколько веков до него, и особенно из «Киприй», где излагалась предыстория Троянской войны, события из жизни царских родов и героев Микенского времени. Для Ев-

рипида, как и вообще для его современников, эти события были такой же неоспоримой реальностью, как недавняя война с персами, мифологические сюжеты принимались безусловно и не нуждались в доказательствах. Так, во время Пелопоннесской войны мифическое прошлое нередко служило обоснованием для всякого рода политических требований в настоящем. Но если для Эсхила и Софокла древние предания являлись прежде всего подтверждением того, как действуют и действовали всегда изначальные заданные законы бытия, то для Еврипида с его чуткой душой, с обостренным восприятием чужого страдания этот мифический мир был огромным сомнением ищущих, борющихся и страдающих людей, пусть живших давным-давно, по все равно мало отличающихся от его современников и от него самого. Принято говорить, что Еврипид наполнял современным ему содержанием традиционные сюжеты и образы, но вернее будет сказать, что в его представлении душа человеческая с ее звездными взлетами и бездонными падениями была всегда одной и той же, неизменной от сотворения мира. Ему хотелось постигнуть те основные причины, которые движут людьми в том или ином случае, раскрыть многообразие их характеров, душевных порывов и чувств. Стремясь донести до зрителей основную идею трагедии, он нередко весьма произвольно изменял традиционный сюжет, вводя в него новые мотивы и образы, соответствующие его творческому замыслу. Столь же свободен он был и в языке, не стесняясь простых, порой даже простонародных выражений, что казалось приверженцам старинных норм в театральном искусстве вульгарным и недостойным высокой поэзии.

Пройдет много лет, и Еврипид действительно явит себя «философом сцены», достойным последователем великих своих учителей, но пока, по крайней мере четверть века, основной, главной темой его трагедий будет любовь, которая казалась ему более важной, чем политика и война. Представляется возможным говорить о том, что на протяжении всей долгой жизни поэта его высокий, жаждущий познания ум вел нескончаемый мучительный спор с его пылким сердцем, созданным для всепоглощающих увлечений, открытым, как и у Сапфо, его бессмертной наставницы в поэзии, всей красоте вечного мира и всей глубине людского страдания. Этот спор остался неразрешенным, и в этом была, по-видимому, основная причина того, что, наделенный богами столь



многим, сын Мнесарха никогда не был, в сущности, счастливым.

Считается, что свою первую трагедию, «Дочери Пелия», Еврипид поставил в 456—455 годах, в возрасте двадцати четырех — двадцати пяти лет. В этой трагедии, содержание которой известно лишь в пересказе античных авторов, он, которого всегда привлекало все необычное, романтическое, связанное с какими-то дальними землями и народами, обратился к преданию о плавании греков на корабле «Арго» в далекую таинственную Колхиду. Дочь колхидского царя и внучка бога Гелиоса волшебница Медея помогает грекам овладеть золотым руном, за которым они и приплыли, влюбившись в одного из этих искателей приключений, фессалийца Ясона. Медея, независимая, страстная, решительная и жестокая (так непохожая на нежных и кротких афинянок, покорно несущих свою судьбу и исполняющих мужнину волю), причастная к магическим тайнам, поистине отпрыск великого Солнца, спасает возлюбленного ценой предательства отца и убийства собственного брата и уплывает на «Арго» навстречу неизвестности, навсегда порвав все связи со своим прежним миром.

Они прибывают в Фессалию, где дядя Ясона Пелий, воспользовавшись отсутствием законного властителя, воцарился в стране и был не слишком обрадован возвращением аргонавтов. Подозрительная всем, окруженная нескрываемой враждебностью родственников мужа, Медея оказывается в хитросплетении интриг: дочери Пелия делают все возможное для того, чтоб Ясон отвернул свое сердце от колхидской царевны, «своей варварской награды». Однако оскорбленная колебаниями и слабостью мужа, по существу, его предательством, внучка Гелиоса по-своему, жестоко и решительно, расправляется со своими врагами. Владея тайной превращать молодых в стариков и омолаживать старых, она предлагает дочерям Пелия испробовать свое волшебство на их отце — и тот умирает в страшных мучениях. Так, уже с первой своей трагедии Еврипид начинает страстную апологию гордого, обманутого сердца, не прощающего предательства в любви, а Медею, к образу которой он еще вернется впоследствии в одном из своих самых совершенных творений, открывает собой трагическую вереницу его героинь, для которых любовь значила больше, чем жизнь, и которые расплачивались собственной гибелью за страшную сладость праведной мести...

Между тем война разгоралась, однако среди братоубийственных распрей над Грецией вдруг опять нависла угроза вторжения персов — опасность, перед которой на время утихли взаимные недовольства. Дело в том, что еще в 460 году в подчиненном персам Египте вспыхнуло восстание, и ливиец Инар, возглавивший его и изгнавший захватчиков из Нижнего Египта, обратился за помощью к Афинам. Двести афинских триер подошли к дельте Нила и, разогнав персидские корабли, осадили Мемфис.

Персы временно отступили. Однако спустя шесть лет, сосредоточив большие силы у берегов Египта, они снова начали наступление, в результате чего большая часть афинского войска и кораблей была уничтожена. Инар был взят в плен и распят, а греки, запертые на небольшом островке, сдались варварам только после восьмимесячной осады. Это был позор, огромная неудача, весть о которой тут же облетела всю Грецию. Все в ужасе ждали, что мидяне вот-вот вторгнутся в Элладу, и Перикл обратился к союзникам, убеждая их, что не время выяснять отношения, что надо крепить свои силы — силы морского союза двухсот городов — и для блага общего дела лучше перевезти общесоюзную казну с Делоса в Афины, что и было сделано в 454 году.

Время было тревожное, все афинские граждане, особенно молодые, могли каждый день получить приказ двинуться куда-нибудь в Беотию или же на Эгину, защищать интересы своего государства, как готов был защищать их и сын Мнесарха, убежденный в том, что за торжество идеалов народовластия, за великое право быть гражданином блистательнейшего из городов Ойкумены можно и должно пожертвовать всем, даже самой жизнью, как жертвовали ею на благо отчизны многие из его юных героев. Долгие годы он оставался одним из тех, чьи «мириады копий» множили славу Афин, но и в эти тяжелые годы затянувшейся на полвека войны он был верен своему главному призванию и предназначению — трагической поэзии. Он продолжал много читать, черпая из старинных эпических поэм сюжеты для задуманных произведений и наполняя их терпкой, трепещущей и горькой на вкус плотью своего сложного времени.



### ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ

Поражение в Египте и угроза новой войны с персами заметно ослабили позиции демократов, в народном собрании сторонники олигархии требовали возвращения Кимона и призывали к миру со Спартой. Вернувшийся в 451 году из изгнания и избранный стратегом, Кимон без труда добился перемирия на пять лет. Он убеждал афины навсегда прекратить вражду со спартанцами, повторяя, что в случае гибели Спарты Эллада станет хромой, а Афины потеряют напарника в единой упряжке. Затем Кимон и его сторонники убедили народное собрание снова послать вести триер к Кипру на помощь египтянам, во главе флота стал сам Кимон. Доблестный стратег выиграл несколько сражений у Кипра и осадил город Китий, однако здесь его настигла тяжелая болезнь и он скончался в 449 году. Повинуясь его последнему приказу, войскам в течение тридцати дней не сообщали о смерти полководца, и они продолжали громить персов на суше и на море.

Неожиданная смерть Кимона ввергла в растерянность его сторонников-аристократов, и, воспользовавшись этим, Перикл поспешил заключить мир с персами, по которому Персия оставляла за собой Кипр, но отказывалась от ма-

лоазийских владений и предоставляла полную независимость греческим полисам. Возмущенные эвпатриды сочли этот мир, несмотря на его выгоду для Афин, прямой изменой общему делу «защиты Греции от варваров». Сторонники олигархического правления и мира со Спартой, во главе которых стал теперь зять Кимона Фукидид, сын Мелесия из Алопеки, начали упорную борьбу против Перикла, выступая против его предложений в народном собрании и способствуя срыву многих его начинаний. Так, они были против планов Перикла созвать общегреческий конгресс в Афинах, чтобы принять решение «о греческих храмах, сожженных варварами, о жертвах, которые следует принести за спасение Эллады по обету, данному богам, о безопасном для всех плавании по морю и о мире». Это собрание должно было привлечь на сторону Афин те города, которые еще не входили в Морской союз, и еще более укрепить влияние города Паллады в эллинском мире. Однако этому воспротивились спартанцы, и конгресс так и не состоялся. В народном собрании Фукидид постоянно выступал против Перикла, призывая его к умеренности во внешних притязаниях.

В это время Еврипид уже был женат. Он женился на некоей Хириле, дочери актера Мнесилоха, с которым был дружен. Вероятно, это был брак уж если не по любви, то, по крайней мере, по увлечению, поскольку трудно предположить какой-то расчет, увидеть какую-то корысть в женитьбе на дочери простого актера. Вообще же брак для афинянина того времени был прежде всего сделкой, которую будущий муж заключал с родителями невесты, оговаривая заранее все условия брака и развода. Обычно пятнадцатилетнюю девушку выдавали за тридцатилетнего мужчину, чтобы она рожала и воспитывала детей, вела хозяйство и надзирала за рабами. Единственным развлечением замужней женщины, помимо не столь уж частых праздничных процессий да посещения театра два раза в году, было ходить к соседкам в гости или устраивать званые трапезы для подруг. Мужья редко бывали дома, занятые делами, политикой и военными походами, а свой досуг они предпочитали проводить в обществе прелестных, образованных и дорогостоящих гетер. Афинские гетеры, умеющие прекрасно петь и танцевать, играть на музыкальных инструментах и декламировать стихи старинных лирических поэтов, были не просто содержанками, в их обществе мужчины находили то, чего не было дома у жен. Было немало гетер, поражавших

своей красотой, вкусом и дарованиями, они служили моделью художникам и скульпторам, вокруг них собирались поэты, философы и политики. Что же касается замужних женщин, то чем богаче и знатней они были, тем однообразнее и скучнее была их жизнь, протекавшая главным образом в гинеее, и хотя, по свидетельству античных авторов, афинянки любили выставлять напоказ свою добродетель, они были невеселы и раздражительны от затаянных горестей.

Каковы бы ни были причины, побудившие Еврипида жениться на дочери Мнесилоха, брак этот, сгубивший, как, возможно, считал сам поэт, «надежду целой жизни», не был удачным. Недаром поэт постоянно сетовал в своих трагедиях на тяжесть брачных уз, на непоправимость ошибки неравного союза: «На все судьба, иной так счастлив в браке, другому беда с женой», «Жизнь скоротать легче людям, что брака чужды». Впрочем, дело тут было, вероятно, не только в сварливости, взбалмошности или же неверности Хирплы (афиняне сплетничали, что обманутые мужья трагедий Еврипида — это он сам, неоднократно обманутый своей женой). Если вообще афинские мужья были духовно весьма далеки от своих спутниц жизни, то что же говорить о сыне Мнесарха, ученике Анаксагора и слугителе муз, который все свободное от воинских обязанностей время отдавал размышлениям, чтению и сочинительству и был к тому же наделен от природы отнюдь не кротким нравом, нетерпеливым, резкий и высокомерный...

Однако Хирила родила ему троих сыновей, и это «детских глаз сиянье, радость видеть нежный цвет детей» было, по-видимому, тем, что связывало несчастливых супругов еще долгие годы, несмотря на то, что развод был в Афинах делом нехитрым: в любой момент муж мог отослать жену к родителям или же к опекуну, возвратив приданое и заплатив полтора процента за каждый прожитый в браке месяц. И пожалуй, дети были единственной настоящей любовью беспокойного духом поэта, которого сограждане нередко упрекали в безнравственности, в проповеди свободной любви:

В бедах дети — это сила,  
Дети в счастье — улыбка,  
На войне они отчизне  
И опора и спасенье...  
Не давай ты мне богатства,  
Царских зал раззолоченных!  
Дай мне вырастить на славу,

Дай взлелеять мной рожденных.  
Жизнь бездетных ненавистна:  
Этой жизни не желай,  
С самым скромным достоянием  
В детях счастье для меня.

Его, довольно равнодушного, как оно и следовало ученику клазоменского мудреца, к жизненным благам лично для себя, постоянно тревожила забота о том, как «выходить нежных, откуда взять для них средства к жизни», забота о том, чтобы из его сыновей вышли порядочные, трудолюбивые, достойные люди. Убежденному рационалисту, поклоннику просвещения, Еврипиду так хотелось верить, что хорошее воспитание и образование сделают более правильной и разумной жизнь его сыновей, защитят их хоть немного от превратностей судьбы, когда его самого уже не будет:

Всю жизнь при нас — усвоенное с детства,  
Воспитывайте тщательно детей.

Беспокойство о детях, по-видимому, постоянно съедало его, и поэтому он, видевший в детях высшее счастье жизни, восклицает порой, измученный этой тревогой, готовый уже отказаться от этой радости-муки:

Но если палетом вырвет  
Из дома их демон смерти  
И бросит в юдоль Аида,  
Чем выкупить можно эту  
Тяжелую рану и есть ли  
Большее печаль этой платы  
За сладкое право рожденья?

Боль о детях, и не только о своих, но о всех детях вообще, беззащитных маленьких жертвах тех неотвратимых трагических обстоятельств, из которых так часто слагается жизнь, эта боль, как открытая рана, всю жизнь кровоточила в сердце поэта. Он, так отлично усвоивший, что жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь, что все возникло из огня и все в него возвратится, не мог понять одного: зачем эта щемящая нежность при виде крохотных милых существ, зачем эта короткая огромная радость в вечном странствии людской души из неизвестности в неизвестность?.. Именно мысль о детях, «сладостных этих растениях», делала особенно трагичным осознание краткости земного бытия, и это стало одним из постоянных мотивов поэзии Еврипида.

Впрочем, для беспокойства о будущем сыновей име-

лись и вполне конкретные причины: и Афины и Спарта снова готовились к войне, полные решимости отстоять как свой образ жизни, способ правления и торговые интересы, так и право главенствовать во всем греческом мире. И поскольку афиняне повсюду поддерживали силы демократии, а спартанцев — приверженцы олигархии, то разгоравшаяся с новой силой межэллинская война неизбежно принимала характер гражданской.

Афиняне были сильнее на море со своим флотом из трехсот боевых триер, а спартанцы считались непревзойденными бойцами на суше. Кроме того, в афинской казне хранилось к этому времени несколько тысяч талантов, а у спартанцев вообще не было больших денег. Поэтому Перикл, видя неизбежность новых военных столкновений, убеждал афинян не бояться лакедемонян, значительно меньше, по его мнению, подготовленных к войне. В 449 году спартанцы предприняли новый поход в Фокиду, входящую в Афинский союз, их поддерживали все враждебные афинянам силы в Беотии, после чего в народном собрании были вынуждены умолкнуть даже наиболее упорные сторонники компромисса со Спартой. Между тем союзные города все чаще обращались к спартанцам с жалобами на притеснения со стороны Афин и требовали помощи.

В 447 году, два года спустя, снова начали военные действия фиванцы, под знамена которых потянулись изгнанники-аристократы из других беотийских городов, и заняли города Херонею и Орхомен, где у власти находились демократы. По настоянию афинского стратега Толмида, в Беотию была отправлена тысяча гоплитов под его командованием, а также отряд союзников. В битве при Коронее афиняне потерпели поражение, часть их была убита, часть попала в плен, погиб и сам Толмид, а беотийские города создали новый, враждебный афинянам Беотийский союз под гегемонией Фив. Вслед за этим восстала Эвбея, остров, из которого, по словам Фукидида, афиняне «извлекли больше выгоды, чем из самой Аттики». Когда в Афинах стало известно, что эвбейцы не пощадят ни одного человека на захваченном ими афинском корабле, Перикл решил сам возглавить военную экспедицию к острову. Однако едва он отбыл на Эвбею, пришло известие об олигархическом перевороте в Мегарах, причем был вырезан почти полностью афинский гарнизон. Тяжелым положением афинян немедленно воспользовалась Спарта, послав в Мегариду войско, во главе ко-

того стояли малолетний царь Плистонакт и эфор Клеандрид. Из Мегариды спартанцы вторглись в Аттику и дошли уже до Элевсина, однако сражения не произошло: неожиданно для всех их войско покинуло пределы афинян. Распространился слух, что Плистонакт и Клеандрид были подкуплены Периклом, во всяком случае, их обвинили в этом по возвращении в Спарту и они вынуждены были бежать... В каком-то из этих походов участвовал, видимо, и Еврипид, добросовестно исполнявший свой воинский долг перед родной, хотя, как и у многих других просвещенных и мыслящих афинян, у него не могла не вызывать тягостного и печального недоумения эта губительная для всех вражда между эллинами.

В тяжелых кровавых битвах, реалистическое описание которых встречается в его трагедиях, у поэта складывается мало-помалу ощущение преступности происходящего, и, хотя он, подобно большинству сторонников демократии, разделяет на первых порах воинственно-патриотический энтузиазм Перикла, в глубине его души все чаще шевелятся тяжелые сомнения в необходимости этой браutoбийственной распри.

Афинский demos не видел пока особой опасности в расширении военных действий, твердо веря в то, что афиняне скоро одержат победу над пелопоннесцами. Против войны постоянно выступали лишь земледельцы, разоренные спартанцами. Перикл, обеспокоенный развитием событий, сумел уговорить народное собрание прекратить военные действия. Но хотя в 445 году был заключен договор о мире на тридцать лет на том условии, что Афинская архе и Пелопоннесский союз обязуются не вмешиваться в дела друг друга, глубинные причины войны не были и не могли быть изжиты. Эллада распалась на два лагеря, настолько же враждебных между собой, насколько олигархия была враждебна демократии, и новые столкновения между ними были неизбежны.

После заключения мира со Спартой позиции сторонников олигархического правления в Афинах сильно пошатнулись, однако Фукидид продолжал постоянно нападать на Перикла, избранного в 444 году стратегом, обвиняя его в тиранических наклонностях, в трате денег союзников, в том, что затеянные им строительные работы слишком дорого обходятся городу. Наконец народное собрание решило провести «суд черепков» и положить конец противоборству, столь вредно отзывавшемуся на делах полиса. В результате остракизму оказался под-



вергнутым Фукидид, защитник «прекрасных и хороших», он был вынужден удалиться в изгнание, а Перикл, став во главе государства, «сосредоточил в себе и сами Афины, и все дела, зависящие от афинян, — взносы союзников, армии, флот, острова, море, великую силу... и верховное владычество»... С этого времени начался «золотой век» Перикла, те пятнадцать лет, в течение которых афинская рабовладельческая демократия достигла своего наивысшего расцвета и на которые приходится ее наиболее значительные свершения и достижения.

Утвердившись у власти, Перикл стал осуществлять такие преобразования в управлении полисом, которые сделали доступными для демоса самые высшие должности в государстве, окончательно подорвав позиции аристократии и придав новую силу упованиям таких сторонников просвещенного народовластия, как философствующий поэт Еврипид, которые надеялись, что теперь-то уже наконец простой трудовой народ, земледельцы, ремесленники и матросы станут действительными хозяевами полиса. Теперь основная роль в политической жизни принадлежала Совету пятисот, избиравшемуся из представителей трех первых аттических сословий и заседавшему открыто, так как афинский демос хотел знать не только окончательное решение, но и мнение каждого из выступавших в Совете. Совет пятисот ведал делами войны и мира, финансами, надзором за арсеналом, доками, флотом и торговлей, а также осуществлял надзор за должностными лицами. Служение обществу всегда считалось в Афинах священной и почетной обязанностью, и должностные лица награждались лишь венками да иногда упоминались в почетных декретах. И поэтому, когда Перикл внес предложение платить членам Совета по одной драхме в день (средний прожиточный минимум афинского ремесленника), многим из приверженцев традиционных установлений это показалось кощунством. Эвпатриды, опасаясь доступа к власти людей незнатных и бедных, обвинили Перикла в том, что он хочет просто подкупить народ, «нравственно развратить» его, и утверждали, что этот порочный проект таит в себе большую опасность, так как должности, которые раньше были просто почетными, теперь станут выгодными, и поэтому должностные лица будут угождать, обманывать, льстить народу, лишь бы не потерять своего места в Совете. Однако Перикл защищал свое предложение, указывая на то, что занимающиеся делами государства ежедневно терпят

убытки, так как не имеют возможности заняться, как того требуется, своими собственными делами, и что долг государства — возместить им этот ущерб. После долгих споров и обсуждений решили оплачивать должности девяти архонтов, шести тысяч членов суда присяжных, а также платить жалованье эфебам, городским стрелкам и стражникам у верфи и на Акрополе. Таким образом, теперь даже бедные граждане могли заседать в Совете и в гелиее (суде присяжных), могли быть даже архонтами, если им выпадет жребий.

Стремясь «освободить город от ничего не делающей и вследствие праздности беспокойной толпы и в то же время помочь бедным людям, а также держать союзников под страхом и наблюдением», утвердившаяся у власти демократия начала широкую организацию на территории союзников клерухий — военно-земледельческих поселений, где афиняне из низшего, четвертого, сословия получили земельные наделы. (К этой мере афиняне, так же как и жители других греческих полисов, прибегали и раньше, выводя избыточное население в колонии и разряжая тем самым социальную напряженность в своих государствах.) Что же касается полноправных граждан, оставшихся в Афинах, то им, кроме оплаты должностей, выдавались время от времени всякие вознаграждения, наиболее бедным выдавался даже теорикон — деньги на посещение театра, поскольку театральным представлениям придавалось особое значение в нравственном и гражданском воспитании народа. Однако пользоваться этими благами могли очень немногие, так как полноправными гражданами считались лишь те, у которых и мать и отец были афинскими гражданами.

Афинский демос, который правил теперь Афинами, был лишь небольшим, ревниво оберегающим свои привилегии слоем. Ремесленники, производящие дорогие товары на вывоз, судовладельцы и трапезиты, для которых после падения аристократии и подчинения союзников открылись широкие возможности обогащения, начинали понемногу заправлять в экклесии и Совете, и демократия, которой так долго и упорно добивался афинский народ, становилась все больше властью богатых рабовладельцев. Афиняне же победнее постепенно привыкли рассчитывать не столько на плоды своего труда, сколько на плату за должность гелиаста (получавшего в день два обола — сумму хотя и небольшую, но на которую вполне могла прокормиться семья) или же на ка-

кие-то раздачи, они скоро привыкли смотреть как на собственные деньги на флорос союзников, были не прочь получить свою толику от богатой военной добычи и поэтому с одобрением принимали выносимые на их обсуждение проекты новых военных экспедиций и территориальных захватов. Это была демократия богатых рабовладельцев, ограниченная и неравноправная по самому своему существу, порождавшая паразитическую психологию и презрение к свободному труду, полная неразрешимых внутренних противоречий и потому таящая в себе даже в период наибольшего расцвета едва заметные ростки будущего упадка.

Как и всех образованных людей, возлагавших большие надежды на демократию, Еврипида не могли не тревожить несомненные признаки того, что народ все больше становится послушным орудием немногих — новой олигархии рабовладельцев, дельцов и толстосумов, рост которой не могла сдержать политика Перикла, веру в мудрость и честность которого поэт разделял с большинством сограждан. Он с удивлением замечал, как вчерашние простолюдины, отцы которых сами от зари до зари работали в мастерской, мнят себя ничуть не хуже повергнутой аристократии, лишенные широты натуры знатных людей, но зато полные наглой спеси. Он обнаруживал с горечью и недоумением, что с усилением власти этих новых хозяев Афин формируется какая-то новая мораль, узаконивающая то, что еще вчера считалось попросту невозможным для порядочного человека. И хотя сын Мнесарха всегда был презрительным ниспровергателем патриархальных добродетелей и устаревших традиций, уходящих в прошлое по мере того, как старинный полис превращался в рабовладельческую державу, он никак не мог принять того, что в Афинах человека все больше начинают ценить по деньгам, по количеству рабов, кораблей, товаров на складах Пирея, серебряных кубков на изобильном столе и златотканых восточных покрывал, образованность же вызывает лишь презрительные насмешки, а доброта, щедрость сердца и честность начинают понемногу восприниматься как слабость или, еще того хуже, как глудость. И хотя в свои тридцать пять — сорок лет Еврипид по-прежнему избегал активного участия в общественных делах, занимаясь в свободное от ратных дел время воспитанием детей, философией и упорным литературным трудом (а писал он, по его собственному признанию, очень нелегко), он был и оста-

вался еще долгие годы убежденным сторонником демократии, считая образцом государственного устройства родные Афины:

. . . . . не один  
Здесь правит человек, свободен город.  
Народ у власти, выборных сменяет  
Он каждый год; богатству преимуществ  
Здесь не дают, права у бедных те же.

Противник всякого угнетения, целя превыше всего свободу просвещенной и деятельной личности, Еврипид всегда стоял на том, что «нет ничего для государства хуже единовластия», и с презрением отвергал как мертвящий деспотизм восточных царств, так и обезличивающую уравнивательность спартанцев. В течение долгих лет он отстаивал со сцены свой идеал демократии — свободного и просвещенного общества, в котором «одно для неимущих и богатых право, и может смело бедный обвинять богатого в его дурном поступке», общества, которое воздает по заслугам своим наиболее ценным членам и которое так и осталось неосуществившейся мечтой философов и поэтов:

Там, где народ у власти, выдвиженью  
Он рад бывает новых сильных граждан,  
А самодержец в этом видит вло  
И наилучших, в ком приметил разум,  
Уничтожает, трепеща за власть.

Впрочем, в первые годы правления Перикла, стремившегося опереться в своих начинаниях на образованных и одаренных, для таких упований на демократию было немало оснований.

В эти годы Перикл развернул грандиозное строительство, которого раньше не знали патриархальные Афины с их небольшими домишками и довольно скромными старинными храмами. Еще в 456 году была завершена под руководством архитектора Калликрата постройка Длинных стен, соединивших город с Пиреем, чтобы в случае осады не прервалась связь с морем и жители деревень могли укрыться за этими стенами. Затем был оборудован сам Пирей, ставший гаванью союзного флота, и наконец приступили к застройке Акрополя — священного места Афин, обители их древних богов. Новый Акрополь был задуман как памятник в честь победы над персами, призванный еще больше сплотить союзные горо-

да вокруг Афин. В течение нескольких лет сотни искусных ремесленников сооружали здания, которые, как писал Плутарх, «по красоте своей... с самого начала были старинными, а по блестящей сохранности они и доныне свежи». Это были Эрехтейон, храм древнейшего местного бога Эрехтония; небольшой храм Ники Аптерос — Бескрылой, чтобы Победа никогда не покинула афинян; роскошные, украшенные колоннами Пропилеи — вход на Акрополь и, наконец, Парфенон, храм Афины Полиады — Градохранительницы, построенный в 447—432 годах Иктином и Калликратом. Значительная часть скульптурных украшений Парфенона и стоящие на Акрополе статуи были созданы Фидием или же под руководством этого скульптора, слава о котором давно уже перешагнула границы Аттики. Друг Перикла, Фидий, наблюдал за всеми постройками, был поставлен над всеми остальными мастерами, и это навлекло на него зависть и злословие.

Прекрасные здания и портики, украшенные росписью и скульптурами, были построены и в самом городе, в том числе Одеон с его покатою крышей в наподобие палатки персидского царя, где устраивались музыкальные состязания, введенные Периклом. На глазах одного поколения Афины превращались в «Элладу в Элладе», великодушный, богатый, свободный город, куда отовсюду съезжались философы и художники, где состязались в своем искусстве знаменитые поэты и музыканты. Сам первый гражданин Афин был окружен мыслящими и интересными людьми, чему в немалой степени способствовала его женитьба на Аспасии. Хотя дочь Аксиха была всего лишь содержательницей дома для девиц легкого поведения, благороднейшие из афинян искали ее благосклонности, а известность ее была так велика, что персидский царевич Кир даже назвал свою любимую наложницу Аспасией. Кроме Анаксагора, к Аспасии часто ходил и водил своих знакомых Сократ, сын каменотеса Софрониска и повитухи Фенареты, и сам тоже то ли каменотес, то ли скульптор, человек бедный, некрасивый и даже несколько странный, большой любитель философских бесед. Здесь бывали также Софокл, Фидий, философ Зенон, архитектор Гипподам, знаменитые приезжие софисты, а также Геродот из Галикарнаса, который вот уже несколько лет проживал в Афинах, работая над большим сочинением — «Историей греко-персидских войн».

Весной 445 года он читал афинянам отрывки из этой истории — интереснейшие рассказы об обычаях и нравах полудиких обитателей тех немеренных и неведомых земель, что лежат за Понтом Эвкспским. В основу его огромного труда легли сведения, почерпнутые у предшествующих историков, и особенно у Гекатея Милетского, современника и очевидца персидских войн, а также собственные впечатления галикарнасца от его десятилетних странствий по Ближнему Востоку и Причерноморью. К этому времени у греков уже было немало историков, одни из которых описывали эллинские дела, а другие — жизнь варваров, но мало кому из них удалось создать столь полную картину тогдашнего мира, как Геродоту. Возможно, по сути своей он был не только историком, но и поэтом, потому что, хотя он и пытался истолковывать рационалистически приводимые им народные предания, он сам то и дело поддавался их поэтическому вымыслу, наивной вере древнего человека в чудесное. Ход истории, где, по его мнению, нет ничего случайного и все теснейшим образом взаимосвязано, Геродот объяснял промыслом божьим, который преобразует в Космос темный Хаос вселенной и в который он сам, несмотря на знакомство с натурфилософией, твердо верил. Иначе ему, человеку своего времени, было бы трудно и, пожалуй, даже невозможно понять все то противоречивое многообразие жизни, которое предстало перед ним во время странствий по свету.

Еще сравнительно молодым человеком Геродот участвовал в борьбе с тиранцией в Галикарнасе, из-за чего ему пришлось в 455 году покинуть родину. Он побывал в Вавилоне, Сирии, Египте, на западном побережье Эвксинского Понта и наконец обосновался в Афинах. Демократические Афины восхитили его своим бурным развитием, биением творческой жизни, столь непохожей на застойное существование древних восточных царств. Именно в народовластии Геродот увидел залог могущества города Паллады и в трактовке греко-персидских войн исходил из афинофильских позиций, считая, что прежде всего афинянам Эллада обязана спасением от восточного варварства. Стремясь осмыслить историю греков и их культуры, он обращался к ее отдаленнейшим истокам, к древнейшим пластам преданий и мифов, не сомневаясь в их достоверности, и утверждал, что они, эллины, представляют собой лишь еще одно звено в бесконечной цепи человеческих поколений — создателей

культуры. Он постоянно подчеркивал, что греки и персы, несмотря на вековую вражду между ними, родственные народы, что очень многое эллинами воспринято у финикийцев и египтян еще в те далекие времена, когда в страпу пеласгов прибыли дочери Даная из Египта, а в Фивах поселился финикиец Кадам.

Такие сопоставления, а также восхищение историка при всей его приверженности к демократии высокими моральными устоями персов, простотой их образа жизни могли не понравиться многим афинянам, придерживавшимся традиционной концепции «восточного варварства», однако в 40-е годы, в «золотой век» Перикла, подобный образ мыслей еще не вызывал открытого осуждения. Неизвестно, в каких отношениях с Геродотом находился Еврипид и были ли эти отношения вообще, но несомненно, что он был знаком с «Историей греко-персидских войн», многие положения которой отразились так или иначе в его трагедиях.

Однако в отличие от Геродота, сомневающегося в возможностях человека изменить что-либо в не зависящем от него течении жизни и сегоущего порою на тяжесть познания Еврипид еще верил в то, что разум и знания, воспитание и просвещение могут способствовать совершенствованию бытия, и пытался со сцены театра приобщить афинян к тем нравственно-философским истинам, которые, как казалось ему, могут сделать более возвышенными их души.

Как раз в это время, в 444—443 годах, в Афинах появляется человек, который немало способствовал этой направленности мышления и творчества Еврипида и стал его наставником и другом на долгие годы. Это был софист Протагор из фракийского города Абдеры, известный по всей Греции как великий ритор. В Афинах, как он делал это и в других городах, Протагор стал устраивать публичные диспуты и учить за большие деньги, что было новостью для афинян и вызывало у многих осуждение и зависть. Чему же он учил? Сам он, как писал об этом впоследствии философ Платон, так говорил об этом: «Наука же эта смышленность в домашних делах, умение наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных: благодаря ей можно стать всех сильнее и в постушках и в речах, касающихся государства». Именно это — стремление постичь «науку жизни человеческой» — сблизило и сдружило Еврипида и абдерского мудреца, верившего в то, что, несмотря на

превратности судьбы, человек должен стараться стать хозяином собственной жизни.

Протагора и других подобных ему странствующих учителей мудрости не считали философами в привычном смысле этого слова, да они и сами себя не считали таковыми, трактуя свою задачу гораздо проще и в то же время бесконечно сложнее: в то время как натурфилософы стремились постичь законы природы, их интересовал прежде всего внутренний мир человека, который они считали столь же самоцепным и достойным познания, как и мир внешний. Им хотелось выявить законы мышления, познания и языка, пути развития человеческого общества и возможности влиять на это развитие. Софисты, как называли их в Греции, учили, как жить, на их взгляд, более правильно и разумно, как управлять своими поступками и речами, и были, по словам Платона, чем-то вроде торговцев или разносчиков «тех принасов, которыми питается душа».

Переезжая из города в город, они выступали на общественных праздниках с панегириками городу, надгробными речами, восхвалениями полководцев или поэтов и отличались от прочих граждан своими пышными одеждами и длинными волосами, окруженные толпой восторженных почитателей. Они учили экономике, политике, грамматике, логике и поэтике — всему, что может пригодиться свободному человеку в его личных делах и на общественном поприще. Учеников находилось немало: жизнь афинян менялась прямо на глазах, традиционные нормы устаревали, законы Солона казались наивными, действительность требовала энергии, самостоятельности и предприимчивости, и софисты, казалось, могли всему этому научить. И главное — они могли научить хорошо и убедительно говорить, что было просто необходимо для каждого, кто стремился к общественной и государственной деятельности, хотел занять какую-то должность. Посредством различных риторических упражнений софисты учили, как победить противника в словесной битве в Народном собрании, Совете или суде, как добиться этого любыми способами, независимо от того, прав ты в данном случае или не прав. Многих пожилых афинян, еще не утративших уважения к исконным добродетелям предков, и прежде всего к таким, как порядочность и честность в делах общественных и личных, коробила беспринципность софистов и тех, кто стремился уподобиться им; и действительно, сомнительное умение «сделать не-



правое дело правым» было одним из наиболее характерных признаков кризиса полисного сознания.

С одной стороны, поставив в центре своей философии человека и его нужды, софисты произвели поистине переворот в духовной жизни афинян, проповедуя свободу мысли и слова, «естественное право» каждого человека, равенство всех перед лицом природы. Однако им было свойственно преувеличивать значимость этих «естественных законов» и подменять ими законы общественные, считая последние не столь уж важными и обязательными: в природе, утверждали они, все создано прекрасным и только люди многое испортили и извратили. Поэтому и оценивать каждую вещь, каждое учреждение или понятие надо с той точки зрения, существуют ли они от природы или же выдуманы людьми и, следовательно, не так уже необходимы. А провозглашаемая ими относительность всех нравственных принципов и общественных установлений, утверждение того, что абсолютных и вечных истин не существует, что относительно также и знание и поэтому проникнуть в суть вещей невозможно, — все это расшатывало традиционные моральные устои и этические нормы афинян, и так претерпевавшие серьезные изменения с ростом рабовладения и расширением внешней экспансии Афин. Наиболее известными из софистов, кроме Протагора, были Гиппий из Элиды, Продик с острова Кеос и Горгий из сицилийских Леонтий, все они учили в Афинах в 40—30-е годы, пользуясь огромным успехом у состоятельной молодежи и вызывая все большее недоверие у по старинке мыслящих, религиозных афинян своими сомнениями в существовании олимпийских богов и проповедью свободы человека от всякого рода стесняющих его установлений.

Протагор был известен тем, что учил своих последователей, сыновей, зажиточных родителей, мечтающих о политической карьере, что «о всяком деле может быть высказано два совершенно противоположных мнения», что надо уметь «слабейший аргумент сделать сильнейшим» и что при желании можно доказать все, что угодно. Об этом он писал в своих сочинениях «Ниспровергающие», «Противоречия», «Великое слово», от которых сохранились лишь небольшие фрагменты. Однако не это довольно ничтожное мастерство играть тезисами и антитезисами, приводящее к тому, что в конце своей речи великий софист утверждал порой прямо противоположное тому, что говорил вначале, не умение зарабатывать большие деньги,

обучая выворачивать наизнанку слова и понятия, привлекало к нему Еврипида. (Хотя столь характерное для Протагора противоборство взаимоисключающих аргументов и замена одного из них другим отличало и трагедии Еврипида, и порой было трудно понять, что же действительно думает поэт по тому или иному поводу, и это очень возмущало зрителей.) Главным для Еврипида был тезис великого софиста о том, что «человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют», его стремление объяснить бытие, исходя из особенностей природы человека, разобраться в сложнейшей гамме человеческих свойств, чувств, достоинств и недостатков — все то, к чему стремился и сам Еврипид в своих трагедиях. В философии Протагора он находил подтверждение своим собственным мыслям, тем выводам, к которым пришел еще до знакомства с ним. В картине мира, создаваемой Абдеритом, не было места для промысла божия, он откровенно сомневался в самом существовании богов — и это было так понятно сыну Мнесарха, тоже всю жизнь мучившемуся вопросом: есть ли боги, а если есть, то почему они так жестоки и несправедливы?..

Их сблизило презрение к обветшавшим традициям и суевериям толпы, пренебрежение к расхожим истинам, глубочайший демократизм (Протагор был убежденным сторонником демократии) и великая вера в знание, которое совершенствует способности человека, помогает ему найти свое место в мире, преобразует в конечном счете сам этот мир. В своем уповании на силу разума они оба были склонны считать, что знанию неизбежно сопутствует добродетель, что знающий человек не может творить зло. Беседы с Протагором о том, что такое зло и добро, что есть истина и достижима ли она, о законах познания и о других вещах, интересных лишь немногим, тем, кого заняты торговыми делами или политикой граждане считали празднoлюбцами и шарлатанами, эти беседы укрепляли рационализм Еврипида, его гуманизм, восстающий против какого бы то ни было насилия. Однако релятивизм знаменитого софиста, его убеждение в том, что относительно не только вещи, но и понятия о них, в том числе и такие понятия, как справедливость и добро, способствовали развитию того чувства пессимизма, к которому всегда был склонен Еврипид, порождали ощущение зыбкости и расплывчатости бытия. Преломленный через доведенный до крайности тезис «все течет, все из-

меняется», мир терял реальные очертания, уже не особенно важными казались дела соотечественников, и чем больших философских абстракций достигал сын Мнесарха, неуемный в своем познании мира, тем шире и глубже становилась трещина между ним и окружающими людьми, занятыми простыми житейскими делами и заботами.

Но как ни сильна была неприязнь Еврипида ко всякого рода суете и стремление посвящать свое время и помыслы лишь «прекрасному и возвышенному» (эту черту его натуры отмечают все биографы), театр тоже требовал хлопот, и немалых. Для того чтобы поставить очередную трилогию (к сожалению, из трагедий этого времени до нас ничего не дошло), нужно было сначала представить ее на рассмотрение архонта-эпонима, который сам или с помощниками выбирал трагедии для праздника и выплачивал авторам вознаграждение из государственной казны. Потом надо было «просить хор» (из 12—15 человек), а также актера-протагониста, а тот уже приводил двух остальных, обычно своих приятелей. Надо было позаботиться о костюмах (обычно очень пышных, нарядно расшитых цветами, звездами, пальмами и фигурами животных), о масках, котурнах и декорациях, чтобы все было как следует, в соответствии с сюжетом и замыслом трагедии. Надо было поддерживать отношения с хорегом — тем богатым гражданином, которому было поручено в этот раз осуществлять постановку, нанять хор, «учителя хора» и помещение для разучивания трагедий, а это было, видимо, не так-то просто для сына Мнесарха с его нетерпимостью и чувством превосходства, весьма раздражавшим сограждан.

Но вот все заботы по постановке подходили к концу, наступали праздничные дни и в театре Диониса начинался традиционный агон: во славу великого бога состязались три поэта, три хорега и три первых актера. После торжественных жертвоприношений глашатай обращался к каждому из участвующих поэтов: «Выводи свой хор!», и сын Мнесарха, высокий, худощавый, бородатый, с длинными, чуть волнистыми волосами и веснушками на лице, в сверкающем свежестею, отглаженном гиматии, нетерпеливо и важно шел впереди своего хора, гордый служитель муз, пожизненный данник Аполлона. И каждый раз в течение семнадцати лет, прошедших со времени постановки «Дочерей Пелия», праздник оканчивался для Еврипида горечью поражения. Его трагедии, слишком уж откры-

венные, полные рискованных ситуаций, и натуралистических, на взгляд афинян, подробностей, а также различных философских рассуждений в стиле Гераклита и Анаксагора, чем-то раздражали как зрителей, так и судей. Особенно возмущало его стремление поучать, сограждане не признавали такого права за этим самонадеянным, ничем себя особенно не проявившим человеком, предъявлявшим к ним слишком высокие требования. И лишь где-то около 443 года, почти в сорок лет, Еврипид удостоился наконец первой награды. Время не сохранило для нас даже названия этой тетралогии, но как велика, должно быть, была радость поэта, не теряющего надежды заставить своих сограждан увидеть мир и человека таким, каким он видел их сам, верный последователь Анаксагора и Протагора.

Впрочем, уже на следующий год его опять победил Софокл, «Антигона» которого надолго упрочила его славу как первого поэта Афин. Хотя по идущей от античности традиции принято считать, что Софокл избегал в своем творчестве злободневных проблем современности, та коллизия, которая лежит в основе «Антигоны», — трагическое, сплошь и рядом повторяющееся столкновение законов писанных и законов неписанных норм человеческой нравственности, это столкновение становилось все более характерным для жизни афинского общества. Те самые законы, на которых издревле зиждется мир и согласно которым поступает Софоклова Антигона, предавая земле тело своего брата, все чаще вступали в противоречие с волей имеющих силу и власть и считающих себя потому выше этих извечных и главных установлений. Таков у Софокла Кронт, фиванский правитель, запрещающий хоронить Полиника. Прекрасная, нежная дочь преследуемого Роком Эдипа, у которой после гибели братьев не осталось никого и ничего, Антигона не может нарушить даже перед угрозой смерти вечный закон уз крови и памяти о близких, связывающий воедино цепь человеческих поколений:

Закон богов, не писанный, но прочный,  
Ведь не вчера был создан тот закон.  
Когда явился он, никто не знает.

Исполняя этот закон, греки (так же, как и другие древние люди, значительно сильнее, чем мы, ощущавшие нерасторжимую взаимосвязь с теми, кто уже покинул этот мир и в то же время пребудет вечно в своих потом-

ках) совершали в традиционные дни возлияния медом, вином и молоком на могшлах усопших словно бы затем, чтобы и там, в неизвестном и сумрачном мире, их дорогие и незабвенные вспомнили хоть на мгновение о тучных стадах на весенних лугах и жужжании пчел на цветущем миндале. В их представлении самое страшное для человека было остаться без погребения, и поэтому Антигона не могла даже помыслить о том, чтобы оставить на растерзание воронам труп своего любимого брата, врага и изменника Фив, несмотря на угрозы Креонта, ослепленного властью и возомнившего себя сильнее тех древних законов, о которых напоминает ему слепой прорицатель Тересий:

Нет, смерть уважь, убитого не трогай,  
Иль доблестно убитых добивать?

Креонт тоже по-своему прав, с точки зрения политической и гражданской: «Чтить мертвых — дело благочестья, но власть стоящего у власти преступать нельзя», по Софокл, понимая правоту Креонта, не признает ее и ставит выше извечную правду человечности и любви. Эту высшую правду Антигоны понимает и сын его, Гемон, он пронзает себя мечом у ног погибшей невесты, не в силах вынести этой утраты, не в силах воспротивиться жестокости мыслящего государственными категориями отца и не в силах ему простить. И Креонт, потерявший любимого сына, остается один на один со своей гордыней и властью, которая уже никогда не сделает его счастливым.

Как бы ни был Софокл, сын оружейника Софилла, привержен к демократии, в сколь бы дружеских отношениях ни состоял он с Периклом, ему тоже, по-видимому, становилось все тяжелее наблюдать, как соображения выгоды, откровенная тяга к богатству, невзирая на средства его приобретения, оттесняют на задний план исконные добродетели эллинов и делают просто смешными бескорыстие и справедливость:

Ведь нет у смертных ничего на свете,  
Что хуже денег. Города они  
Крушат, из дома выгоняют граждан  
И учат благородные сердца  
Бесстыдные поступки совершать.

Однако уже никакими силами было невозможно отменить или как-то изменить того, что так возмущало Софокла; ибо «древний родовой строй... оказался бессиль-

ным против победного шествия денег... и благочестивые пожелания, страстное стремление вернуть старое доброе время не могли заставить снова исчезнуть деньги и ростовщичество»<sup>1</sup>.

Более снисходительный в отличие от Эсхила и Еврипида к несовершенству своих сограждан, Софокл был далек от того, чтобы прямо упрекать их в этом или пытаться поучать, считая достаточным уже то, что он являет в своих трагедиях образы идеальных и возвышенных людей, таких, как Антигона. Однако и он не мог удержаться порой, чтобы не отметить с горечью, что разум, делающий человека «чудесней всех чудес на свете», «толкает его то ко благим, то к позорным деяниям».

Софокл недаром напоминал согражданам о милосердии, поскольку политические и экономические интересы рабовладельческой верхушки афинского общества все чаще вступали в неразрешимые противоречия с теми понятиями общечеловеческого гуманизма, с позиций которого выступали и Софокл, и Еврипид, и многие другие поэты этого времени. Это стало особенно ясно, когда в 440 году стал проявлять намерение выйти из Морского союза остров Самос, по богатству и мощи всегда превосходивший остальные ионийские государства. Еще недавно его флот царил на морских путях к берегам Эвксинского Понта, и самосцы, привыкшие к самостоятельности и деловому размаху, с трудом выносили тяжелую опеку Афин. Вслед за Самосом стали выказывать недовольство Византий и города Халкидики, все это ставило под угрозу влияние Афин в проливах и у берегов Малой Азии, и Народное собрание постановило прибегнуть к самым решительным мерам. Однако сорок кораблей во главе с Периклом, отправленные на усмирение Самоса, потерпели поражение в морском сражении. Тогда афиняне решили выступить еще раз, и после более чем восьми месяцев тяжелой осады самосцы были вынуждены сдаться. Им пришлось отдать свой флот, срыть оборонительные стены и выплатить большую контрибуцию. Вслед за Самосом смирились Византий и города Халкидики, с которыми обошлись куда более милостиво, ограничившись лишь увеличением фороса.

Перипетии афинской политики, вызывавшие бурные споры в Народном собрании, пока не особенно интересовали Еврипида и почти не проглядывали в его произведе-

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2-е, т. 21, с. 113.

ниях, основной темой которых оставались романтические истории из жизни мифических героев с путешествиями в разные далекие земли и рискованными, необычными ситуациями, а также любовь. Это казалось многим афинянам неуместным на сцене, откровенный показ чувств рассматривался как вульгарное нарушение традиций трагической поэзии. И потому представленная Еврипидом в 438 году тетралогия «Критянки», «Алкмеон в Псофиде», «Телеф» и «Алкеста» вместо сатиrowsкой драмы не имели успеха и первая награда была опять присуждена Софоклу.

Трагедии начинались с пролога, где сразу же вкратце излагалось их содержание, главное место занимали большие, развернутые монологи героев и диалоги между ними («состязание в речах»). «Критянки» — это история критской царевны Аэропы, тайно влюбленной в молодого воина. Узнав об этом, разгневанный отец приказал греческому матросу утопить царевну в море, однако тот, сжалившись над девушкой, отвез ее в Грецию. Античные авторы рассказывают, что прекрасные арии из этой трагедии, в которых Аэропа изливала свою несостоящую любовь, распевали в Афинах еще долго после того, как сам поэт уже умер. Необычен и сюжет «Алкмеона», совершившего тяжкий грех — убийство собственной матери, претерпевшего затем много страданий из-за чудесного ожерелья Гармонии, дочери Ареса, и в конце концов погибшего из-за него, так и не смыв с себя страшного преступления. Непривычные для афинян чувствительность, мелодраматизм этих пьес многим показались чересчур вычурными и искусственными. Во всяком случае, злоключения Телефа, раненного копьем Ахилла мизийского царя, который отправился потом, следуя предсказаниям оракула, искать исцеления и претерпел много опасностей в стане ахейцев, показались чрезвычайно забавными семнадцатилетнему юноше Аристофану, будущему великому комедиографу. Даже через тринадцать лет он не мог освободиться от этого впечатления и вставил в свою комедию «Ахарняне» ряд эпизодов, безжалостно и метко пародирующих наиболее патетические сцены из «Телефа», где царь Мизии, переодетый нищим, выясняет отношения с разрушителем Трои Агамемноном.

«Алкеста», завершавшая собой представление, должна была (и это очень характерно для Еврипида, у которого конец всегда в какой-то мере опровергает начало) смягчить впечатление от откровенности «Критянок». Эта

трагедия тоже о любви: любви юной прекрасной женщины к своему мужу, фессалийскому царю Адмету, которого обрекли на смерть безжалостные Парки. Аполлон, находящийся по воле разгневанного на него Зевса во временном услужении у Адмета, уговаривает неумолимых держательниц человеческих судеб оставить царя в живых. Те соглашаются при условии, что кто-то из близких Адмета согласится сойти в Аид вместо него. Ни отец, ни мать, уже отжившие свое старики, не соглашаются на эту великую жертву, и только Алкеста, «лучшая из женщин под солнцем дальним», готова умереть вместо мужа, хотя и ей так не хочется раньше времени покидать белый свет: «О дети, жить хочу... Темна могила...» Ей невыносимо расставание со своими малютками, ужасает мысль о том, как они будут жить дальше без матери, и, медленно угасая на руках раздавленного бедами мужа, она просит его:

...Ты мачехи к сиротам  
Не приводи, чтоб в зависти детей  
Моях она, Адмет, не затолкала,  
Не запугала слабых.

Как и все герои Еврипида, персонажи «Алкесты» — это живые, обычные люди, с их колебаниями, слабостью, сложнейшей гаммой разпоречивых чувств. Вот Адмет. Он тоже очень любит жену, не мыслит себе жизни без нее, но в то же время позволяет ей жертвовать собой ради его спасения. Он остается жить и в то же время уже и не рад этой жизни: он откупился дорогой ценой от Парок, но как смириться с позором, с осознанием своей мужской несостоятельности? Недаром в нем поднимается иростный гнев на отца, когда тот, упрекаемый сыном в чрезмерном жизнелюбии, отвечает ему тем же:

Сам любишь жизнь ты, кажется. В отце  
Зачем признать любви не хочешь той же?

...Но как же оп  
Клянет мою, своей не видя, трусость?  
Во цвете лет женою побежден.  
Придуманно отлично... хоть и вовсе  
Не умирай, сменяя верных жен.

Потаще жен меняй, целее будешь.

В растерянности, раздавленный горем и сомнениями, Адмет возвращается с похорон, не в силах войти в свой



опустевший дом, и тут появляется Геракл — огромный, жизнерадостный детина, тогда еще не полубог, которому «бой со всеми на роду написан». Адмет, не желая омрачать настроение гостя своим горем, скрывает от него, что он только что схоронил любимую жену, и при молчаливом негодовании слуги Геракл пирует и поет, призывая пользоваться короткими радостями человеческой жизни и бросая вызов самим богам:

Я зависти небесной не боюсь  
И солнцу говорю: «Гляди — я счастлив».

Узнав в конце концов о смерти Алкесты, смущенный Геракл решает искупить свое невольное кощунство и вырвать «цвет царей» у смерти. Совершив это, он приводит царицу во дворец и просит Адмета временно приютить ее, скрытую под покрывалом, выдав за свою рабыню, полученную в качестве приза на состязании. Какова же была радость царя и всеобщее счастье, когда он узнает в незнакомке утраченную и вновь обретенную жену. Так благодаря Гераклу трагедия завершается счастливым концом.

В этой трагедии есть уже все, что характерно для драматического мастерства Еврипида и будет присутствовать так или иначе в каждом из его последующих произведений: и отзвуки софистических споров (в перебранке Адмета с отцом), и вызов традиционным устоям, и психологическая углубленность характеров, какой не знали Эсхил и Софокл. Подтачиваемый тщательно скрываемой слабостью, Адмет открывает собой длинную вереницу внутренне несостоятельных царей и героев, а жалкий птенец, мальчик Евмел, у которого зависть богов отнимает опору всей его жизни — мать, найдет потом повторение во всех маленьких жертвах людской и божьей жестокости в трагедиях Еврипида:

Сыну ж зачем спротои,  
Зная, велела ты жить?

Мать, послушай меня,  
Сына послушай, молю.  
Это к холодным губам  
Твой детеныш приник.

Любовь и страдание, связанные неразрывно, эти вечные спутники человека — зачем они даны ему? Эта тайна всю жизнь волновала беспокойного сердцем сына Мнесарха, тайна, постичь которую он так и не смог.



### «ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Хотя военные действия между Афинами и Спартой на время прекратились, обстановка продолжала оставаться напряженной, и с огрублением нравов, неизбежно сопутствующим тяготам войны, все больше появлялось таких, которые открыто выражали сомнения в пользе философии, а также поэзии, воспевающей любовные страдания, а не героические свершения на благо отечества. И действительно, нетленное сияние вечных истин, непреложная ценность законов бытия, открытых великими философами, как будто бы немного померкли в удушливой пыли сражений, когда казалось порой, что людям так никогда и не подняться выше насилия и крови, без конца проливаемой ими от сотворения мира:

Удары щит о щит, и крик, и стоп  
Поднялись вихрем тяжким... И напор  
Конейщиков аргосских очень скоро  
Прорвал ряды афинские... потом  
Враг отступил... но грудь на грудь вторично  
Сошлись мы с аргосцами... И бой  
Упорный загорелся. И убитых  
Тут поделгло немало...

И когда трагический поэт Еврипид — живой, хранимый богами! — вновь оказался у себя дома и надолго за-

сел в своей комнате, заваленной рукописями, папирусами, театральной бутафорией, и стал перечитывать, чтобы успокоить взмятенную душу и разбегавшиеся мысли, любимые места из Гераклита, он совсем по-иному увидел теперь и открытую им диалектику, и закон — в сущности, очень страшный закон — извечной борьбы противоречий: «Безумные, поймите долю смертных: вся жизнь — борьба». Но шли дни, проводимые за чтением бессмертных философов и старинных поэтов, Симонида, Мимнерма, Эзопа, душа его успокаивалась и омывалась, точно усталое тело от липкого пота и пыли военных походов, сын Мнесарха опять возвращался в свой мир — тот, для которого и только для него одного он был создан, — и вера в жизнь, надежда на лучшее снова одерживали верх над тяжелыми сомнениями, над все чаще дающей о себе знать усталостью:

..... и в жизни смерч,  
Как в поле ураган, шумит не вечно:  
Конец приходит счастью и несчастью...  
Жизнь движет нас бессменно вверх и вниз,  
А смелый — тот, кто не утратит веры  
Средь самых тяжких бедствий: только трус  
Теряет бодрость, выхода не видя...

Все снова, казалось, вошло в свои берега: город процветал под мудрой эгидой Перикла; дети росли, радуя быстрым умом и успехами в ученье; служение музам целиком заполняло блаженный досуг, и не хотелось думать о том, что все это может внезапно окончиться и он снова наденет доспехи. Однако несколько лет войны не прошли для поэта даром: медленно, но неуклонно в нем росло неуважение к согражданам, недоверие к людям вообще, людям, которые звереют от запаха вражеской крови; он еще больше, чем прежде, чуждался общественных дел и, очень редко появляясь на площади, вступал в разговор лишь с немногими, уклоняясь от обсуждения городских сплетен и всякого рода новостей, до которых были падки афиняне. Ему, привыкшему к общению с философами (и живыми, и уже покинувшими этот мир, но обретшими бессмертие), часто было просто нечего сказать тому или иному из сограждан, озабоченных перипетиями политики или же ценами на рынке, и поэтому о нем все чаще говорили как о человеке излишне высокомерном, невоспитанном и мизантропе.

Впрочем, Еврипида особенно не волновало общественное мнение, что отмечают все биографы, и он, воз-

можно, был даже рад тому, что теплые приятельские связи, пирушки и всякого рода собрания, до которых он был такой неохотник, не нарушали его уединения, целиком посвященного Высокому и Прекрасному, тому осмыслению, познанию закономерностей человеческой жизни, средством которого была для него трагедия. Пытаясь нащупать эти закономерности, он погружался в глубины навсегда ушедшего времени, запечатленного в мифах, и эти сказания (древнейшие дофессалийские легенды о живших когда-то на землях Эллады благородных титанах, создателях циклопических построек, остатки которых еще можно было видеть; о бессмертных обитателях Олимпа, сокрушивших титанов, богах могущественных и прекрасных, но как своим видом, так и поступками очень напоминавших непостоянных в своих чувствах и действиях смертных людей; и наконец, предания совсем недавнего времени, о царях и героях Троянской войны), весь этот огромный и сложный, уже исчезнувший и в то же время на века оставшийся мир стал постепенно для сына Мнесарха столь же знакомым, реальным и близким, как и окружавшая его жизнь. И хотя там, где раньше была Троя, теперь паслись овцы и ползали черепахи, мужчины и женщины из царского дома Приама словно бы продолжали жить дальше в тех людях, которых разгоревшаяся война (оказавшаяся, пожалуй, пострашнее Троянской) ввергла в такие страдания и беды, которых, может быть, не знали и герои Гомера. В словах и поступках этих мифических героев Еврипид стремился найти и выделить те общие для людей всех времен и народов закономерности, которые казались ему аксиомами, а если не находил их или же внутренний мир этих древних царей, цариц и героев представлялся ему недостаточно сложным, он сам наделял их в своих трагедиях теми чертами, которых, по его мнению, им недоставало. Поэтому в общем достаточно символические образы ахейских пращуров и их троянских врагов, колхидских и египетских царевен, малоазийских властителей чуть ли не хеттского времени, о которых остались лишь смутные воспоминания, представляли в его творениях настолько подобными тем, что заполняли в дни Ленеи или Великих Дионисий амфитеатр, что это казалось недопустимой вольностью, неоправданным нарушением священных законов трагедийного искусства.

Его герои жили в мире таком, каким представлялся он самому Еврипиду, — в мире, где нельзя безнаказан-

по проливать чью бы то ни было кровь (и поэтому ахейцы расплачивались за подвиги победителей Трои) и нарушать, даже во имя благополучия племени, тот высший закон справедливости и милосердия, благодаря которому, и только ему одному, до сих пор держится общество, как бы люди ни пытались низвергнуть этот великий закон. Миром его трагедий, таким сложным, противоречивым и в общем неуправляемым, движут не боги и даже не судьба, а те непознаваемые, часто темные силы, что таятся в душе человека, перед которыми порой бессилем сам человек и которые губят его безжалостнее и страшнее, чем боги. Эта великая тайна манила поэта всю жизнь: почему время от времени в людях вдруг поднимаются, точно смерчи, демонические страсти, сея смерть и разрушение, проносятся и стихают, оставляя после себя обломки человеческих жизней и судеб?.. Он пытался найти разгадку трагического в самом человеческом сердце, и это казалось натяжкой, излишними умствованиями его соотечественникам, которым не нравилось узнавать какие-то из собственных черт в этих странных героях угрюмого поэта с их раздвоенным, растроеным, расчлененным впущенным миром, растворившихся в бездне сомнений, сокрушаемых собственными слабостями и ошибками... Это раздражало еще и потому, что жизнь вокруг, казалось, прочно вошла в свою колею и афинское общество благоденствовало благодаря демократии и политическому гению Перикла.

Он пользовался непререкаемым авторитетом у народа, убежденного в его честности, бескорыстии и глубочайшем патриотизме. По свидетельству античных историков, первый стратег никогда не заискивал перед собранием, не говорил ему в угоду и даже нередко с гневом возражал тому или иному оратору, твердо придерживаясь той политики в делах внутренних и внешних, которая представлялась ему наиболее правильной и целесообразной. Появляясь среди народа лишь по временам, он каждый раз вызывал невольное восхищение своим умным, красивым лицом, недоступным смеху, спокойной походкой, скромной одеждой и ровным голосом; в народном собрании выступал не по всякому делу, проводя свои многие начинания через друзей. И как бы ни злословили по этому поводу комедиографы, все в Аттике, да и вова ее пределами, были согласны, что прозвище Олимпиец (данное Периклу то ли за его успехи в государственных и военных делах, то ли за те бесподобные сооружения, ко-

торыми он украсил город) как нельзя более пристало всегда величавому и невозмутимому первому гражданину Афин. Он правил во имя народа, но никогда не шел у него на поводу, и жизнь его, как пишет Плутарх, «несмотря на его могущество, осталась чистой и незапятнанной».

Стремясь укрепить давние связи со странами Понта, откуда доставляли в Афины хлеб, рыбу и лен, пеньку, смолу, шкуры, воск, мед, строевой лес и рабов и куда отправляли из Аттики посуду, различные украшения, лампы и произведения искусства, Перикл во главе могучей эскадры предпринял в 437 году поход к берегам этого моря. Демонстрируя мощь афинского флота и оказывая на всем пути поддержку местным грекам-колонистам (так, в Синопе отряд под командованием Лисимаха похода сверг тиранию), афиняне через Эгейское море, Геллеспонт и Пропонтиду дошли до далекого побережья Кавказа и, возможно, даже побывали в Крыму. В этом же году они закрепились и на Фракийском побережье, в устье реки Стримон (в бытность свою эфебом там побывал Еврипид), где на месте поселения «Девять дорог», на путях из Геллеспонта в Македонию, был построен город Амфиполь. Одновременно, чтобы усилить влияние Афин и на западе, Перикл задумал основать в Италии, на месте разрушенного кротонцами города Сибариса, новую колонию афинян и их союзников под названием Фурии; это дело пришлось по душе многим, и ему вызвались в этом помочь историк Геродот, архитектор Гипподам и даже софист Протагор, написавший для нового города демократические законы. И хотя военное превосходство афинян (их огромный флот в четыреста триер и армия в двадцать семь тысяч человек, в которой служили все граждане в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет), а также их монополия на торговлю в Эгейском море вызывали все большее недовольство союзников, преимущества Морского союза, способствовавшего развитию и процветанию многих входящих в него городов и островов, оказывались в большинстве случаев сильнее недовольства и около двухсот небольших греческих государств продолжали регулярно выплачивать установленный форо́с и содержать афинские гарнизоны.

В эти счастливые годы преуспеяния и могущества деньги рекой текли в казну государства на Парфеноне: форо́с союзников, пошлины, взимаемые в Пирее с привозимых купцами товаров, доходы от рудников и различ-

ных промыслов. Афинские ремесленники поставляли свои товары (ткани, оружие, лампы, краснофигурные и чернолаковые вазы, ювелирные украшения) в самые различные области эллинского мира, вызывая зависть и гнев пеллопоннесских конкурентов, и особенно Коринфа. И хотя труд ремесленников не считался в Афинах почетным занятием для свободного гражданина, Перикл покровительствовал людям физического труда, привлекая их к осуществляемым им строительным работам и считая, что каждый каменотес, плотник, кирпичник или кровельщик может с успехом сочетать занятия своим ремеслом с исполнением политических обязанностей гражданина Афин. Государство заботилось и об обездоленных: для сирот, калек и нетрудоспособных выделялось по одному-двум оболам в день, что позволяло им вести жизнь хотя и скромную, но все же не унижительную для свободнорожденных. За счет казны воспитывались сыновья тех, кто погиб на войне. Но в то же время различного рода раздачи, все более частые и пышные зрелища, оплачиваемые в основном богатыми людьми, бани, гимнасии, общественные врачи и особенно все увеличивающееся число рабов, освободивших значительную часть афинян не только от тяжелого труда на земле или в мастерской, но даже от домашней работы, — все это способствовало постепенному развитию паразитической психологии у многих из граждан, тяготению к праздности и роскоши. И если раньше богатый дом и щегольство в одежде считались признаком олигархических наклонностей, то теперь многие богатые люди, не стесняясь, стремились превзойти друг друга в роскоши, вызывая зависть и тщетные попытки подражать у людей менее обеспеченных. Скромность образа жизни вызвала насмешливое презрение, и такие непритязательные во всем умники не от мира сего, как философ Анаксагор или же посредственный, по видимому, трагический поэт Еврипид, казались попросту лишенными нормального здравого смысла.

Как отмечают его биографы, Еврипид и в этом, уже довольно зрелом, возрасте продолжал ревностно заниматься философией и риторикой (и это тоже должно было казаться странным тем, кто знал сына Мнесарха, ибо его никогда не видели на ораторской трибуне), обучаясь последней у Продика Кеосского и, конечно, же у Протагора, который в 432 году опять появился в Афинах, — и это был настоящий праздник для всех любителей красноречия, ибо, как писал об этом впоследствии философ

Платон, мудрость Абдерита притягивала даже больше, чем божественная красота знатного юноши Алкивиада, о котором в ту пору вздыхали десятки поклонников. Возможно, где-то именно в эти годы имел место знаменитый спор Протагора и Сократа о добродетели, то собрание мудрецов «золотого Периклова века» в доме богача Каллия (там были Гиппий Элидский, Продик, Критий, Алкивиад и сыновья Перикла), которое через многие годы воссоздал в одном из своих диалогов Платон. Многим в Афинах эти собрания казались весьма подозрительными, а комические поэты уверяли, что нищие продавцы ложной мудрости ошиваются в доме богача главным образом в надежде на то, что и им перепадет что-нибудь от богатого стола.

В эти последние два года мира и благополучия Еврипид, по-видимому, был особенно близок с Протагором; в его доме великий софист читал свое знаменитое сочинение «О богах», в котором, в частности, говорилось: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни». И даже если Абдерит признавал возможным существование какой-то высшей силы, стоящей над миром и управляющей им, то уж никак не считал такой силой традиционных олимпийцев, так же как и скептически относящийся к гомеровским богам сын Мнесарха. Обычно их беседы сводились к проблемам нравственности, ибо с каждым годом становилось все очевиднее, что по мере того, как росло благополучие Афин, в которых утонченная образованность соседствовала с невежественным консерватизмом и суевериями, по мере того, как увеличивалось количество денег в казне, рабов и дорогих вещей в частных домах, по мере того, как изживала себя традиционная полисная мораль, умалялись и даже как будто бы исчезали вовсе прежние качества афинян и казавшиеся вечными добродетели. И если столетием раньше все более или менее твердо представляли себе, что такое добро, честность, долг, постигая это не путем личных размышлений и философских бесед, а усвоив с раннего детства по стихам Гесиода и Солона, по идущей из глубины веков традиции, то теперь это знание словно исчезло куда-то и надо было всему давать новое определение, воспитывать новое понимание.

Оказалось, что добродетели, правильному образу жиз-



ни нужно учить — и вот эту-то роль воспитателей добродетели взяли на себя софисты, а также такие их последователи, как поэт Еврипид. Добро надо делать не из страха перед карой богов или общественным мнением, а потому, что оно добро, учили они, «и в этом деле — в добродетели — не должно быть невежд, или же иначе и не быть государству». Понимая добродетель как наилучшее нравственное состояние, способствующее активной и полезной деятельности каждого человека, считая даже мудрость только одной из важнейших частей добродетели, они настаивали на том, что нравственность необходимо поднять всеми возможными средствами, что «необходимо всякому так или иначе быть причастным добродетели, в противном случае ему не место среди людей».

«Добрым быть нелегко», — изрек когда-то мудрец Питтак; «Но добродетель от нас отделили бессмертные боги тягостным потом», — писал патриарх Гесиод; «Добродетель можно и должно воспитывать», — утверждали софисты. Об этом же говорил с каждым годом все яснее и настойчивее и Еврипид со сцены театра Диониса, и диалоги его героев во многом повторяли споры софистов об истине, правде и смысле жизни, что делало подчас тяжелыми для восприятия его трагедии, и не нравилось зрителям. Афины не только не спешили поучиться разумному образу жизни у новоявленных учителей, но с возмущением отрицали за ними такое право, советуя им ограничиться преподаванием риторики (это еще куда ни шло, поскольку выступать в Народном собрании и в суде хотелось бы каждому) и изучением грамматики.

Афины попросту казались просто опасными попытки софистов и тех, кто следовал им, разобратся в таких вопросах, которых вообще дозволено касаться лишь очень немногим, и уж, конечно, не фракийским или кеосским бродячим торговцам сомнительной мудростью, а именно — в вопросах гражданского права и государства как такового, в котором софисты видели не древнейшее установление богов, их мудрый дар людям, а — или сознательную организацию людей с целью взаимного блага, основанную на незыблемых нравственных нормах, на чувстве стыда и правды, или даже добровольный «договор» между людьми, который может быть расторгнут, если он перестанет устраивать всех. Неискушенным в философии и не слишком-то образованным людям (а их в городе было большинство) было непонятно противопоставление зако-

нов природы и общества. Тем, кто все больше проникался сознанием своего превосходства над варварами-рабами, казались пенужными и даже опасными гуманизм софистов, их отрицание насилия и апелляции к справедливости, к законам «естественного равенства» всех населяющих землю людей. А их релятивизм, который чувствовали, по-видимому, даже те, кто толком-то и не разбирался в сущности философских построений, такие тезисы, как утверждение Горгия о том, что «ничто не существует, а если и существует, то непознаваемо, а если познаваемо, то не может быть передано и объяснено другим», внушали просто страх.

И действительно, сама мысль о том, что бытие и небытие, в сущности, тождественны и равноправны (мысль, привлекательная для всех софистов, но пока не у всех них главенствующая), хотя и свидетельствовала о той глубине познания, к которой стремились наиболее сильные и смелые умы того времени, но в то же время размывала границы этого мира и делала словно бы совершенно несущественными не только дела и заботы обычных смертных, столь далеких от совершенства, но и даже само их существование... Все эти мудрствования раздражали не только комических поэтов, но и — что было гораздо серьезнее — людей, заправляющих теперь делами города, и только покровительство Перикла мешало им поставить на место зарвавшихся умников (чье очевидное всем печестие могло навлечь на афинян страшные беды) или даже попросту вышвырнуть их за пределы Атики.

Что же касается Еврипида, то для него большинство из тех истин, которые внушали софисты, не вызывало никакого сомнения; ко многим из них он пришел, по-видимому, сам еще до знакомства с Протагором или Продику, изучая писания Гераклита, и он тоже пытался донести их до сердца и разума афинян, хотя пока еще не так настойчиво и прямо, как впоследствии, лет десять-пятнадцать спустя. Подобно своим учителям Протагору и Продику, он был преисполнен почти мистического благоговения перед Словом — великим Логосом, преобразующим смутный Хаос жизни в стройную систему мироздания, перед этим первым орудием разума (а может быть, и его формой), и он не видел ничего предосудительного в том, чтобы обучаться искусству говорить за дорожную плату, — ведь не жалко же людям тратить гораздо большие деньги на вещи, часто бесполезные:

. . . . . зачем,  
О, смертные, мы всем другим наукам  
Стараемся учиться так усердно,  
А речь, единую царицу мира,  
Мы забываем? Вот кому служить  
Должны бы все, за плату дорогую  
Учителей сводя, чтоб, тайну слова  
Познавши, убеждая — побеждать!

Однако театр, который Еврипид стремился сочетать с философией и который стал его главным призванием, диктовал свои собственные условия, и тот, кто мечтал, кто надеялся стать в нем первым, должен был в той или иной мере этим условиям подчиняться. «Организуя из года в год игры и жертвоприношения, мы доставляем нашей душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов», — утверждал Перикл, покровительствовавший театру в той же мере, как и всем прочим искусствам, и не жалевший денег на пышные празднества, которые вызвали почтительное удивление у иноземцев и тайное возмущение у союзников, подозревавших, что вся эта роскошь оплачена в значительной степени ими. Театр был призван воспитывать, возвышать, успокаивать душу, вселяя в нее высокое умиротворение и трепетное подчинение вечным и непреложным законам бытия, и в этом смысле произведения трагического поэта Еврипида вызвали нередко большие сомнения как у организаторов очередных Дионисий или Леней, так и у самих зрителей.

Впрочем, независимо от того, какие задачи ставили перед театром политики или же сами поэты, священные состязания в честь Диониса с каждым годом все больше превращались в развлечение, с нетерпением ожидаемое народом весь год. В дни представлений зрители заполняли театр с рассвета до самого вечера, там же ели и пили, принося еду с собой или же покупая у тут же спящих многочисленных лотошников. Одетые в праздничные одежды, сверкая накрахмаленными и тщательно отутюженными складками льняных белоснежных гиматиев, афиняне с нетерпением ждали появления любимых поэтов и актеров. Перед самым представлением выносились для всенародного обозрения золото, флорос союзников; затем на оркестру выходили вооруженные юноши, чьи отцы сложили головы за отечество, и глашатай торжественно провозглашал, что, вскормив их, афинский народ теперь поручает достигших совершеннолетия богине счастья. Потом награждали золотыми венками отличившихся в течение года граждан и, наконец, окропляли алтарь

Диониса кровью свиньи. После этого звуки трубы возвещали о начале той трагедии, автору которой выпал в этот раз жребий выступать первым. Не привыкшая ни в чем себя стеснять афинская публика тут же давала свою оценку представленным пьесам, поэтам и исполнителям, не жалея восторженных криков и рукоплесканий для своих, всем известных любимцев, и шикала, свистела, стучала ногами, если что-либо ей не нравилось. Бывали случаи, когда актеров прогоняли со сцены камнями, грозилась избить самого поэта и требовали прекратить немедленно пьесу, слишком, на взгляд зрителей, непристойную или же жестокою. И, как доносят до нас античные авторы, такая печальная участь постигала трагедии Еврипида значительно чаще, чем творения прочих поэтов, и заставляла его втайне недоумевать и завидовать Софоклу, продолжавшему вызывать неизменное и почтительное восхищение сограждан.

Они были соперниками на сцене почти сорок лет, эти два великих поэта античности, каждый год выставляя на суд афинян свои равно бессмертные творения и идя бок о бок в искусстве, хотя каждый своим, неповторимым путем, и, как сообщают их современники, между ними всегда пролегало холодное недопонимание. Бряд ли можно отрицать то, что Еврипид порой испытывал чувство зависти к своему более счастливому собрату по служению Мельпомене, во всяком случае, он замечал — мимоходом, но с горечью, а может быть, даже с легкой насмешкой над собственной слабостью, — что «и Музы двух мирных за пальму поссорят певцов». К тому же уж очень они были разные люди и разным было их понимание цели, содержания и смысла искусства трагедии. Воспитанный «в богатстве и холе», сведущий в музыке и даже как будто бы в медицине, наделенный огромным поэтическим дарованием, но в то же время не чуждый и делам города, доброжелательный и приятный характером, сын Софилла пользовался любовью и уважением афинян в той же мере, в какой резкий и угрюмый Еврипид вызывал их недоумение и раздражение. Безусловный сторонник демократии и друг Перикла, Софокл по мере своих сил поддерживал его политические начинания, «честный гражданин на службе у полиса»: еще в 443 году он был избран казначеем Делосского союза, а во время войны с Самосом был назначен стратегом, хотя, как поговаривали в Афинах, Перикл использовал его больше для переговоров, чем для сражений, не особенно доверяя его воин-

ским талантам. Если верить Плутарху, великий устроитель Афин немного посмеивался над жизнелюбием своего просвещенного друга — служителя Муз, над его нескрываемым тяготением к различного рода удовольствиям, однако чрезвычайно высоко ценил его как поэта, считая, подобно большинству афинян, поистине совершенством трагедийного мастерства его возвышенные произведения.

«Гомер греческой драматургии» (так называли его современники), Софокл видел в служении Аполлону свое жизненное предназначение и, стремясь способствовать развитию театра, даже создал в Афинах Общество почитателей Муз. За свою долгую жизнь он написал 123 трагедии и сатировские драмы, из которых до нашего времени дошло только семь. Творения его восхищали современников своей светлой гармонией и простотой, столь далекой от сумрачного величия Эсхила и необузданной страстности Еврипида. Он редко выводил на сцену богов, почти не применял театральные машины, в его трагедиях нет пышных въездов царей, торжественных процессий и таинственных призраков, но за этой сдержанностью в использовании чисто внешних эффектов стояло бесконечно глубокое проникновение в закономерности бытия, в сокровенные тайны природы человека. Его «ищущие величия» герои, в которых проглядывают благородные черты лучших людей «Периклова века», стремятся преодолеть фатальную ограниченность человека, его подчиненность обстоятельствам в своем поистине героическом утверждении вечных законов Справедливости. А если они и заблуждаются, то только от неведения, и даже в самом бездонном страдании не утрачивают лучших человеческих черт, веру в жизнь, в ее высший, пусть не всем и не сразу открывающийся смысл.

И представляется странным, что как в античности, так и до сих пор бытует мнение, что Софокл избегал-де касаться в своих трагедиях «низких тем» и в них почти не видны основные проблемы его сложного времени. Напротив, даже те семь трагедий, которые сохранило для нас равнодушное время, свидетельствуют о том, что душу и ум этого уточненнейшего из афинян, почитаемого соотечественниками за образец совершенства внутренне-го и внешнего, волновали те же самые вопросы, обсуждению которых посвящали свои вошедшие в бессмертие собеседования мудрецы и философы, и главный из этих вопросов — о добродетели. Просто сын Софилла по-сво-

ему отвечал на тот поиск высокой нравственности, гуманизма и справедливости, к которому обратились в тот период распада старинных устоев лучшие эллинские умы, и ответ его не лежал на поверхности, хотя был зачастую значительно более емким и точным, чем у софистов или же у Еврипида. Его правда казалась более светлой и убедительной большинству соотечественников, зрителей приводили в восхищение стоические в самой страшной своей судьбе герой Софокла (их долгие годы играли актеры Глеподем, Клидемид, Каллипид) с их внутренней гармонией и поистине божественной силой, и по сравнению с ними подчас внушали отвращение и ужас подточенные собственными слабостями, растерзанные неуправляемыми страстями фигуры (не всякий даже решился бы назвать их героями в привычном понимании этого слова), которых без чувства меры и без стыда, как считали сограждане, продолжал выводить на сцену Еврипид. Многим в Афинах казалось возмутительным, что такие пьесы, как поставленная весной 431 года «Медея», вообще допускаются для представления.

В этой трагедии, представленной вместе с не дошедшими до нас «Филоклетом», «Диктисом» и сатировской драмой «Жнецы» и получившей, как обычно, третью награду (в городе поговаривали о том, что это всего лишь бездарное подражание «Медес» Неофрона, ничем особо не примечательного трагического поэта этого времени), Еврипид опять обратился к судьбе колхидской царевны Медеи, которая, «Ясона полюбив безумно», покинула свою далекую родину и заплатила в конце концов за свою любовь самой страшной для женщины ценой — жизнью своих детей. Это не только и не столько трагедия разбитого женского сердца, но трагедия поправного доверия, бессилия человека перед холодной, равнодушной к чужим страданиям подлостью, когда «священная клятва в пыли, коварству нет больше предела». В сущности, это ответ поэта на тот самый вопрос, который так часто обсуждали софисты, его учителя и друзья, на тот вопрос, который мало-помалу стал столь существенным для всего афинского общества, — вопрос о порядочности, о честности, о добродетели, наконец, и о страшной расплате за их безумное ли, расчетливое ли поправление...

После того как Медея расправилась с Пелием и его дочерью, она вынуждена была покинуть Фессалию и «в Коринфе убежища искать с детьми и мужем» (как о царице Коринфа писал о Мееде в своих песнях и Симонид).

Но вот проходит какое-то время, и Ясон решает оставить «варварку», безродную, ничего не имеющую, к тому же слишком умную и независимую, и жениться на юной и кроткой эллинке, царевне Коринфа, чтобы унаследовать, когда придет срок, владения ее отца. Отчаянию, презрению, горю Медеи нет предела: словно обезумев от обиды, она то «кричит о клятвах и руки попранную зовет обратно верность»; то с недоумением всматривается в прошлое, не понимая, как она могла увлечься таким ничтожеством, как Ясон; то лихорадочно обдумывает страшные планы мести и зовет смерть, слбмленная предательством того, кроме которого у нее нет никого из близких на всем белом свете:

О, жить зачем мне еще?  
Увы мне! Ты, смерть, развяжи  
Мне жизни узы — я ее ненавижу.

Преданная рабыня-кормилица с ужасом предчувствует кровавые будущие события («грозен гнев Медеи: не легко ее врагу достанется победа») и боится за детей, пытаюсь их спрятать, увести с глаз обезумевшей от тяжелой обиды матери. Но это еще не все. Оказывается, царь Креонт, отец новой жены Ясона, потребовал удалить Медею с детьми из Коринфа, опасаясь ее мести и колдовства, и малодушный красавец аргонавт легко соглашается на это. Куда же? Куда идти Медее со своими, как выяснилось, никому, кроме нее, не нужными детьми. ей, обманувшей когда-то ради белокурого фессалийца родного отца и предавшей брата, навсегда утратившей родину:

Куда же ты пойдешь? У кого ты  
Приюта попросишь? Где дом  
И где та земля, Медея?

Теперь, когда «несчастье открыло цену ей утраченной отчизны», когда между ней и полуденной Колхидой пролегла целая вечность, может быть, так платила теперь пылкая сердцем внучка Гелиоса за свое собственное былое предательство?.. И она умоляет Креонта дать ей хотя бы какое-то время, чтобы собраться, пристроить детей: ведь «выше этих забот Ясон». Не желающий чувствовать себя ни в чем тираном, Креонт разрешает ей остаться до утра — и эта ночь должна теперь решить все, ибо внучка бога Солнца не может, не должна, что бы за этим ни последовало, допустить «надругательство над Гелиевой кровью», покорно снести обиду. Медея уже совсем гото-

ва к своей праведной мести — ужасной мести! — и только какая-то слабая, тайная надежда на то, что в разговоре с мужем ей откроется пока ей непонятная, но объясняющая все причина того непоправимого и страшного, что происходит в ее жизни, еще останавливает ее. Новог появляется Ясон, возмущенный тем, что Медея подняла весь этот шум и не желает, как подобает кроткой и скромной женщине, покорно снести свою участь и удалиться подальше отсюда. Но Медея — варварка, свободолюбивая и гордая, а не запуганная, привыкшая к беспрекословному подчинению гречанка, и они говорят словно на разных языках, совершенно не понимая друг друга: Медея упрекает мужа в самом страшном, по ее мнению, поступке для человека — в нарушении данного слова; Ясон же, абсолютно бесстыдный, с пустыми и наглыми светлыми глазами, такой подлец, что может, «друзьям так навредив, в глаза смотреть». И таких все больше становилось к этому времени в Афинах, их безнаказанность просто убивала сына Мнесарха. Ясон подл и по отношению к спасшей его когда-то Медее, и по отношению к новой жене — царевне: «Женился я, чтобы себя устроить, чтобы нужды не видеть нам». Он не видит ничего особенного ни в своих поступках, ни в словах и, напротив, попрекает бывшую жену ее варварством, неумением жить среди настоящих, культурных людей: «...ты в Элладе и больше не меж варваров, закон узнала ты и правду вместо силы, которая царит у вас». Поистине издевательски звучит это в устах предателя, оскорбляющего каждым звуком своих низких речей основной закон, которым жив людской род, — закон правды и верности, — и это кладет предел мучительным колебаниям Медеи: «Пусть гибнет все».

Отказавшись от помощи Ясона, от поддержки его друзей и от денег («от мужа бесчестного подарок руки жжет»), Медея, внешне словно бы успокоившаяся, но внутри сжигаемая страшным огнем, в котором плавится, распадается по кускам ее собственная непокорная душа, осуществляет свой план мести. Она посылает во дворец своих детей с ценным подарком для царевны (чудесным неплюсом, который стало жалко Ясону: «Мотовка! Что пицнишь себя?») — и дочь Креонта гибнет в страшных мучениях от напоенного ядом убора. А что же Ясон? Он останется жив и в то же время мертвец среди живых, потому что никто из смертных не в состоянии увидеть и пережить то, что она, Медея, готовит обидчику:



Должна убить детей. И их не вырвет  
У нас никто. Сама Ясонов с корнем  
Я вырву дом. А там — пускай ярмо  
Изгнания, клеймо детоубийцы,  
Безбожия позор — все, что хотите.

И, преодолевая самое себя («Жалкая душа! Ты, кажется, готова плакать, дрожью объята ты»), убивая, в сущности, саму себя, Медея вершит свой страшный суд, мстя за поправленную правду, проданную за коринфское золото верность. Она убивает своих детей потому, что им все равно не жить при сложившихся обстоятельствах, потому что рухнул безвозвратно весь их общий мир и ничто, никто, никакая великий и всемогущий не в состоянии что-либо исправить: «Жребий им умереть теперь. Пускай же мать сама его и выполнит».

Трагедия близится к единственно возможному для нее роковому завершению, и вот Медея появляется в последний раз на колеснице, запряженной драконами, которую прислал ей бог Гелиос — простер свою спасительную всемогущую длань над погибающей впучкой. И она удаляется с телами своих несчастных малюток, которые теперь навсегда с ней и она навсегда с ними, удаляется в небытие (вряд ли можно поверить, что она отправилась отдохнуть, успокоиться после всего свершившегося в Афины, приглашенная благородным Эгеем), оставив своего малодушного мужа, тоже теперь только ей одной принадлежащего, в абсолютной пустоте — расплачиваться ужасом и одиночеством за поправленную им правду и отвергнутую добродетель.

Еврипидовская «Медея» возмутила афинян: мало того, что он представил внучку Гелиоса детоубийцей (в мифах этого нет) и вывел на сцену несчастных малюток, умоляющих о пощаде собственную злодейку-мать, у него эта дикая варварка оказывается злее и выше эллина Ясона, живущего «по закону», да и сам этот закон — закон своекорыстия и бездушия — выглядит в трагедии не слишком-то привлекательным. Что же касается афинянок, то они словно бы не увидели, как горячо заступается за них поэт, отстаивая ту горькую правду их жизни, до которой, казалось, вообще никому не было дела:

Нас, женщин, нет несчастней. За мужей  
Мы платим — и не дешево. А купишь.  
Так он тебе хозяин, а не раб.  
И первого второе горе больше.  
А главное — берешь ведь паобум:

Порочен он или честен, как узнаешь.  
А между тем уйди — тебе ж позор,  
И удалить супруга ты не смеешь.

Ведь муж, когда очаг ему постыл,  
На стороне любовью сердце тешит,  
У них друзья и сверстники, а нам  
В глаза глядеть приходится постылым...

Да, это не прошло незамеченным, и напротив, со времени постановки «Медеи» за Еврипидом упрочилась сомнительная слава обличителя женщин и началась та вражда между ним и его соотечественниками, которая давала обильную пищу для сплетен и нападок комедиографов.

Героини его казались слишком жестокими и бесстыдными, и афинским мужьям, считавшим, что сама эта тема недостойна высокой поэзии, поскольку извечный удел женщины — смиренность и безвестность, и что величайшая слава для каждой из них — это если о ней вообще не говорят в мужском обществе ни дурного, ни хорошего. «Жены нужны нам для рождения детей, для развлечения же у нас есть гетеры», — утверждали, ссылаясь на Солона, афинские мужья, для которых не считалось зазорным обзаводиться любовницами и посещать публичные дома, в этом не видели также никакого ущемления достоинства их жен, и им оставалось лишь терпеливо, нередко даже взаперти поджидать мужа как редкого гостя. Правда, в последние годы правления Перикла, и особенно после его брака с Аспасией, жизнь замужних афинянок стала как будто немножко свободнее, и все больше просвещенных людей приходило к мысли о том, что если даже рабы заслуживают милосердия и списождения, поскольку они тоже люди, то что же говорить о несчастных женщинах, часто не смеющих высунуть носа из гинекея, над поистине рабской долей которых смеются независимые и гордые спартачки. Несомненно, что так видел вещи и Еврипид, семейный уклад которого был весьма далек от обычного афинского домостроя (ведь недаром об излишне свободном поведении его жены злословили сограждане), и те, кто упрекал поэта в ненависти и презрении к женщинам, словно не видели или действительно не понимали, что все его героини выше и глубже по большей части внутренне несостоятельных героев, что, нападая порой на женщин, он их первый же защищает и сам восхищается бесконечной силой их духа, смелостью сердца, тем неослабимым стремлением защитить свое

попранное достоинство, добиться поставленной цели, которое так возмущало афинян в его трагедиях.

Действительно, порой поэт позволял себе довольно откровенные высказывания (как сплетничали комические поэты, под влиянием собственных семейных неурядиц):

. . . . . От укуса  
Змеиного лекарства знает ум  
Божественный для смертных, и ехидны,  
И пламени загладятся следы, —  
Лишь женщина нецелимо жалит, —

и проклинал «род женщин вероломный», порочный изначально, от природы; но скорбный сонм самим же им созданных образов: самоотверженных жен, нежных возлюбленных, бесконечно трагических матерей, потерявших своих птенцов, раздавленных жизнью старух у пепелищ, юных девушек, добровольно отдающих за племя, за родину свои едва расцветшие жизни, — опровергает его мимолетный гнев. И если те женщины, которых он видел возле себя, с которыми был знаком, не вызывали, возможно, особого почтения, то и они оказывались по пристальному рассмотрению гораздо лучше, порядочнее и добрее своих мужей. «Я уверяю, что женщины лучше мужчин», — говорит поэт в «Меланиппе», чтобы не раз повторить это впоследствии:

Глядите, насколько мы нравом  
Распутства мужчин выше  
Безбожных.

Женщиной была бессмертная Сапфо, женщинами были поэтесса Коринна, обучавшая мастерству стихосложения самого Пиндара, Аспасия, просвещенная собеседница великих философов, и пророчица Диотима, удивлявшая эллинов своей мудростью и даром предвидения, и это их черты, преломленные пылким воображением поэта, запечатлелись навеки в его проникновенных стихах:

Люблю я тонкие сети  
Науки, люблю я выше  
Умом воспарять, чем женам  
Обычай людей дозволяет...  
Есть муза, которой мудрость  
И наша отрадна; жены  
Не все ее видят улыбку —  
Меж тысяч одну пайдемь ты, —  
Но ум для науки женский  
Нельзя же назвать закрытым...

Но чем дальше шло время, чем больше становилось вокруг, на всей греческой земле, вдов и осиротевших старух, тем больше поэт сострадал этим женщинам — простым, обычным хозяйкам без очагов, матерям без детей, бабушкам без внуков, и скорбел о них, вечных жертвах войны и людского насилия, всем своим сердцем, изболевшимся от бескопечной жестокости этого непонятного мира. Любовь, ревность, женская неверность и мужское коварство — все это отступало попомногу на задний план, и не только в творчестве Еврипида (открывшего с возрастом, что область трагического бесконечно широка и что разбитое сердце, несостоявшаяся любовь далеко не исчерпывают того страдания, которое — богами ли, судьбой ли, кто его знает кем — уготовано смертным), но вообще в жизни афинян, поскольку грозный Арес оказывался сильнее и Афродиты и Аполлона, при его приближении прятались музы, а люди чуяли с ужасом запах смерти.

После демократического переворота в Эпидамне (435 г.) братоубийственная война между эллинами возобновилась с еще большим ожесточением враждующих сторон. Ободренная победой коринфян при Сиботских островах, стала склоняться к тому, чтобы выйти из Афинской архе и Потидея, коринфская колония на Халкидике, опорный пункт греков в торговле с Македонией. В свое время Афины помогли Потидее изгнать из Халкидики персидское войско, но впоследствии коринфяне и македонский царь Пердикка постоянно побуждали потидейцев разорвать дружественные отношения с афинянами. Когда в Афинах стало известно о положении в Потидее, они тут же категорически потребовали, чтобы из города были изгнаны эпидамиурги-управители из Коринфа, скрыты стены и выданы заложники. В ответ на это Потидея и соседние с ней города заявили о своем выходе из архе и разрыве союзнического договора. Тогда афиняне направили в Халкидику десять кораблей и пять тысяч гоплитов и, одержав победу на подступах к городу, со всех сторон обложили Потидею. Жители соседних халкидских городов стали разрушать собственные жилища и переселяться в глубь материка, в Олинф, а две тысячи пелопоннесских воинов высадились во Фракии, чтобы вступить в бой с афинянами.

Коринфяне, обеспокоенные сохранностью своих колоний, стали все настойчивее требовать от Спарты начать военные действия против Афин, угрожая распадом Пе-

лопонесского союза. Их поддерживали Мегары, также старинный соперник Афин, недоброжелательство которых превратилось в ненависть после того, как в 434 году афинская экклесия приняла постановление, запрещавшее мегарянам торговать на рынках Афин и их союзников, так как они, мегаряне, покушаются распахать участок священной земли у Элевсина и, что самое главное, укрывают у себя беглых рабов. Эта так называемая первая «мегарская псефизма» имела самые тяжелые последствия для нищей гористой страны, не имевшей собственного хлеба и жившей в основном продажей овощей, соли, чеснока и свинины в окрестных городах. Теперь, узнав о новых происках мегаряв, афинская экклесия вынесла вторую «мегарскую псефизму»: отныне и на веки веков Мегары объявлялись врагами Афин, какие бы то ни было переговоры с ними исключались и каждый мегарянин, оказавшийся на территории Аттики, подлежал смертной казни. И если и первую-то «псефизму» не только на Пелопоннесе, но даже в самих Афинах не без оснований считали той роковой искрой, из которой разгорелся огромный костер страшной войны, поглотившей бывшее могущество эллинов, то теперь возмущение действиями афинян было настолько велико, что о продолжении перемирия не могло быть и речи.

По мере того как великодержавные устремления афинян все чаще вступали в драматические противоречия с жизненными интересами соседних греческих полисов, взоры всех недовольных все чаще обращались к Спарте, и теперь даже то в образе жизни и правах лаконцев, что раньше казалось слишком уж устаревшим и грубым, представлялось заслуживающим всяческого внимания и подражания. Многие, и даже в Афинах, разделяли убеждение спартанцев в том, что демократия и всякого рода нововведения способны лишь погубить государство, и считали, подобно Дельфийскому оракулу, наилучшей эту «общину равных», где испокон веку подавлялось любое проявление индивидуальности и где поэтому жизнь людей мало чем отличалась от грубого и темного существования их далеких дорийских предков. Однако, как отмечал впоследствии историк Ксенофонт, самое удивительное состояло в том, что, «хотя все хвалят подобные учредения, подражать им не желает ни одно государство», и прежде всего потому, что мало кому даже в том же Коринфе захотелось бы отказаться от книг, от изысканной посуды, расписанной сценами из мифов, от мягких

шерстяных покрывал, золотых и серебряных украшений, от музыки, театра, философских бесед и лирической поэзии, от всего того, что делает столь приятным бременное существование смертных, и добровольно вернуться к тому началу истории, который был давно уже пройден, к тому образу жизни, даже вынести который был в состоянии далеко не каждый.

И вот, побуждаемые коринфянами, осенью 432 года в Спарте собрались послы от всех городов — членов Пелопоннесского союза, чтобы договориться о дальнейших совместных действиях против Афин. Особенно резко выступали коринфяне, давние соперники Афин, требуя немедленного обуздания расширяющих свое влияние афинян и обвиняя Спарту в равнодушии к пущам и жизненным интересам входящих в Пелопоннесский союз городов. И хотя большинство других союзников не выражало особого желанья тут же начать военные действия, Спарта все же решила направить в Афины послов с весьма ультимативными требованиями: немедленно изгнать из Аттики Алкмеонидов как проклятый род (это было направлено прежде всего против Перикла), снять осаду с Потидеи, отменить «мегарскую псефизму», предоставить самостоятельность всем членам Афинской архе и распустить морской флот. Напрасно афинские послы в Лакедемонне, представ перед собранием спартиатов, уговаривали их не торопиться с нарушением мира, напоминая о войнах с персами, о Марафоне и Саламине, где мужество и стойкость афинян воспрепятствовали дальнейшему продвижению мидийцев и разорению Пелопоннеса. Говоря же об отношении к союзникам, афинские послы напоминали о том, что в свое время соседние города и острова сами просили их о главенстве из страха перед варварами и что ради общего благополучия и свободы всего эллинского мира следует иногда поступиться своими частными интересами. Все это не возымело никакого успеха: «Лакедемоняне признали, что мир нарушен и что необходимо начать войну».

В Афинах эkkлeсия также с возмущением отвергла выдвинутые Спартой условия (хотя в городе было немало и таких, которые отнюдь не считали чрезмерными требования лакедемонян и обвиняли Перикла в том, что своей безответственностью он погубит отечество), послы возвратились ни с чем, и война началась. Сухопутные войска Пелопоннесского союза превосходили к этому времени по численности армию афинян, и хотя собственных

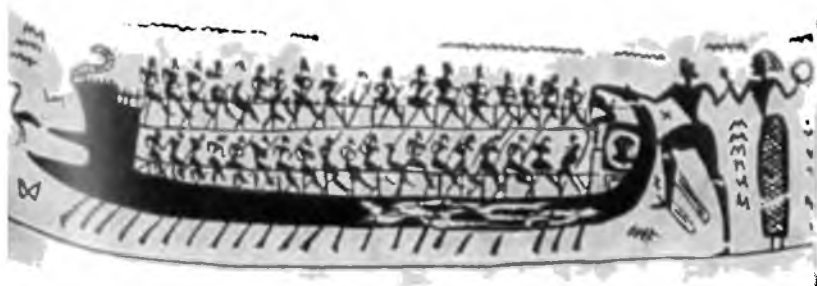


Фемистокл.

Холм над могилой афинян, павших при Марафоне.



Пятидесятивесельный корабль.





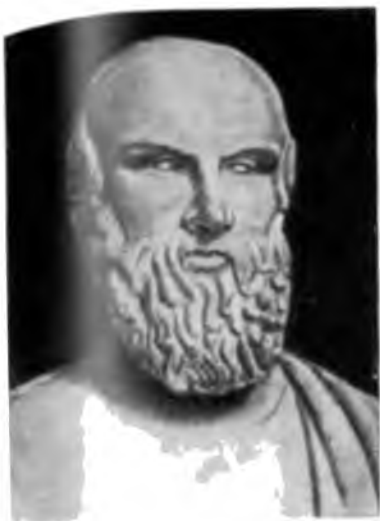
Геродот.



Лучники гвардии  
ахменидских царей.



Эсхил.



Трагическая маска.

Орест, преследуемый Эриниями. Амфора из музея в Неаполе





Гераклит.



Остров Лесбос.

Афинский театр в современном виде. Общий вид.



Подготовка  
атлетов.



Выезд эфбов  
на фризe  
Парфенона.





Царь-жрец. Фреска Кносского дворца.



Кладовые Кносского дворца.

Тронный зал дворца в Кноссе.





Крепостная стена Микен и Львиные ворота.



Профиль микенского воина  
(конец XIII в. до н. э.).  
Деталь росписи Кратера воинов.



Микены. Голова статуи  
воина в шлеме  
из кабаньих клыков.



Кресло жреца  
Диониса Элевтерия  
в первом ряду театра.

Софокл.

Антигона перед Креонтом. Амфора из Британского музея.





**Афинянки.**

**Дочери Пелия и Медея.**

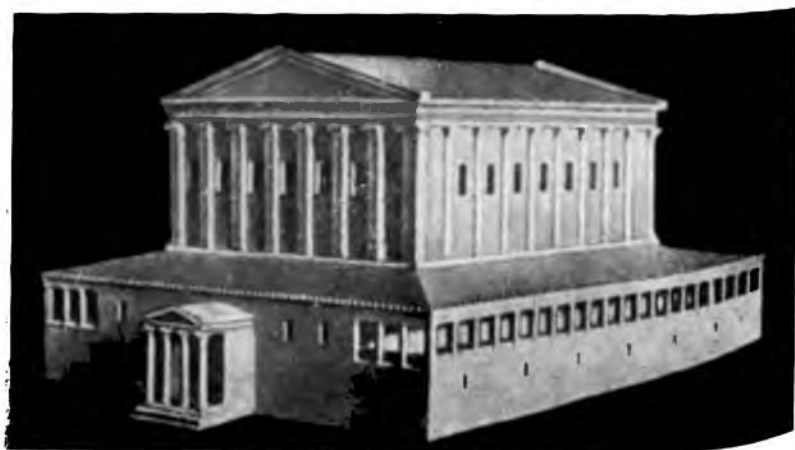
**Афина со щитом и петухами.**  
Изображение на призовой панафинейской вазе.





Перикл.

Афина Промахос ►  
работы Фидия.



Одеон Перикла.





Афина Лемния работы Фидия.

Акрополь. Вид с востока.

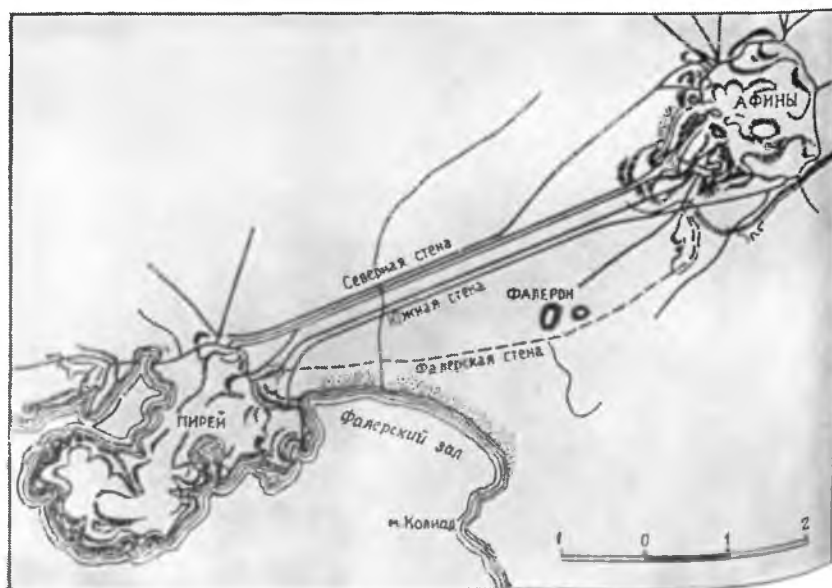




Греческий бронзовый шлем.

Фукидид.

Длинные стены.





На острове Эвбея.

Гоплит.

Раненый воин.





Спартанский царь Архидам.



Гора Итома.

Мессенская равнина (Спарта).





Надгробие  
афинского воина.

Умиравший воин.





Кора.

Медея, убивающая  
своих детей.



средств у Спарты не было, почти все государства Пелопоннеса и даже некоторые полисы Средней Греции изъявили свою готовность помочь ей деньгами и кораблями. К тому же и в городах, союзных Афинам, было немало богатых и знатных людей, мечтавших об установлении олигархического правления и освобождении от гегемонии афинян, они также желали успехов Спарте и даже втайне оказывали ей помощь деньгами и хлебом.

Весной 431 года спартанский царь Архидам собрал на Коринфском перешейке шестидесятитысячное войско Пелопоннесского и Беотийского союзов, готовое выступить против Афин. Когда в Афинах стало известно, что спартанцы двинулись по направлению к Аттике, Перикл приказал привести в боевую готовность флот, всем запереться в городе и приготовиться к длительной обороне. Собрал, что можно, с полей, переправив мелкий скот и вьючных животных на остров Эвбею, уничтожив даже деревянные части своих жилищ, жители Аттики потянулись в Афины, как пятьдесят лет назад, во время вторжения варваров. С тяжелым чувством покидали они свои поля, дома и отцовские святыни, тем более что только немногие из них имели возможность устроиться в городе у родственников или знакомых, большинство же поселились в наспех сколоченных лачугах на пустырях, под колоннадами храмов, в крепостных башнях. Беженцы заполнили Длинные стены, часть Пирея и даже Пеларгику, холм у подножия Акрополя, о котором Дельфийский оракул сказал: «Лучше Пеларгику быть невозделанным», — и с тех пор его на всякий случай обходили афиняне.

Пелопоннесцы, везя с собой осадные машины, двигались по направлению к Афинам, сжигая и вытаптывая созревающие хлеба, вырубая оливковые рощи и виноградники. Потом они расположились лагерем у местечка Ахарны, в десяти километрах от Афин, и на глазах афинян, следивших за неприятелем со стен, принялись сжигать деревни и опустошать окрестности. В гневе и горе народ требовал вести его в бой, обвиняя Перикла в нерешительности, однако спартанцам так и не удалось вызвать первого стратега Афин на сухопутное сражение, в котором они оказались бы, несомненно, сильнее, и только афинская конница время от времени совершала вылазки из города, яростно атакуя отдельные отряды неприятеля. В то же время афиняне отправили свои корабли к берегам Пелопоннеса и, высадившись десантом сразу в нескольких местах, произвели ответные опустоше-

ния. Узнав об этом, спартанцы поспешили назад на Пелопоннес, тем более что у них окончились съестные припасы, оставив Аттику совершенно разграбленной. Однако, несмотря на столь тяжелые утраты, Афины отказались от переговоров о мире и вскоре жестоко расправились с Мегарами и Эгиной, оказавшими поддержку спартанцам: так, большую часть эгинцев они вообще изгнали из города, а их земли разделили между афинскими клелухами.

С «Архидамовым вторжением» подошел к концу и «век просвещения», время свободной мысли, дерзко ниспровергавшей устаревшие представления и изжившие себя традиции, расчищая путь всему новому в науке, искусствах и общественных учреждениях. Тем, кто стоял теперь у власти в Афинах, людям малообразованным, прагматичным, средоточием помыслов которых был главным образом чистоган, не было никакого дела до философии и всякого рода тонкостей мысли, простой же народ всегда с недоверием относился к вольнодумцам, посягающим на веру отцов и заветы предков. К тому же под влиянием неудач последнего времени (которые многие объясняли в числе прочих причин и тем, что в городе нет былого благочестия и слишком уж много развелось всякого рода философов и софистов) ревнители старинного благочестия все громче призывали не церемониться с теми, святотатство которых грозит отечеству страшными бедами, и известный прорицатель Диопиф, воинствующий приверженец старины и непримиримый враг всякого рода философии, «внес предложение о том, чтобы люди, не верующие в богов или же распространяющие учения о небесных явлениях, были привлекаемы к суду как государственные преступники». Воспользовавшись принятым постановлением, политические противники Перикла перешли в наступление, стремясь удалить из городов как «неверующих» или под другим того же рода предлогом близких первому стратегу людей. Одним из первых был вынужден оставить Афины Дамон, который, по словам Плутарха, «был при Перикле учителем и руководителем в государственных делах, каким бывает учитель гимнастики при борце: обвиненный в стремлении к тирании, он был изгнан посредством ostracism.

Затем настала очередь Анаксагора: собственно, само постановление об изучающих небесные явления было направлено прежде всего против великого философа, теории которого просто-таки выводили из себя и даже пуга-



ли ничего в них не смыслящих ревнителей старинного благочестия. Как считают античные авторы, где-то в 433—431 годах он был привлечен к суду, обвиненный в «нечестии» Клеоном, богатым владельцем кожевенной мастерской, возглавившим к этому времени демократическую оппозицию против Перикла. Философу вменяли в вину отрицание олимпийских богов и материалистическое объяснение природы (особенное возмущение вызывали такие его высказывания, как «Солнце есть огненная глыба, величиной несколько большая, чем Пелопоннес»), защитником его выступил сам Перикл и лишь с большим трудом добился замены уже вынесенного было смертного приговора штрафом и пожизненным изгнанием из Афин. Существует версия, что одновременно с вынесением смертного приговора Анаксагору сообщили о смерти его болевшего сына, и старый мудрец, конец удивительной жизни которого был точно разыгран по традиционным канонам античной трагедии, воспринял это известие с отрешенностью человека, далекого от страстей и страданий этого непонятного и жестокого мира: «Я знал, что произвел его на свет смертным». И вот в свои почти семьдесят лет философ покинул Афины, долгие годы бывшие для него очагом свободы и средоточием образованности, он уехал в Малую Азию, где умер в 428 году в городе Лампсаке в бедности и одиночестве, как считают одни античные авторы, или же, напротив, окруженный всеобщим вниманием и уважением, как утверждают другие. Надпись на могиле гласила:

Тот, кто здесь погребен, перешел пределы познания —  
Истину строя небес ведавший Анаксагор.

Следующим был скульптор Фидий, которого еще в 437 году завистники пытались обвинить в том, что из его мастерской на Акрополе расхищается казенная слоновая кость. Однако пока шло судебное разбирательство, жители Элиды упростили афинян отпустить к ним знаменитого мастера под залог, так как они хотели поставить в Олимпии статую Зевса и не видели во всей Греции никого, кто, по их мнению, мог бы справиться с честью с этой задачей. После года, проведенного в Олимпии, где он создал семнадцатиметровую статую Зевса, отделанную золотом, слоновой костью, бронзой, черным деревом и драгоценными камнями — как считается, лучшее его произведение, — Фидий с триумфом возвратился в Афины, и недоброжелателям пришлось умолкнуть. И вот теперь не-

кий Менон обвинил его в том, что он присвоил часть золота, предназначенного для статуи Афины на Акрополе. Однако за честность Фидия поручился сам Перикл и предложил афинянам взвесить истраченное на украшение статуи золото. В свое время он сам посоветовал скульптору так расположить и укрепить это золото, чтобы его можно было снять, если понадобится. С тех пор раз в четыре года со статуи снимали одежду и украшения, проверяя их сохранность, и еще никто ни разу не обнаружил пропажу.

Золото взвесили — и обвинение с Фидия пришлось снять. Однако Менон не успокоился на этом и выдвинул новое обвинение — в святотатстве: Фидий, мол, оскорбил Афины и весь ее народ, изобразив на ее священном щите самого себя в виде плешивого старика, поднимающего камень, а также Перикла, сражавшегося с амазонкой, уподобив его тем самым божеству. Напомнив согражданам о том, что лесть художников и поэтов всегда расчищала дорогу тирании, а здесь еще при жизни, на щите самой богини — это поистине кощунство, достойное самого сурового осуждения. С ним согласились, Фидий был заключен в темницу, где вскоре умер, не дождавшись решения суда, якобы от болезни, но, во всей вероятности, от яда. Менону же было даровано освобождение от всех повинностей.

И наконец, в 432 (или же 430) году был возбужден судебный процесс против Аспасии, жены первого гражданина Афин, которую многие ненавидели из-за того влияния, которое она имела на Перикла, из-за дружбы с нечестивым Анаксагором, из-за ее образованности, а также презирали за то, что она была не афинянка и в прошлом гетера. Комедиографы, издеваясь, называли ее новой Деянирой, женой Геракла, погубившей могучего героя, или Омфалой, лидийской царицей, которой Геракл был продан в рабство и ради которой он взялся за ярлык. И вот теперь комический поэт Гермипп выдвинул против Аспасии официальное обвинение в том, что она будто бы занимается сводничеством, сводя со своим мужем Периклом, известным своей безирравственностью, свободных афинянок, свращая замужних женщин. Аспасии припомнили теперь и то, что это в ее доме долгие годы собиравались богохульники-философы, и только с большим трудом Периклу удалось вымолить у судей пощаду любимой жене. И великий устроитель Афин не мог не видеть, не понимать, что все эти преследования и наветы

на близких ему людей направлены прежде всего против него самого, ему было горько от сознания того, что ему, так много сделавшему для своего народа и своего великого города, все чаще давали понять, что его время подходит к концу. Теперь, когда не было рядом с ним Дамона, Анаксагора и Фидия, когда сникла, как-то сразу постарела после оскорбительного судилища его премудрая Аспасия, одиночество надвигалось на первого гражданина города Паллады, и только опасности и постоянное напряжение военного времени мешали ему осознать всю полноту и горечь проявленной в отношении его близких, а значит, и его самого несправедливости.

Эти расправы, следующие одна за другой, заставили приумолкнуть и многих других, кого еще не сегодня завтра могли с теми же основаниями привлечь к суду за «нечестие», и любители мудрости и науки стали подумывать о том, чтобы покинуть Афины, где, что становилось с каждым годом все очевиднее, за смелость мысли и слова приходилось слишком дорого платить. Эти безобразные процессы еще раз показали излишне уверенному в себе трагическому поэту Еврипиду, что большинство его сограждан не только не собираются чему-либо учиться у философов, софистов и таких их последователей, как он сам, но, напротив, выражают почти единодушное желание, чтобы все они умолкли раз и навсегда, прекратили свои нечестивые беседы, опасные для всех изыскания, и это повергло сына Мнесарха в растерянность и горькое недоумение: неужели такие, как его великий учитель Анаксагор, лишние в городе; неужели же разум, способность постигать закономерности жизни, видеть дальше обычных людей вызывают лишь раздражение и даже ненависть, против которой бессильно почтительное восхищение немногих, тяготеющих к ценностям вечным и непреодолимым? Однако какая-то необъяснимая надежда на то, что и его наставники, и он сам будут все-таки поняты согражданами, долго не оставляла поэта. Потому что в силу законов логики так ведь оно и должно было быть — иначе мир бы остановился в своем развитии и род людской не поднялся бы выше тех антропоморфных существ, что населяли в глубокой древности пещеры на склонах гор и собирали моллюсков на морском берегу. Еврипид уже привык к тому, что новое и необычное, как правило, встречает тупое сопротивление невежества, но весь трагизм судьбы неординарного и мыслящего человека, вся горечь страдания изгоняемого и преследуемого за ум ог-

крылись ему лишь теперь, когда его шестидесятивосьмилетний учитель был должен тайно, как вор или клятвопреступник, бежать из Афин, пополнив собой печальный перечень тех, кому «кладет предел толпа его сограждан» и «письмена законов не велят так поступать, как хочет их природа». Ему было горько, невыносимо тяжело от сознания того, что то, чем он привык гордиться, чем он даже кичился, было, как видно, почти никому не нужно.

Времена менялись прямо на глазах, и сегодня уже вызывало высокомерное презрение то, чем по достоинству гордились вчера, а именно — образованность, начитанность, приверженность музам, и, теряющий одного за другим учителей, просвещенных собеседников и товарищей своих по трудному поиску истины (Протагор к этому времени тоже покинул Афины), Еврипид с горечью пишет о том, что служение знанию — это, по-видимому, всего лишь большое и горестное заблуждение:

. . . . . Если смыслом  
Кто одарен, софистов из детей  
Готовить он не будет. Он не даст  
Их укорять согражданам за праздность...  
И что еще? И ненависть толпы  
Они своим искусством не насытят.  
Ведь если ты невежд чему-нибудь  
Хоть мудрому, по новому обучишь,  
Готовься между них не мудрецом  
Прослыть, а тунейдцем...

Как прослыл тунейдцем его друг Протагор, которого большинство афинян ничтоже сумняшся считали просто прихлебателем у богатых столов (хотя сам великий софист, без сомнения, имел достаточно средств для того, чтобы жить независимо и безбедно), а то, что он зарабатывал деньги, не будучи ни купцом, ни ремесленником, ни менялой, ни судовладельцем, внушало еще большее презрение, смешанное с опасением: разве может быть чистым золото, заработанное языком или даже стилосом?!

И невольно возникали сомнения: а может быть, они и правы, те, кто считает ненужными излишние мудрствования, кто ставит вещи реальные, осязаемые, то, что можно измерить и взвесить, купить и продать, выше так называемых вечных ценностей, о которых, в сущности, никто на свете не может сказать совершенно точно, в чем же они состоят?.. И может быть, в жизни самое важное — это уметь хорошо считать, взвешивать и вы-

числать, хитрить и прикидываться точно таким, каким падо в каждый данный момент; уметь приспособливаться к бурной, неверной реке жизни и плыть в ее мутном течении, не пытаясь ему воспротивиться, выйти на берег и посмотреть на все со стороны, как оно и подобает разумному человеку — высшему творению природы, кидающему дерзкий вызов самим бессмертным?.. Но смириться с этим, признать это для Еврипида значило отказаться от себя самого, согласиться с тем, что он живет странно, неправильно и неразумно (хоть и мнит себя умней прочих), что он, в сущности, совершенно не понимает смысла жизни и предназначения человека, но в то же время пытается навязать свое ложное толкование мира простым, но более мудрым в этой простоте соотечественникам. Согласиться с этим сын Мнесарха, конечно, не мог, он не мог отказаться от тех идеалов просвещенного и действительно равноправного общества, защитников которых становилось все меньше и меньше в Афинах, и в нем (может быть, даже вопреки ему самому) с каждым днем и с каждым годом поднимался бессильный и темный гнев на сограждан, и если раньше он стремился поднять их до больших высот познания и добродетели, просветить и душевно облагородить, то теперь он был близок к тому, чтобы объявить им войну, непримиримую и беспощадную с обеих сторон войну тому, что тянет людей назад, мешает им стать тем, для чего, и только для этого одного, они созданы, — свободными разумом, щедрыми духом и сострадательными.

Но как это бывает с великими, гениальными людьми, чье понимание мира и человека в нем во многом опережает свое время, с теми, кто меряет бытие в значительной мере абстрактными мерилami некоей высшей нравственности и человечности и для кого неустроенность жизни людской заслоняет порой ее вечный, непреходящий смысл и поступательное движение, так у сына Мнесарха появлялось все чаще тяжелое чувство поражения. И в укромных глубинах беспокойной, мятежной души Еврипида, вступившего к тому же в критическую для каждого смертного пору переоценки ценностей и крушения многих надежд и иллюзий, копились гнетущие сомнения, усталость и разочарование, разочарование не только в своем народе или же в собственных силах, но — и это было самое страшное! — в самой жизни. Для чего же жить? — этот вопрос не давал покоя все чаще и чаще сыну Мнесарха, привыкшему мерить жизнь больши-

ми задачами и целями: ради денег, богатства, почета, ради сладкого куска и приятного досуга? Что же делать? — бороться со всем, что тебе ненавистно, или уйти в себя, удалиться в прекрасный мир вечных истин и поэтических образов? Или же вообще удалиться в мир иной (если только он есть, этот вечный мир покоя и справедливости), раз уже не находишь в себе сил жить с людьми, внушающими тебе отвращение своей жестокой недальновидностью, жадностью, мелочностью и невежественным презрением ко всему ценному и прекрасному? Как жить, и жить миролюбиво, спокойно, понимающе-доброжелательно, среди тех, которые вышвырнули за ворота старца по прозвищу Ум, уничтожили гениального Фидия, творения которого были призваны обессмертить в веках само имя афинян, смеялись над Протагором и Продиком? И не ждет ли его самого в скором времени такая же судьба, его, который, слишком уж погруженный в поиски вечных миров, по-видимому, недостаточно разбieraется в том, что его окружает:

Музам послушный,  
К звездным вздымался я высям,  
Многих наук причастен,  
Но ужасней Судьбы я  
Силы не знаю...

И в то же время он был и всегда оставался афинянином, верным и любящим сыном своего прекрасного города, готового — во всяком случае, так было раньше, на протяжении долгих столетий — протянуть руку помощи страждущим и гонимым, как протянул он ее когда-то несчастным детям Геракла, укрывшимся от преследований аргосского царя Еврисфея в марафонском храме. И те афиняне, которых Еврипид рисует в своей трагедии «Гераклиды», написанной в самый разгар войны и связанных с нею бедствий, благородные и сострадательные, презирающие корысть и стяжательство («...кто корыстью охвачен, нет от такого городу поддержки»), — это его соотечественники, какими хотел бы их видеть поэт, граждане того великого города — светоча свободы и справедливости, идеал которого всегда жил в его душе:

Не в первый раз стоять земле афинской  
За правду и несчастных; без числа  
Она подъяла бед в борьбе за друга...

Впрочем, пока первым гражданином оставался Перикл, у многих, в том числе и у Еврипида, сохранялась

иллюзия того, что они сражаются с грубыми и примитивными дорийцами за правое дело, как в те мифические времена, когда великодушный царь Демофонт (светлый образ которого создавался под несомненным обаянием благороднейшего из вождей афинского демоса) вступился за гонимых Гераклидов, истинных властителей Аргоса, о чем — и это все время подчеркивалось в трагедии — никогда не должны забывать аргосцы. (Надо сказать, о том, как дети Геракла нашли когда-то приют в пределах Аттики, помнили и спартанцы, считавшие себя потомками Гераклидов, во всяком случае, летом 431 года они воздержались от разорения Четырехградья, местности на северо-востоке от Афин, где согласно преданиям остановились некогда их предки Гераклиды.)

Сомнения одолевали Еврипида, приближающегося к своему пятидесятилетию, но какие бы мысли ни терзали его, он не был хозяином собственной жизни и не мог ее изменить, даже если бы он так решил: война, эта страшная братоубийственная распря, разгоралась с новой силой, надо было с оружием в руках отстаивать каждую пядь родной земли, благословенной земли своей древней Аттики, все больше превращавшейся в пустырь, вырубленный, выжженный и вытоптаный вторгавшимися каждую весну спартанцами, которые вызывали у Еврипида, поборника всего нового, человека, причастного к одной из самых высоких культур своего времени, философа и поэта, лишь презрительное негодование:

О ты, народ, для мира ненавистный  
И Спартою надменный... Ты коварств  
Советчик, царь над ложью, хитрый швец  
Из лоскутов порока, о, нечистый,  
Увертливый, змееподобный ум!..  
Не стоите удачи вы, спартанцы;  
Рекою кровь вы льете, до прибытка  
Лишь алчные, с речами между губ  
Не теми, что в сердцах. О, пусть бы вовсе  
Вас не было на свете...

Горечь за разоренную родину, боль при виде осиротевших детей и старух, идущая из глубины веков неприязнь афинянина, наследника культуры Микенского времени, героического прошлого греческой земли, к грубым и косным дорийцам, разрушившим эту культуру и без всяких оснований претендующим теперь на это славное прошлое (так, в его трагедиях постоянно, хотя не всегда прямо и четко, проводится грань между той, до-

дорийской, жизнью Града киклопова и разрушительным вторжением полуварварского племени, потомками которого являются спартанцы). Геракл громит у него в «Гераклидах» Спарту, и как тогда, в далекие мифические времена, так и теперь в спартанцах видится источник и причина всех бед в Элладе, и поэт верит, что мир и процветание станут возможными лишь в случае победы над ними.

Весной 430 года спартанцы снова появились в пределах Аттики, и вторжение это было еще более опустошительным, чем Архидамово. Спасаясь от врага, толпы крестьян хлынули в город, стремясь укрыться за его стенами. Народ ночевал на улицах и в башнях, люди валялись прямо на ступеньках храмов и портиков, на крышах домов, и вскоре от такой скученности населения, грязи и недостатка воды в Афинах началась эпидемия какой-то страшной болезни, которую впоследствии историки называли бубонной чумой, или же моровой язвой: «Говорили, что болезнь эту производит скопление деревенского населения в городе, когда множество народа в летнюю пору принуждено жить вместе, вповалку, в тесных хижинах и душных сараях, вести жизнь сидячую и праздную вместо прежней жизни на чистом воздухе и на просторе». Болезнь шла из Египта, куда она проникла будто бы из Эфиопии через Ливию, Персию, Лемнос и другие острова, врачи были бессильны остановить ее и умирали сами. В Афинах ее первые признаки появились в Пирее, по всей вероятности, ее занесли моряки, однако ходили слухи, что виною всему спартанцы, отравившие якобы цистерны с водой.

Болезнь, как описывает ее Фукидид, начиналась с сильного жара в голове, красноты и воспаления глаз, затем появлялись хрип и жестокий кашель, тошнота, извержение желчи, икота, судороги. Тело краснело, синело, по нему выступали пузыри и нарывы. Большой так горел, что не мог вынести прикосновения даже самой легкой одежды, а раздевался и кидался в холодную воду. Многие, мучимые неутолимой жаждой, бросались тогда в колодцы. Большинство умирали от сильного жара на седьмой или на девятый день, а те, кто каким-то чудом выздоравливал, забывали обо всем и не узнавали ни самих себя, ни своих близких. Птицы или собаки, пожравшие трупы больных, также погибали. Люди умирали и при хорошем уходе, и без всякого ухода, вскоре каждый стал бояться даже приблизиться к другому: сколько ни молились в



храмах, сколько ни обращались к оракулу — все было бесполезно, и наконец люди на все махнули рукой. И многие в Афинах вспоминали тогда древнее пророчество: «Наступит дорийская брань и чума вместе с нею», вспоминали даже те, кто в благополучные времена не слишком-то верил всякого рода гаданиям и предсказаниям.

Эпидемия вспыхивала трижды (в 430, 429 и 426 годах) и унесла четверть населения Аттики. Умиравшие лежали один на другом или ползали по улицам около источников в страшном жару, мучимые жаждой. Улицы и храмы были усеяны непогребенными трупами, лежащими вперемешку с умирающими, трупы лежали на алтарях. Сначала дымы погребальных костров окутали город, но вскоре, «так как болезнь слишком свирепствовала, люди, не зная, что с ними будет, перестали уважать и божеские и человеческие установления. Все обряды, какие соблюдались раньше при погребении, были попорчены, и каждый совершал похороны, как мог». А потом уже некому стало и хоронить.

Эта страшная беда, постигшая город, «послужила для государства началом дальнейшего попраiania законов»: грабили трупы и опустошали дома, совершались всякого рода преступления, ибо, как пишет об этом времени Фукидид, теперь «людей нисколько не удерживали ни страх перед богами, ни человеческие законы, так как они видели, что все гибнут одинаково, и потому считали безразличным, будут ли они чтить богов или не будут, с другой стороны, никто не надеялся дожить до той поры, когда понесет по суду наказание за свои преступления. Гораздо более тяжелым приговором считался тот, который висел уже над головой, а потому казалось естественным, прежде чем он достигнет, насладиться хоть чем-нибудь от жизни».

Гнев и отчаяние погибающих людей обратились против Перикла, хотя он сам только что схоронил сестру и сыновей, Ксантиппа и Парала, его обвиняли в том, что это он втянул государство в войну и вверг его тем самым в такие несчастья. В Лакедемон были срочно отправлены послы умолять о мире, но спартанцы, покинувшие Аттику сразу же, как только началась чума, не желали вести никакие переговоры и требовали полной капитуляции, на что афиняне не могли пойти даже при столь крайних обстоятельствах. Чувство глубокой усталости и безнадежности все больше охватывало афинян, и это невиданное дотоле нагромождение бед, по сравнению с которым

даже нашествие персов представлялось менее страшным, казалось, не могло быть ничем иным, кроме как следствием неумолимого Рока, тяготеющего над ними, перед которым они, запутавшиеся в собственных ошибках, преступлениях и слабостях смертные, были так же бессильны, как был бессилён перед своей страшной судьбой Эдип, о котором напомнил своим поистине раздавленным бедами согражданам Софокл в поставленной где-то в эти тяжёлые годы трагедии «Эдип-царь», по-видимому, лучшей из всего им созданного.

Трупный запах — зловещее дыхание смерти, пропитавшее в эти годы Афины, — словно чувствуется в этой драме, где целый город чумой и запустением расплачивается за преступление Эдипа, за его страшный грех, совершенный не только что без всякого умысла, но вопреки всем его усилиям избежать нечестия:

Горе! Меры нет напастьм!  
Наш народ истерзан мором.

Жертв по граду не исчислить.  
Несхороненные трупы,  
Смерти смрад распространяя,  
Неоплаканны лежат...

И как Фивы расплачивались за самоуверенность и успокоенность Эдипа, в своей, свойственной каждому смертному слепоте предполагавшего, что ему удалось расчётом и вовремя принятыми мерами обмануть судьбу, так и город Паллады платил теперь за чью-то самоуверенность, за непоправимые ошибки тех, которые сочли необязательным для себя «блюсти во всем святую чистоту и слов, и дел, согласно мудрым законам, в горних порожденным». По духу своему и образу мыслей, по твердой вере в эти раз и навсегда заданные законы бытия, которые породил «не смертных род», Софокл был человеком уходящего патриархального времени, и, как в свое время Эсхил, он не видел ничего хорошего и полезного для общества во многих из тех новшеств, которыми был так богат уходящий «век просвещения», и главное — хотя он сам был в достаточной степени образованным и входил в тот кружок, что собирался в доме Перикла и Аспасии, он считал, что смертному лучше не переступать отведенный предел познания. И Эдип при всей своей мудрости, славе и власти оказывается лишенным способности видеть подлинную сущность вещей и постигнуть правду в отличие от слепого, но «все зрящего» старца Тиресия,

убежденного в том, что «страшно знать, когда от знания один лишь вред! ...я правдою силен». Эдип, которому не на что больше смотреть, ослепляет себя после того, как ему раскрылась со всей своей очевидностью неумолимость его страшной судьбы, после того, как повесилась его мать — жена Иокаста, после того, как всем стало ясно, насколько жалка дальнейшая участь его детей, родившихся от нечестивого брака. Он ослепляет себя, потому что не доверяет больше глазам, не сумевшим увидеть истинное, и жалеет только о том, что не может лишить себя еще и слуха:

. . . . . О если б был я в силах  
Источник слуха преградить, из плоти  
Своей несчастной сделал бы тюрьму,  
Чтоб быть слепым и ничего не слышать...  
Жить, бед не сознавая, — вот что сладко.

Он ослепляет себя, чтобы избежать власти видимости и обрести в мучениях способность проникать в сущность вещей, подобно Гомеру, которого согласно древней преданию ослепила сама Муза, или же философу Демокриту, также сознательно лишившему себя глаз, чтобы избавиться от «соблазнов зрения и помехи очей».

Сам Софокл видел в фабуле об Эдипе «парадигму» общего для всех смертных закона: всякая удача есть только видимость, и для этой видимости, излучающей ложный заманчивый блеск, неминуемо придет скорбное время заката:

Люди, люди! О смертный род!  
Жизнь земная, увь, тщета!  
В жизни счастья достиг ли кто?  
Лишь подумает: «Счастлив я!» —  
И лишается счастья.

Очень многим тогда в Афинах, переполненных гниющими трупами, когда сам воздух был словно пропитан неведомой заразой, казалось, что они подошли к своему последнему рубежу, что от этого испытания им уже не оправиться. И даже Софокл, всегда твердо веривший в силу и славное предназначение своего города и народа, как-то дрогнул духом перед нагромождением бед, обрушившихся на отечество, объясняя их тем, что «бессмертных позабыли мы». Прежде всего в забвении изначальных и вечных законов, на которых, в чем он никогда не усомнился, должно зиждиться каждое человеческое об-

щество, — законов честности и справедливости, в тяготе-нии к богатству и власти, в том, что первым в городе опять становился тот, кто ставит деньги выше чести и «не боится правосудья», сын оружейника Софилла видел одну из главных причин тяжелейшего положения, в котором оказались Афины.

Да, чума еще раз показала афинянам, и даже наиболее дерзновенным из них, как все-таки слаб человек в своем самомнении, в стремлении переделывать окружающий мир согласно своим планам и замыслам, далеко не всегда разумным и праведным, и всемогущая сила Ананке (Необходимости, зловещего Рока), о которой они позабыли на время среди преуспеяния, снова явила им свой грозный лик. И для многих со всей своей остротой снова встал вечный вопрос: как надо жить — так, как хочется, чувствуя себя всемогущим хозяином мира, или же «как судьба позволит», осознавая свое ничтожество, тщетность своих усилий перед непреложными законами мира и бытия, законами, которые, видимо, никогда до конца не постичь человеку? Многие в эти тяжелые годы в Афинах уже были готовы признать свой неведомо кем произнесенный приговор вместе с Эдипом, отчаявшимся разобратся в непостижимой загадке жизни: «И пусть судьба идет своим путем». И даже трагический поэт Еврипид, всегда превыше всего ставивший разум и дерзость познания, должен был признаться, хотя бы себе самому, что не все в этом мире подвластно человеку, каким бы глубоким умом ни был он наделен, и не от него зависит в конечном итоге его благополучие и самая жизнь. В сущности, он не имел оснований роптать на судьбу: в эти страшные годы чума пощадила не только его, но и его сыновей; он не ослеп, не оглох, не истек черной кровью, не утонул в водоеме, переполненном трупами, при нем остался его острый разум и неиссякаемая тяга к познанию и творчеству. Может быть, боги, или судьба, или кто там еще, неведомый и всемогущий, что правит миром, пощадил его (так же, как Софокла, Сократа, Аристофана и даже заболевшего, но выздоровевшего Фукидида), приберег их для тех важных дел, которых они еще не совершили, но которые непременно должны были совершить, ибо для этого они и пришли в этот мир. Это было все так, и все равно Еврипид не чувствовал, да и не мог чувствовать себя довольным: ему все больше казалось, что жизнь меняется в худшую сторону прямо на глазах, потому что его идеал — идеал равноправного и просве-

щенного общества, свободного от зла и насилия, — оказался бесплодной абстракцией, не имеющей, видимо, места в жестокой и непонятной реальности жизни людской. Один за другим уходили учителя и друзья, остывало неспокойное сердце, так и не познавшее счастья, рушились надежды и уплывали куда-то, в недосягаемую страну навсегда ушедшего времени мечты, и вступающему в свою позднюю осень поэту, так же как и Софоклову Эдипу, уже ничто не могло усладить так много видевших глаз, ему, в бессилии созерцавшему, как страшно платит его народ за не им самим и не только им совершенные ошибки:

Наш город, сам ты видишь, потрепан  
Ужасной бурей и главы не в силах  
Из бездны волн кровавых приподнять.  
Зачахли в поле молодые всходы,  
Зачах и скот, и дети умирают  
В утробах матерей. Бог-огнепосец —  
Смертельный мор — постиг и мучит город.



### ЗАКАТ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Бессмертные боги, явившие так беспощадно свою немилость к афинянам во время прошлогоднего мора, казалось, уже навсегда отвратили свое лицо от Ока Эллады. И хотя как в военных делах, так и в мирных заботах встречались удачи и счастливые дни, бывшее могущество и благополучие города подходило к концу. Крестьянство было разорено, нищали ремесленники и торговцы, потому что народ Аттики, скучившийся в эти тяжелые годы, подобно овцам в загоне, в тесноте городских стен, был теперь плохим покупателем, поддерживать же торговые связи с другими полисами и дальними колониями становилось все труднее. Пользуясь недовольством обедневшего и усталого народа, перешли в наступление и противники Перикла в среде самой демократии, в первых рядах которой находились к этому времени богатые рабовладельцы, хозяева судов, торговых и ремесленных заведений и меняльных контор, среди которых выделялся своей энергией, несомненным умом и беспощадной логикой Клеон. И хотя он не отличался особенно высокими моральными качествами и образованностью, был известен своим буйным нравом и равнодушием к общественному мнению (о нем говорили, что он не боится бесчестия и

не боится прослыть подлецом), Клеон пользовался большой популярностью у афинского простонародья из-за своего умения громко и убедительно говорить, а главное — из-за щедро раздаваемых им обещаний будущих благ и успехов. Как писал впоследствии об этом демагоге Аристотель, «он более всех развратил народ своей горячностью», «первым стал кричать на трибуне, и ругаться, и говорить перед народом, подвязав гиматий, тогда как остальные говорили благопристойно». По мнению великого философа, Клеон любил деньги больше, чем государство, хотя всеми мерами стремился убедить народ в своем бесконечном патриотизме и бескорыстном служении отечеству. Еще год назад он начал нападать на Перикла, требуя более решительных мер по отношению к союзникам и большей осторожности в отношении тех вольнодумцев, которыми окружил себя, по его мнению, первый стратег и которые, что становится все очевиднее, приносят Афинам вред не меньший, чем спартанцы.

Напрасно тот, выступая в народном собрании, упрекал сограждан в том, что за личными бедами они забывают порой о нуждах отечества. В 430 году его не только не избрали стратегом, но даже обвинили в неправильном употреблении государственных средств и присудили к уплате большого штрафа. Год спустя, когда над Атикой снова нависла угроза спартавского вторжения, Перикл все же был назначен стратегом, но, постаревший, надломленный утратами, обиженный народом и, главное, начинающий осознавать, что демократия, во имя которой он отдал всю свою жизнь, начинает приобретать какие-то новые, непонятные и пугающие его очертания и что на смену ему идут демагоги, подобные Клеону, он ничего уже не мог сделать для любимого народа. Он заболел и умер во время новой вспышки чумы в 429 году, и смерть его была лишь одной из многих и многих потерь этого печального времени. Не было уже его сыновей, где-то в Лампсаке доживал одинокую старость учитель Анаксагор, опустел дом, где искрилась, играла когда-то свободная мысль, и только в светлых и мудрых героях его друга Софокла навеки запечатлелись черты благороднейшего из вождей афинского демоса, да трагический поэт Еврипид почтил память Перикла полными искренней скорби строками:

Это горе неожиданно в наш город пришло,  
Наше общее горе.  
Лейте слезы потоками, плачьте навзрыд.

Скорбь о муже великом пребудет в сердцах,  
Пораженных утратой сограждан.

Со смертью Перикла, сочетавшего гениальность политика с необычной для государственного деятеля широтой взглядов, отношение ко всякого рода философствующим, сомневающимся в непреложности установлений богов и проверенных временем традиций стало откровенно нетерпимым. Новые люди, пришедшие к власти — богатые рабовладельцы, купцы и хозяева больших эргастерий, в достаточной степени невежественные и прагматичные, — считали, что «недостаток знания при скромности полезнее, чем проникаемость при необузданности». «Люди попроще, — любил говорить Клеон, — обыкновенно лучше справляются с делами в государствах, нежели люди более интеллигентные. Последние желают казаться мудрее законов, брать верх над всем, что бы когда ни говорилось в Народном собрании, как будто они не могут проявить свой ум в других более важных случаях, и таким способом действия причиняют государству большей частью вред». Безусловно, с людьми попроще было легче во всех отношениях, и поэтому поэт Еврипид, и раньше-то не пользовавшийся особым расположением сограждан, теперь и вовсе не мог рассчитывать на понимание и снисхождение. Его образ мыслей, дружба с софистами давно уже вызывали подозрение, что же касается поэтического дарования, то и оно не представлялось афинянам столь уж значительным. Да если бы и представлялось, что ж из того, ведь, как писал впоследствии Плутарх, «ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе, — Поликтетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись их сочинениями: если произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы автор его заслуживал подражания». А такие трагедии Еврипида, как «Ипполит», представленный на состязаниях 428 года, лишь усугубляли представление о нем как о развратителе общественных нравов и ниспровергателе старинных традиций, за которые еще крепко держалось большинство афинского демоса. Им была непонятной, казалась предосудительной трагическая поэзия страсти, довлеющей над людьми, словно Рок, поэзия грозной силы любви, таящейся в человеческом сердце. Как казались попросту неприличными любовные песни Сапфо кое-кому из ее современников и тех, кто читал их и слушал столетия спустя.



Это был уже второй вариант после более ранней трагедии «Ипполит, закрывающийся плащом», от которой до нас дошли лишь фрагменты. Ее сочли настолько безразличной (еще бы, женщина сама признавалась пасынку в снедающей ее страсти!), что Еврипид был вынужден переделать трагедию, и так появился «Ипполит, несущий венок», первая греческая драма о неразделенной любви. Но хотя трагедия удостоилась первой награды — и потому, что была совершенна в художественном отношении, и потому, что добродетель в ней явна, хотя и с запозданием, торжествовала, по своему существу она ничем не отличалась от первого варианта, столь шокировавшего организаторов праздника. Это была вековая печальная история о ненужной, нечаянной и преступной любви, величественна и горька была в ней несчастная женщина, не сумевшая воспротивиться «потоку Киприды», и все не был героем целомудренный, но бездушный и холодный Ипполит.

Как обычно, действие разворачивалось в незапамятные мифические времена, но на этот раз не в Микенах или Фивах, а в Афинах... Сын царя Тезея Ипполит, которого «вне брака родила амазонка-всадница, с юных лет посвятил себя Артемиде и пренебрежительно отвергал власть и силу Киприды. Единственной его страстью была охота, и он проводил дни в лесах и горах, верно служа Деве-охотнице. Напрасно старый раб предостерегал его от дерзости идти против законов природы: «Умом силен ты. Если бы и счастлив был». Безжалостная в своем гневе, обиженная Киприда делает так, что в Ипполита безумно влюбляется Федра, молодая и прекрасная жена царя Тезея, и губит тем самым и его и себя.

Любовь, которую наслала на Федру Афродита, — это болезнь, это безумие, это беда:

...Как педуг, любовь  
На царицу обрушилась.  
Как волна, захлестнула слепая страсть  
Оробевшую душу.  
Гложет царицу хворь.  
Бедная, третий депь  
Страждет на ложе мук.  
Золото пышных кос  
Прячет под покрывалом  
И, от даров Деметры  
Отворотив уста,  
Смерть лишь зовет, казнима  
Большою неведомой.

Не в силах вынести любовь «как рану страшную», царяца решает умереть. Однако кормилица, которой она наконец открывает свою ужасную тайну, советует ей не перечить воле Киприды и открыться Ипполиту, считая, что незачем «нам, людям, быть излишне строгими»:

...Лучше, согрешив, спастись,  
Чем жизнь отдать за пышные реченья.

Она пытается свести Ипполита с госпожой, но наталкивается на бурю возмущения и гнева со стороны кичащегося своим целомудрием служителя Артемиды. Ипполит грозитя все открыть царю, который в это время находится в отлучке и вот-вот должен вернуться. Раздавленная всем случившимся, Федра повесилась, однако жаждущая отпущения Киприда на этом не успокоилась, ведь Ипполит еще не был наказан. И вот оплакивающий любимую жену царь узнает из записки, оставленной Федрой, что его «постелью овладеть насильственно пытался, на глазах у Зевса, Ипполит». Несмотря на все оправдания, отец проклинает оклеветанного сына и прогоняет его с глаз долой навсегда. Ипполит погибает: проклятье отца является ему в виде чудовищного быка, посланного Нептуном, испуганные этим быком, юношу насмерть разносят, разбивают о землю любимые кони. Он погибает, несмотря на всю свою чистоту, которая не принесла ему счастья:

Я скромнее всех, я всех чище жил,  
А теперь под землю сойду, в Аид,  
И закончу жизнь. Благочестья груз  
Я напрасно нес и напрасно слыл  
Набожным в мире.

Появившаяся, как обычно, в финале трагедии Артемида открывает всю правду несчастному Тезею — все погублены гневом всемогущей Киприды, беспримерна которой «беспредельная власть». Так, уже здесь Еврипид поднимает вопрос, к которому он возвращался потом во многих трагедиях и который, по-видимому, не давал ему покоя всю жизнь, — вопрос о взаимосвязи между разумностью и счастьем, — с каждым годом со все большей печалью осознавая, что разум, умение разбираться в природе вещей никогда или почти никогда не сопутствует простому, земному, людскому счастью.

И мало кто из современников понимал, что любовь для героев сына Мнесарха, так же как и для него самого, — это не прихоть пресыщенного тела, не распутство, а не-

одолимая власть неведомого божества, которую невозможно превозмочь, которая определяет всю жизнь человека и от которой ему некуда уйти, кроме как в небытие. И если для Платона, обратившегося несколько десятилетий спустя к рассмотрению любви как одного из важнейших начал в человеческой жизни, древнейший бог Эрот виделся «первоисточником величайших благ», то у Еврипида, верного всегда и во всем Гераклитовой диалектике,

...в колчане соблазнов дне  
Бог златокудрый стрелы хранит —  
Ту, что блаженным навек человека творит,  
С той, что и сердце и жизнь отравит...

Между тем дела афинян принимали все более неблагоприятный оборот: рассчитывая на помощь пелопоннесцев, сторонники олигархического образа правления в некоторых союзных городах и островных греческих государствах все более настойчиво и успешно склоняли своих соотечественников к выходу из Афинской архе и низвержению демократии. В ответ на это афиняне решительно пресекали любые попытки ослабить их влияние, и богатые рабовладельцы, заправлявшие теперь в Народном собрании, требовали все более решительных мер по обузданию союзников.

Столкновение мнений по этому поводу приняло особенно резкий характер, когда в результате активизации деятельности аристократии в 428 году попытался отложиться город Митилены на острове Лесбос. Попытка была быстро подавлена: афинский стратег Пахет захватил город, отправил в Афины мятежников аристократов, и в Народном собрании развернулись ожесточенные дебаты о том, как поступить с непокорными. Клеон, как всегда, подавляющий всех громким голосом, безапелляционной уверенностью и умением тонко играть на недостатках и слабостях сограждан, возмущенных коварством митиленцев, предложил обрушить на остров такие кары, чтобы впредь одно только имя афинян внушало ужас во всем эллинском мире и у чем-либо недовольных навсегда отпала охота восставать. Побуждаемое всемогущим демагогом, собрание приняло решение казнить всех мужчин в Митиленах, а женщин и детей обратить в рабство, и уже был отправлен гонец с приказом в Пахету, когда в Афины прибыли послы из Митилен, умоляя о милосердии, и вопрос был снова поставлен на обсуждение. И снова Клеон, как подробно и красочно описывает это Фукидид (последовательный противник крайних мер, у которого в доста-

точной степени невежественный и хамоватый Клеон всегда вызывал глубокую неприязнь), обрушился на сторонников умеренности, призывая их отбросить ненужную жалость и не поддаваться сомнениям. Клеон обвинял митиленцев в наглости и вероломстве, что лишало их, по его мнению, права на человечность и сострадание: «Отвечать состраданием справедливо по отношению к тем, кто находится в одинаковых с тобой условиях, а не к тем, которые сами не способны к жалости и всегда по необходимости оказываются врагами... Достоинно накажите митиленцев и покажите ясный пример прочим союзникам: всякого, кто отложится, будете карать смертью».

Однако не все думали так, не все были уверены, что за проспартанские происки митиленской аристократии должно понести наказание все население острова, и некий Диодот, сын Евкрата, решительно выступал против чрезмерной жестокости по отношению к союзникам. И то ли благоразумие, то ли человечность одержали верх в возбужденном как никогда Народном собрании, но только народ согласился с Диодотом и к Пахету поскорее послала второго гонца с новым решением: казнить только тысячу митиленцев-аристократов, срыть городские укрепления и отобрать корабли. Часть территории города была конфискована, и на ней поселили три тысячи афинских клерухов из тех обездоленных войной бедняков, которым не на что было рассчитывать, кроме как на земли и деньги бывших союзников.

Все это не могло не вызвать глубоких сомнений и раздумий у тех афинян, и особенно образованных, которых беспокоило то, что стремление к наживе и власти, жестокость, бесчеловечность, пренебрежение, казалось бы, незбылемыми для каждого свободного человека морально-этическими нормами, неуважение к разуму и добродетели все больше укореняются среди значительной части сограждан. Все это усугубляло отчужденность Еврипида, который хотя и участвовал во многих кампаниях этих лет, добросовестно исполняя долг, однако даже в ратных делах не находил той справедливости, которая, по его глубочайшему убеждению, должна быть присуща демократическому обществу:

Как ложен суд толпы! Когда трофей  
У эллинов победный ставит войско  
Между врагов лежащих, то не те  
Прославлены, которые трудились,  
А вождь себе один хвалу берет.

И пусть одно из мириады копий  
Он потрясал и делал то, что все,  
Но на устах его лишь имя.

И чем дальше шло время, тем меньше сын Мнесарха отождествлял свои личные цели и задачи — служение Мельпомене и поиски истины — с нуждами общества, тем более что это общество все больше приобретало очертания, внушавшие поэту презрительное негодование. Поэтому он любил повторять, возмущая своей откровенностью крикливых ура-патриотов, заправлявших теперь в Афинах, что «долг первый мудрого — любить детей, потом отца и мать, потом отчизну», и продолжал жить как бы сам по себе, не занимая никаких должностей и посвящая свои дни и годы литературному творчеству, чтению и беседам с немногими друзьями.

Все чаще его посещали тяжелые думы о том, что жизнь прожита не так, как хотелось, как думалось. Ему было горько, что все его благие порывы остались, по-видимому, ненужными или вообще незамеченными, что ни ему самому, ни его великим учителям так и не удалось ни на йоту изменить этот мир к лучшему, и даже напротив — все вокруг стало будто бы хуже, чем во времена его юности, полной дерзких надежд и больших планов. Он все чаще думал о том, что, к сожалению, ни просвещение, ни наука, ни даже свобода не могут, как видно, сделать людей лучше, а их жизнь правильнее, избавить афинское общество от раздирающих его противоречий, и все больше склонялся к мысли о том, что истинным содержанием человеческой жизни должны быть добро, милосердие, взаимопомощь дорожащих друг другом людей, та самая праведность, о которой писал беотиец Гесиод, поэму которого ему приходилось заучивать в детстве:

Праведен будь! Под конец посрамит гордеца непременно  
Праведный. Поздно, уже пострадав, узнает это глупый.

Но этой праведности, этого милосердия становилось вокруг все меньше по мере того, как традиционный земледельческий полис превращался в могучую военно-морскую державу и новая мораль — господства сильного над слабым, хозяина над рабом — безвозвратно уничтожала привычные патриархальные добродетели; какими смешными и устаревшими казались они в молодости Еврипиду и как его удивляло, даже порой ужасало теперь то полное пренебрежение порядочностью во имя наживы и власти, которое шло им на смену! При всем своем умении

проникать в сущность вещей и видеть многое дальше своих погруженных в практические дела и заботы соотечественников сын Мнесарха не мог до конца осознать, что и новая жизнь, новые порядки, во имя установления которых афинский народ боролся долгие годы с приверженцами аристократической старины, не свободны от жесточайших противоречий и влекут за собой новые и неожиданные беды. Поэтому Еврипид пребывал почти постоянно в мрачном расположении духа, равнодушный к тем мелким радостям и подачкам судьбы, которые скрашивают жизнь людям более простым; так же как и его учителя Анаксагора, его не видели улыбающимся или смеющимся, и даже в его поэзии гедонистские нотки редко разнообразили скорбный фатализм восприятия мира:

И никому не ведомо из нас,  
Жив будет ли наутро. Нам судьба  
Путей не открывает: ни наукой,  
Ни хитростью ее не купишь тайн.  
Сообрази же и веселись. За кубком  
Хоть день, да твой, а завтра, чье-то завтра?

Хотя поэт всегда жил и действовал, повинаясь прежде всего порывам собственного сердца, велениям совести и разума, он с горечью сознавал, что вот ему уже более пятидесяти лет, а он, в сущности, никогда не был понастоящему счастлив, и пытался понять, в чем же оно, это людское счастье, и почему он его так и не встретил? Небрежно отодвигая в сторону богатство, власть, славу — то, ради чего порой забывали о своем человеческом первородстве многие из его сограждан, спеша пожить, он завидовал только тем, кому удалось обрести душевный покой, лишь теперь вполне понимая, как прав был великий Солон, считавший гармонию духа, возможность спокойно прожить в стороне от зла и больших потерь высшим благом для смертного:

Подумаешь, не все ль мы точно гребнем  
Вздыхаемся кичливо: тот — гордись,  
Что он богат, а тот — что между граждан  
В почете он. Какая суета!  
Заботы эти, замыслы... пустая  
Шумиха слов. Того зови блаженным,  
Кому не кроет зла насущный день.

Но, призывая довольствоваться малым, «середины держаться всегда и во всем», Еврипид противоречил себе, ибо сам он, презрительно отвергая обычные и в общем

для каждого более или менее достижимые блага суетной жизни людской, всей своей беспокойной, мятежной душой жаждал тех высших благ — справедливости, красоты, любви и добра, которых никому не дано вкусить в полной мере и которые удаляются, как горизонт, вечно маня людей своим ничему не подвластным сиянием. Нет, не мало ему было нужно, но, напротив, слишком много, больше даже, чем положено смертному, — и в этом была причина того, что сын Мнесарха так никогда и не достиг спокойствия духа, не увидел счастья. Он и сам это прекрасно понимал, но ничего не мог поделать. Он не мог стать другим, перестать видеть мир так, как видел, изменить своему предназначению, и ему оставалось лишь молить жестокосердных богов совершить невозможное:

Легкий даруйте мне нрав,  
Светлые мысли, благую способность  
Жить беспечально сегодняшним днем.

Возможно, порой жизнь становилась настолько тяжелой для стареющего ученика Анаксагора и почитателя Гераклита, что начинали смущать мысли о самоубийстве, и в своем творчестве этих лет он то тут, то там обращается к этой теме, словно взвешивая все «за» и «против», словно вместе со своими героями, также ставшими в тупик перед аномалиями бытия, решая, стоит ли эта непонятная и жестокая жизнь того, чтобы ее продолжать, или же «прельстительно, коли муки выше сил, желать уйти из этой жалкой жизни»? И прав ли мудрый Сократ, утверждающий, что человек, как бы ни был тягел его путь, не имеет права сам прерывать его, поскольку «мы, люди, находимся как бы под стражей и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать»? Вряд ли Еврипид верил до конца (по крайней мере, он нигде не говорит об этом достаточно определенно) в то, что, как писал об этом впоследствии Платон, «...умерших ждет некое будущее и что оно, как гласят и старинные предания, неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных», просто он не мог решить, в чем же больше мужества — бороться с порой непереносимыми тяготами существования или же разом избавиться от них:

...Я не скрою, что сомнеюм  
Теперь охвачен, не тобою ль грус  
Самоубийца... Да, кто не умеет  
Противостать несчастью, тот и стрел  
Врага, пожалуй, испугается... Я должен  
И буду жить...

Но бессмертные боги, обделившие мудрого сына Мнесарха радостью жизни, все же дали ему немало — они даровали ему способность творить, величайшее благо, и он опять погружался в миры, создаваемые его собственным поэтическим воображением (миры, оказавшиеся более долговечными, чем окружающая его реальность), искал, страдал и боролся вместе со своими героями — истинными своими детьми, в каждом из которых запечатлелась частица его самого, и это позволяло ему снова жить и надеяться.

Сомнения и душевные муки, одолевавшие пятидесятилетнего поэта, вступившего в печальную пору утрат и разочарований, переполняли его трагедии, но это было не только непонятно большинству его соотечественников, но казалось им ненужным, надуманным, выспренным и даже смешным, как казалось это Аристофану, страстному любителю театра, который сразу же и навсегда невзлюбил угрюмого трагика, самонадеянного простолюдина и сомнительного мудреца, и сделал его постоянной мишенью безжалостных насмешек, карикатурным героем своих великолепных комедий.

Считается, что комедию, которая родилась из фаллических песен во время Дионисий, из космоса — шествия праздничной толпы подвыпивших поселян, занес в Аттику в первой половине VI века некий Сусарион из Мегар, а первым известным комедиографом был Хионид, писавший еще до нашествия персов. В 464 году комедия была официально допущена для государственных представлений, но так как она, сохраняя ряд черт фаллического культа, отличалась изрядной вольностью в выражениях и костюмах, жестах и плясках, то женщины и дети долгое время на представление комедий не допускались. Во времена Еврипида многие поэты обращались к сочинению комедий, наиболее известными из них были Телеклид и Гермипп, современники Перикла, не раз делавшие его объектом своих бесцеремонных насмешек. В 40-е годы блистали Кратет, Евполид и Кратин, проживший почти сто лет и восхищавший современников стремительным потоком своей поэзии и беспощадностью сатиры, напоминавшей старинного поэта Архилоха. В отличие от трагических поэтов, у которых современность замысла облакалась в традиционные мифологические одеяния, комедиографы писали о том, что было известно каждому в Афинах, — о политических событиях, различных случаях из жизни города, о злободневных вопросах, касавшихся поэ-



зии, пауки, философии. От их безжалостного осмеяния не спасало ни благородное имя, ни общественное положение, ни заслуги перед согражданами, ни тем более богатство, каждый мог оказаться карикатурным персонажем их комедий, пестрящих шуточками и софизмами, полных фантастических сцен, неприличных словечек и непристойных выходок. Комедиографы высмеивали — и далеко не беззлобно — всех и вся, не щадя даже самых больших людей в государстве. Власти не раз предпринимали попытки ограничить эту вольность, но постановления «не выводить на сцену лиц под их подлинными именами» обычно вскоре отменялись, и опять амфитеатр гогогал и ржал при виде дурацких фигур в непристойных костюмах и уродливых масках, в хвастливых речах, в глупых или наглых поступках которых угадывались — если уж не назывались прямо — сильные сильных мира того. Нисколько не стремясь к поэтическим абстракциям, комедиографы прямо заявляли в парабазе (партии хора, исполнявшейся посередине пьесы) о своих политических симпатиях, о цели данного произведения, о своих заслугах перед согражданами и отношении к соперникам по сцене, предоставляя зрителям самим судить, насколько они правы, выставив на осмеяние того или иного из граждан.

Девяностолетний Кратин все еще считался первым среди комических поэтов, когда на Ленеях 427 года на суд афинян была представлена комедия какого-то нового, совершенно незнакомого автора, поставленная Каллистратом. Она называлась «Пирующие» и удивила афинян, которых, казалось бы, трудно было чем-либо удивить после выпадов Евполида и Кратина смелой меткостью сатиры, не говоря уже о мастерски закрученном действии, умении держать зрителя до самого конца в радостном возбуждении. Темой комедии было воспитание молодежи, причем неизвестный поэт откровенно противопоставлял обычаи и нравы «отеческого строя» всем новым веяниям педагогики и просвещения, утверждая, что афинским юношам следует учить Гомера, а не внимать пустым и развращающим речениям софистов. В одном из персонажей все сразу же узнали горластого Клеона, и, хотя к этому времени очень многие в Афинах не без оснований питали страх перед входящим все в большую силу демагогом, зрители дружно потешались — отчего же не посмеяться в праздник бессмертного Диониса — и еще раз удивлялись смелости нового комедиографа.

Вскоре стало известно, кто этот дерзкий поэт, кото-

рый по молодости лет (закон запрещал представлять комедии для состязаний гражданам моложе тридцати лет, а ему было всего двадцать три) не посмел выступить под собственным именем. Им оказался Аристофан, сын Филиппа с острова Эгины, молодой человек с приятной, располагающей внешностью, который уже многими был замечен за остроту языка, приверженность к старице и критическое отношение к политике демагогов. С этих пор он надолго вошел в литературную и общественно-политическую жизнь Афин, театр стал для него трибуной, с которой он клеймил и высмеивал все, что, по его мнению, наносило ущерб его городу и народу, предостерегал против того, что сегодня еще казалось забавным фарсом, а завтра могло обернуться трагедией. Он бесстрашно вскрывал вопиющие противоречия рабовладельческой демократии, ее захватнические устремления и равнодушие к судьбе нищающего народа, выставляя на всеобщее осмеяние лжецов-демагогов, спекулянтов и торгашей, бездарных и чванливых стратегов, «глупость народа-властелина, поправшегося па крючок софизмов и лести». Отстаивая преимущества «отеческого строя», молодой комедиограф не только смело, со всей мощью своего необыкновенного поэтического дарования выступил на защиту разоренных войной земледельцев, на которых издревле держались Афины и чьи интересы были теперь почти всем безразличны, более того — он видел мир их глазами, оценивая каждую вещь и каждое событие в жизни полиса с позиций консервативного традиционализма. И так же, как этим, выбитым из привычной колеи мужикам, до которых не было дела воспаряющим к горным высям философам, Аристофану казалось ненужным, непонятным и даже опасным все, что выходило за рамки патриархального уклада, и особенно свободомыслие: благородный юноша уже с самых первых шагов на поэтическом поприще судил о многих проблемах своего сложнейшего времени, словно он лет пятьдесят-шестьдесят просидел заскорузлым пахарем где-то на самых задворках Эллады, хотя уже с этих же самых первых шагов он совершенно отчетливо различал зло и добро, справедливость и ложь, жестокость и человечность и готов был постоять за последнюю до конца. Особенно он ненавидел тех, которые, подобно Клеону, не только не стремились положить конец межэллинской распри (поэту, как и его мужикам, нечего было делить с коринфскими или же эгинскими конкурентами на дальних рынках), но, напро-

тив, откровенно рвались к новым захватам и барышам, безжалостно пресекая всякие попытки умалить гегемонию Афин, гегемонию, высший государственный смысл которой также оказывался недоступным тем простым земледельцам, которым, кроме их собственного поля и сада, вроде бы больше ничего и не было нужно.

Несмотря на свою молодость, Аристофан быстро отеснял других комических поэтов и вскоре стал известен не только по всей Аттике, но и за ее пределы. Собратьям по искусству оставалось лишь завидовать его одаренности и плодовитости, а зрителям удивляться и восхищаться той страстностью, с которой он ратовал за возрождение «доброе старое время» и умеренной демократии «марафонских бойцов». Нередко он сам играл в своих комедиях в неприлично коротком, шутовском хитоне, в глупой, грубой маске вояки или простофили мужика, раздавая ошлеухи и сыпля рискованными шуточками. Доставалось не только корыстолюбивым и наглым политикам, в которых он видел основную причину военных бедствий, но также и тем, кого молодой поэт считал не менее виновным в тяжелом положении Афин, а именно — софистам и философам, всякого рода умникам вроде трагического поэта Еврипида, который, мол, роясь в записанных свитках, выуживая что-то в бесконечных книгах, считает себя вправе поучать афинский народ и навязывать ему свои вредоносные измышления. Аристофан прямо-таки ненавидел тех, кто выворачивает наизнанку вечные, по его мнению, истины и дедовские установления, играя с тем, чего и касаться-то недозволено. Ему был непонятен, казался вредным и опасным поиск смысла жизни, каких-то сущностных законов бытия; как и Софокл, он верил, что эти законы даны людям раз и навсегда и их долг лишь повиноваться им. Он считал, что такие, как Протагор или Еврипид, подрывают моральные устои афинского общества, развращают умы, и питал к ним нескрываемую неприязнь, которая возрастала с годами.

Вскоре после постановки «Пирующих» Клеон затеял против Аристофана судебное дело, обвиняя его в «оскорблении города перед лицом союзников», однако в качестве обвиняемого перед судьями предстал постановщик комедии Каллистрат и был оправдан. Но уже на следующий год дерзкий комедиограф опять выступил против все-сильного демагога, полный решимости продолжать ту борьбу с Кожевником, в которой он видел гражданский

свой долг и конец которой положила только смерть Клеона. В тот год (426), несмотря на тяготы войны и заметное оскудение казны, афиняне, как всегда, очень пышно справляли Великие Дионисии, в город со всех сторон съехались союзники для уплаты фороса, и в театре Диониса яблоку негде было упасть. Все было богато, благопристойно и чинно, волновались поэты, представляя на суд многочисленных зрителей свои новые творения, и каков же был гнев Клеона и его окружения, когда на просцениуме появился Аристофан со своими «Вавилонянами» — хором вавилонских рабов, в которых все сразу узнали афинских союзников. Словно подстрекая союзников к мятежу, поэт прямо говорил об их тяжелом положении, о жестоком обращении с ними афинских должностных лиц и прежде всего Клеона, которого он и в этот раз осмелел беспощадно и метко. После праздника Аристофан был опять привлечен к суду, на этот раз его обвиняли в том, что он незаконно присвоил себе право афинского гражданства, в то время как его отец был родом, мол, то ли с Эгины, то ли с Родоса или даже из Египта. Однако комедиограф опять был оправдан, по-видимому, за недостатком доказательств.

Аристофан был неодинок в своих симпатиях к «старинному отеческому строю», все больше афинян, измученных войной и междоусобными распрями, подавленных страхом, неуверенных в завтрашнем дне, приходило к мысли о том, что раньше жилось спокойней и проще. Как писал впоследствии Фукидид, «эта война затянулась надолго, и за время ее Эллада испытала столько бедствий, сколько не испытывала раньше в равный промежуток времени». Повсюду сторонники демократического образа правления боролись не на жизнь, а на смерть с приверженцами олигархии, но, в сущности, это была борьба различных группировок, власть и деньги имущих, — старинной землевладельческой знати и богачей новой формации, растущие доходы которых даже нельзя было сравнить с теми довольно урезанными благами (благами, все больше походившими на подачки), которые приходились на долю основной массы граждан, не говоря уже о тысячах и тысячах тех, что вообще не имели никаких прав, работая на рудниках, в эргастериях или прикованные пожизненно к корабельной скамье. Это несоответствие истинной сути вещей их пышному словесному обрамлению в речах популярных ораторов становилось все более заметным и влекло за собой, по мнению Фукидида, «чест-

ного гражданина на службе у полиса» и будущего великого историка, самые тяжелые последствия для судьбы самой демократии. Подобно многим другим образованным людям того времени (Протагору и Еврипиду в том числе), он, никогда не ставя под сомнение демократический строй как наилучший для развития каждого общества, не мог и не собирался мириться с тем, что демократические законы все больше служили прикрытием личных интересов недобросовестных и неспособных к управлению государством людей, вовлекающих народ в опасные политические авантюры.

Хотя афиняне продолжали справлять традиционные празднества в честь своих великих богов и послушно следовать изречениям оракула (так, повинувшись Дельфийцу, они очистили Делос, перенесли все гробы с покойниками и запретив на будущее хоронить и рожать на острове), немилость всевышних преследовала их. В 426 году мор снова обрушился на город и продолжался целый год. После этой болезни, унесшей много народа, и особенно простого, нравственность, казалось, была похоронена вместе с сотнями и тысячами афинских граждан. Теперь, когда каждый день можно было ожидать каких-то бед: эпидемий, землетрясений, вторжения спартанцев, политических репрессий или голода, когда никто не чувствовал себя в безопасности от доносов часто даже неведомых врагов и завистников, — представлялось совершенно нелепым хранить честность, порядочность и благородство души, любить ближних и чтить бессмертных богов. Золото, деньги становились понемногу единственной святыней, поскольку они одни казались чем-то надежным и твердым среди полного краха всех прочих традиционных ценностей: «...Движимое имущество, богатство, состоявшее в деньгах, рабах и кораблях, все более возрастало... оно стало самоцелью»<sup>1</sup>. Деньги становились главным мерилом по мере того, как свободный труд утрачивал былое значение. Раньше афиняне гордились тем, что, следуя героям Гомера, земледелием в Аттике занимались свободные люди, а не крепостные, как на Крите или в Спарте. Гесиод, воспевший священный труд земледельца, наверное, ни разу в жизни не усомнился в том, что «вечным законом бессмертных положено людям работать», и видел в этом величайшую мудрость богов:

Скрыли великие боги от смертных источники пищи:

Иначе каждый легко бы в течение дня наработал

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2-е, т. 21, с. 117.

Столько, что целый бы год, не трудясь, имел пропитанье.  
Тотчас в дыму очага он повесил бы руль корабельный,  
Стала б ненужной работа волов и выносливых мулов.

Фемистокл советовал освободить ремесленников от всяких налогов, чтобы тем самым побудить граждан к труду. Перикл с гордостью заявлял, что «сознаваться в бедности у нас не постыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом». До этой войны многие и богатые люди, имея дома в городе, жили в своих сельских поместьях, теперь же даже основная масса крестьян кое-как сводила концы с концами, расположившись лагерем между Длинными стенами и Фалером, поля были опустошены спартанцами, каждую весну вторгавшимися в пределы Аттики. Среди афинян росло презрение к физическому труду как уделу рабов, стремление жить праздно, но сытно, тяготение к роскоши, большинству недоступной, и зависть к тем, кто мог ее себе позволить. Общественное неравенство принимало все большие размеры, богатеющая день ото дня рабовладельческая верхушка афинского демоса все больше уподоблялась своим образом жизни восточным варварам, презрев традиционную умеренность предков, в то время как большинство простого народа испытывало нужду в самом необходимом.

Видевшие столько жестокости, обнищавшие и озлобившиеся за долгие годы военных тягот, чумы, постоянной угрозы вторжения спартанцев, афиняне в значительной мере утратили присущее им спокойное жизнелюбие, любознательность, веру в свои силы, сделавшись подозрительными и равнодушными даже к делам и заботам близких людей. Кризис полисной морали, традиционных устоев сопровождался таким падением общественной нравственности, что это не могло не ужасать людей честных и мыслящих, каких немало во все времена, а переоценка большинства былых ценностей воспринималась ими, и в частности Фукидидом, поистине катастрофически: «Извращено было по произволу общепринятое значение слов в применении к поступкам: безрассудная отвага почиталась храбростью... Человек, ничем не довольный, считался неизменно надежным, а тот, кто возражал ему, внушал подозрение; удачно устроивший козни признавался проникательным, а заранее постигший их еще более ловким». Казалось, что вот оно и сбылось, предсказанное когда-то Гесиодом, наступили те самые времена, которых он так опасался:

Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.  
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,  
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею  
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.

Однако в том-то и состоит секрет жизнестойкости каждого народа, что даже в самые тяжелые времена в душе его никогда не отмирает окончательно вечная вера в правду, тоска по ней, и среди самого мрачного упадка вдруг появляется человек, восстающий против лжи, устами которого словно заговорит пробудившаяся совесть, появляется, чтобы снова все расставить по своим местам и каждому слову, священному логосу древних, вернуть его изначальное значение. И таким человеком для афинян явился Сократ.

Сократ навсегда остался наиболее загадочной и спорной фигурой античной истории. Сам он ничего не писал, и поэтому судить о нем и его нравственно-философском учении можно только по свидетельствам современников, главным образом его верных и любящих учеников, философа Платона и историка Ксенофонта. Созданный ими собирательный образ Сократа почти символичен, но в нем все же проглядывают основные черты его личности и тот поиск выхода из мировоззренческого и морального кризиса афинского общества, который стал содержанием и смыслом вошедшей в легенду жизни этого необычного человека.

Сократ был давно известен как человек образованный, равнодушный к вещам и деньгам, любитель философских бесед. Еще в молодости, когда он посетил храм Аполлона в Дельфах, он вдруг словно заново увидел знакомое всем с ученических лет изречение, начертанное на храме светозарного бога: «Познай самого себя», и удивился тому, как открыто и просто указывается каждому смертному главная цель его размышлений и как никто, в сущности, не стремится этому указанию следовать. С тех пор он навсегда отошел, если верить свидетельствам древних, от натурфилософии (которой он обучался у Анаксагора и особенно у Архелая) и всецело обратился к тому сложнейшему, непознанному и непонятому миру, тому микрокосмосу, который заключен в каждом из смертных и порядок в котором, в сущности, и определяет бытие. Твердо веря в нерасторжимую связь всех явлений во вселенной, в целесообразность мира, Сократ был убежден, что людские пороки и добродетели также оказывают влияние на миропорядок, что жизнь души надо знать не

меньше, чем природу тех или иных земных и небесных явлений, поскольку она, душа человеческая, так же вечна, как мир, и является, может быть, его конечной целью и высшим смыслом.

Все эти мудрствования сына повитухи Фенареты были уже более или менее известны в Афинах — но мало ли Афины видели всякого рода умников! — однако теперь, в свои сорок лет, Сократ вдруг явил себя еще в новом качестве — своего рода обвинителем сограждан, призванным их, целиком озабоченных делами войны, политики и предпринимательства, остановиться на время, взглянуть беспристрастно в свой внутренний мир и навести там порядок. Как Сократ сам объяснял, он приступил к этому нелегкому делу, повинаясь велению бога: поскольку Дельфийский оракул на вопрос его приятеля Херефонта, есть ли на свете кто мудрее Сократа, ответил, что «никого нет мудрее», он должен теперь постараться и оправдать это свое предназначение, дотопе ему самому неизвестное, — быть мудрым и наставлять окружающих. С тех пор он и стал «испытывать» людей, доискиваясь до их сущности, утверждая, что некий дэмон (дух, сидящий внутри его) подсказывает ему истинную цену вещей и помогает определить, что хорошо и что плохо, что справедливо и что несправедливо. Этот дух отклоняет его, как говорил он об этом впоследствии, от того, что не должно, не следует ему делать, и в частности от занятий политикой: «Со мною приключается нечто божественное или чудесное... Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот голос и возбраняет мне заниматься государственными делами». Этот таинственный дэмон, как утверждал сын Софрониска, подсказывает ему также, что высшие нравственные ценности существуют, а раз они существуют, то до них надо докопаться, извлечь из нагромождений повседневности, очистить и положить в основу всей жизни человеческой.

Хотя по мнению многих сограждан, не слишком-то искусственных в философических тонкостях, сын Софрониска тоже был чем-то вроде софиста, сам он отнюдь не претендовал на знание истины, считая, что истина неуловима для смертных, однако усматривал определенную пользу в той просветительской деятельности, которую развернули в Афинах софисты: «По-моему, это дело хо-



рошее, если кто способен воспитывать людей, как, например, леонтиец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий». Он был несогласен с ними по многим вопросам (ведь недаром он предстает в знаменитых диалогах Платона вечно спорящим с софистами о самых различных вещах и понятиях), но их роднило стремление заполнить ту нравственную пустоту, в которой мало-помалу очутились афиняне, когда прежние идеалы были изжиты, дать людям точку опоры, чтобы они могли вновь обрести себя в этом вечно меняющемся, сложном и непонятном мире, дать им какое-то новое представление о жизни — «правильное мнение», ибо, как утверждал Сократ, «нет для человека зла опаснее, чем ложное мнение».

Бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом и толстыми губами (что само по себе уже не располагало к нему, ибо греки издревле привыкли отождествлять внешнюю некрасивость с каким-то внутренним моральным изъяном), Сократ стал завсегда-таем улиц, рынков и дружеских собраний. Задиристый, остроумный и насмешливый, он останавливал каждого, кого хотел, невзирая на возраст, положение, богатство и общественную значимость, и ставил этого человека в тупик своими вопросами, заставляя признать, что он не тот, за кого себя выдает и кем его привыкли считать сограждане. Это было словно какое-то волшебство: «испытываемые» нередко раздражались, но ничего не могли поделать и оказывались во власти загадочной манеры Сократа разговаривать — доверительно, дружески и одновременно иронически, и в конце концов вынуждены были согласиться с тем, что они неискренни, несправедливы, немудры и не правы в большинстве случаев. Повторяя, что сам бог дал ему право всех учить, Сократ заставлял каждого явить свое истинное лицо, и это очень многим не нравилось. И казалось удивительным, что неимущий, незнатный и уродливый, совсем не заботящийся ни о себе самом, ни о своей семье, он присвоил право считать себя выше всех остальных, и никто — хотя многие злились и обижались на его приводящие в замешательство вопросы, — никто не может этому воспрепятствовать.

Однако находилось немало и таких, особенно среди молодежи, которые чувствовали в его «учении» глубокую, пусть не до конца понятную, но несомненную правду; им казалось, что Сократ, никогда не бравший денег со своих учеников, может дать им объяснение мира, в котором они так нуждались, и они валом валили за ним,

так что он всегда был окружен толпой восхищенных молодых почитателей. Причем это были сыновья богатых и знатных граждан: и они, которым не надо было заботиться о хлебе насущном, начинали пошнему тяготиться внутренней пустотой своей жизни, несмотря на ее кажущееся разнообразие, и пытались нащупать в своем бытии какой-то оправдывающий его несообразности смысл. Так, среди его учеников был красавец Алквиад, наделенный, казалось, всеми совершенствами, какие только боги могут даровать смертному, к нему Сократ чувствовал особенную привязанность, и прекрасный юноша платил ему тем же. Все они, в достаточной степени образованные, были более или менее знакомы с существовавшими тогда объяснениями мироздания, но это ничуть не уменьшало все нарастающую в их душах неудовлетворенность. И Сократ, утверждавший, что, следуя Дельфийскому оракулу, прежде всего человек должен познать самого себя, помогал им разобраться в своем внутреннем мире, заглянуть в глубь своей души и там поискать ответа на многие из снедавших их сомнений. Молодежь привлекало то, что Сократ твердо верил в высшие ценности, в благо и красоту человеческой жизни, постигнуть которые можно только трудным путем внутреннего самосовершенствования. Он верил в совесть, справедливость, искренность людей — в то, что уже почти исчезло у афинян или же проявлялось крайне редко. Он считал первым долгом воспитывать у своих учеников добродетель, которую ставил выше знания, но, как оказалось впоследствии, его бесед было для этого недостаточно. И если одни из его учеников (и прежде всего Аристокл, вошедший в бессмертие под именем философа Платона, или же историк Ксенофонт) не посрамили своего великого учителя на поприще служения Музам, то другие, Алквиад и Критий, один из будущих палачей афинской демократии, явились косвенной причиной его осуждения и гибели. Разгуливая по городу, словно воскресшая совесть потомков Тезей, воплотившаяся в невзрачном теле Силена, появляясь в палестрах и банях, на пирах и собраниях, сын Софрониска говорил людям то, что в общем-то они и сами отлично понимали, но не имели смелости в этом признаться...

Все это, в сущности, каждый год на празднике Диониса говорил согражданам и сын Мнесарха (недаром их объединил спустя несколько лет Аристофан, подвергая безжалостному осмеянию все попытки разобраться в

сложнейшей природе человеческой совести и души), не знавший уже, где и в чем искать объяснение тому, что «реки священные вспять потекли, правда и все поворачивается в обратную сторону». Количество подлецов, тех, что имеют два голоса — «один для правды, а другой для лжи», ужасало старого поэта, и он восклицает в бессильном гневе, все еще не в силах поверить, что справедливость, честность и доброта ничего не значат в этом мире:

О род людской, как низко ты способен пасть!  
Предела нет бесстыдству, никаких границ  
Не знает наглость. Если так и впредь пойдет  
И с каждым поколением все испорченной,  
Все хуже будут люди, землю новую  
В придачу к старой боги сотворить должны,  
Чтобы для всех злодеев и преступников  
Хватило места!

Твердо веря (и эта вера была ему самому непонятна, необъяснима рационалистически) в вечные истины и непреложные ценности, в то, что «нет для неправды прочного успеха, но правде и надежда верный друг», Еврипид выступает в своих трагедиях с развернутой проповедью высшей нравственности, защищая все то же самое, что отстаивал в своих беседах Сократ. Человек своего времени, он был далек от понимания глубинных общественных истоков столь возмущавшей его коррупции и деградации и не мог объяснить того, что творилось вокруг него, ничем, кроме как несовершенством самой человеческой природы, тем, что люди изначально делятся на «злых» и «добрых»:

...Порочный только злым  
И может быть. А добрый — только добрым:  
Несчастья не властны извратить  
Природный дар...

Прилежный последователь Анаксагора и почитатель Гераклита, всегда считавший разум и знание высшим достоянием и благом человека, в свои пятьдесят пять лет сын Мнесарха воочию убеждается в том, какая разрушительная сила заложена в «злом уме», начинает сомневаться в безусловной благотворности знания и больше ценить чистоту сердца и помыслов:

Сама богиня Чести орошает луг  
Речною влагой. И лишь тем дозволено  
Срывать его цветы, кто от природы чист,  
А не учепьем благо чистоты обрел.

Но, как это вообще было свойственно для Еврипида, и в этом вопросе, который, вероятно, не раз со всем пылом своей мятежной души он обсуждал с Протагором, он постоянно вступает в противоречие сам с собой: то он утверждает, что доброта, благочестие, справедливость заложены в человеке от рождения, они или есть, или их нет, и тут уж ничего не поделать. То, соглашаясь с Протагором (утверждавшим, что «добродетель не считается врожденной и возникающей самопроизвольно, но что ей научаются, и если кто достиг ее, так только прилежанием»), Еврипид уповает на воспитание, надеясь, что можно хоть чем-то направить течение человеческой жизни по более правильному руслу:

Дается совесть добрым воспитаньем;  
Стыдится муж, постигший добродетель,  
Стать негодяем.

Порой он склонен считать, что все люди эгоистичны и жестоки по природе, что, «кто несчастен, к счастливому всегда жесток, ему за прошлые свои он слезы платит». Однако, отбросив умозрительные построения и оглядевшись вокруг трезвым взглядом, поэт вынужден с горечью признать, что все обстоит гораздо проще: людей портят власть и деньги, то несправедливое, обманом и несправедливостью нажитое богатство, к которому безудержно, позабыв стыд и совесть, рвались столь многие его соотечественники. Им, теперешним хозяевам Афин, были глубоко безразличны поучения праздношатающегося бездельника Сократа и выпревшие тирады сына торговца Мнесарха, который, хотя и любил порицать в своих заушных трагедиях богатых людей, сам был далеко не беден и, кажется, не слишком щедр. Им, о которых поэт с горечью писал, что такие всегда, при любом повороте судьбы, остаются наверху, им надо было проворачивать большие дела, покупать, продавать и обманывать, притворяться то таким, то другим, быть точно таким, каким нужно в каждый данный момент, а непригодные для трудностей жизни могли утешать себя виршами Еврипида:

Дороже самой жизни совесть чистая,  
А негодяя время, словно зеркало,  
Девиц отрада юных, в надлежащий час  
Изобличит...

Но так как его персонажи этих лет зачастую являли собой образец того, каким не должен быть человек, но

каким он, к сожалению, в большинстве случаев бывает, сограждане, не желая узнавать себя в этих образах, по охотно и с легкостью отождествляя их с самим поэтом, все чаще упрекали его в безнравственности. Так, существует версия, что где-то в это время Еврипида преследовал Клеон, разглагольствовавший, по-видимому, за философскими сентенциями и мифологическими аллегориями самоуверенного слуги Аполлона инвективы против своей собственной персоны и выдвинувший против него уже ставшее традиционным обвинение в «нечестии». В другой раз Еврипида заставили снять с постановки трагедию «Иксион», как вредоносную для общественных нравов, поскольку ее герой, редкий злодей, возводил несправедливость в принцип и дерзкими софизмами (в нем явно чувствовался примерный ученик Протагора, в совершенстве овладевший мастерством «делать неправое слово правым») опровергал все понятия о добродетели и долге. Большинству зрителей, далеких от понимания психологической сложности и внутренней диалектики его поэзии, трагедии сына Мнесарха казались сотканными из хитросплетений, при помощи которых поэт, как и его ужасные персонажи, оправдывает собственные дурные поступки, выдавая ложное и безнравственное за истинное и моральное.

Особенно он раздражал Аристофана, оказавшегося, при всем его таланте и уме, при оценке Еврипидовых трагедий ничуть не выше тех вчерашних пахарей, ремесленников или матросов, которым были непонятны и подозрительны бесплодные попытки «философа на сцене» проникнуть в загадки жизни людской. Молодой комедиограф, так же как и большинство его сограждан, не признавал за сыном Мнесарха права чему-нибудь учить афинский народ, поскольку ему самому, мол, так и остался непонятен высший смысл трагедийного искусства — «наставлять добру и пути», о чем он постоянно напоминал Еврипиду при жизни и повторил еще раз, подводя черту многолетней тяжбе (тяжбе, по-видимому, односторонней, так сказать, возмущенному монологу) в своей комедии «Лягушки» уже после того, как мятежный духом ученик Анаксагора и почитатель Гераклита навсегда завершил свой поиск добра и смысла на этой земле:

Счастлив тот, в ком ясный ум,  
Мудрость, опыт, дух прямой,  
Вправе он толпу учить.

\* \* \* \* \*

Не сидеть у ног Сократа,  
Не болтать, забыв про муз,  
Позабыв про высший смысл  
Трагедийного искусства —  
В этом верный, мудрый путь...

Во время Лены 425 года Аристофан поставил своих «Ахарнян», где впервые вывел на сцену карикатурную фигуру «сына торговки зеленою», одержимого невероятным самомнением и манней всех поучать. Это была пьеса о мире и войне (тема, ставшая для Аристофана главной на долгие годы): жители дема Ахарны, углежогои, «люди твердые и грубые, как дубы», ненавидят спартанцев, разоривших их виноградники, и даже слышать не хотят о мире, к которому призывает земляков Дикеополис, что значит Справедливый. (Поскольку дем Ахарны подвергся в числе первых вражескому опустошению, все как в Афинах, так и в Спарте были уверены, что «ахарняне не потерпят разорения своего имущества и станут подстрекать всех граждан к битве»). Они решают побить миролюбца камнями, но тот хватает столь драгоценную для ахарнян угольную корзину и грозит «умертвить ее мечом», если они не оставят его в покое. При этих грозно-шутовских словах многие из развеселившихся зрителей не могли не вспомнить, хоть тому и минуло больше десяти лет, еврипидовского царя Телефа, который, выхватив из колыбели маленького Ореста, также грозился «умертвить его мечом», если Агамемнон его не выслушает. И даже тем, кто не видел или не помнил «Телефа», стало совершенно ясно, на кого решил ополчиться в этот раз благородный комедиограф, когда на сцене появился и сам Еврипид — худой и высокий, в довольно похожей, хотя и в высшей степени шаржированной маске, с длинной клочковатой бородой. Намереваясь неузнанным проникнуть к ахарянам, Дикеополис решает переодеться и просит Еврипида, как всегда погруженного в размышления, угрюмого и подозрительного, дать ему рубище «пожалче», из тех, в которые поэт наряжает своих героев.

Вся эта сцена, как и ряд других, была откровенной пародией на драматургические приемы Еврипида, на мотивы его сюжетов, на стиль и язык его трагедий, и каждый, кто был знаком с поэзией «сына торговки зеленою», без труда узнавал в блестящих гротесках Аристофана те или иные моменты из его произведений. Вот Дикеополис просит раба Еврипида вызвать хозяина из дома по важному делу:

Дикеополис: Эй! Эй!

Раб: Кто там?

Д.: Что, дома Еврипид-поэт?

Р.: И дома и не дома, как поймешь — пойми!

Д.: Как дома, раз не дома?

Р.: Право так, старик.

Душою за стихами он гоняется, —

Не дома. Сам же дома, ноги вверх, творит трагедии.

Еврипид, витающий в высших сферах, наотрез отказывается сойти вниз и поговорить с Дикеополисом, но, уступая его настойчивым просьбам, разрешает выдвинуть себя из комнаты. Под дружный хохот зрителей его выкатывают на экикклеме: трагик возлежит на высоком ложе, вокруг навалены рукописи, театральная бутафория и костюмы. Он дает мужику костюм Телефа, бутафорскую шапку, посох и щербатую кружку, но Дикеополис все никак не отстает:

Слушай, Еврипид любезнейший,

Одно лишь дай! Уйду и не приду назад.

Дай мне в корзинку зелени немножечко.

О Еврипидак! Славный, милый, сладенький!

Пускай погибну, если попрошу потом!

Еще одно, еще одно, еще одно!

Дай мне капусту, попроси у матери!

И очень может быть, что при этих ехиднейших словах многие повернулись к Еврипиду, сидящему тут же, в театре, — «поэту нищих», «поэту бродяг», и сыну художественного Мнесарха, мелкого дельца и должника, оставалось или уйти, или же, сохраняя внешнюю невозмутимость, слушать и смотреть, как кривляется в его одежде и облике долговязый актер, Филонид ли, Калликрат ли, глумясь над его матерью.

Впрочем, создатель «Телефа» был лишь эпизодической фигурой в этой новой комедии поборника «отеческого строя» — главный удар он обрушил на тех, кто раздул и продолжает раздувать «такую войну, что от дыма все греки заплакали», на тех, что сотрясают воздух в Народном собрании лживыми речами, от которых в ужасе бежала Ирена — богиня мира, между тем как народ вот уже восьмой год ютится в бочках, землянках и погребах. Считая виновными в бедах отечества всех тех, кто, по его мнению, способствовал разрушению стародавского образа жизни — Перикла, Аспасию, Фидия, — Аристофан так представляет начало Пелопоннесской войны:

Но раз в Мегаре пьяные молодчики  
Симетту, девку уличную, выкрали  
Мегарцы, распаленные обидой,  
Двух девок тут украли у Асиасии.  
И вот причина распри междуаллинской:  
Три уличные девки...

Не боясь удара ножом из-за угла — мести торговцев  
паклей, овцами и шерстью, он клеймил тех, кто, по его  
мнению, спавает и подкупает послов, держит в рабском  
подчинении союзников, по чьей вине голодающий мегарец  
продает двух своих дочек вместо поросят для жертво-  
приношения: «За связку чеснока продам одну тебе, за  
соли горсть другую. Что, недорого?»

Комедия, получившая первую награду, завершается  
тем, что Дикеополис, один заключивший мир со Спартой,  
сытый, подвыпивший и довольный, справляет домашние  
Дионисии в обществе двух уличных красавиц, а вояка  
Ламах, буйан и хвастун, призванный для борьбы со спар-  
тадцами, упорствующими в своем желании войны ахар-  
нянами, стонет и мучается от рап, полученных в неудач-  
ном сражении. И опять, как и в прошлых комедиях, бес-  
страшный в своем праведном гневе комедиограф бросает  
вызов «наглеющему из граждан», по вине которого Афи-  
ны пододвинулись еще ближе к той черте, за которой  
начиналась другая, далеко не такая славная страница их  
истории:

Поднимайся ж, Клеон, на борьбу выходи.  
Строй мне козни свои, клеветой грози!  
Справедливость и правда — союзники мне.  
С ними в бой я иду, и не скажет никто,  
Что родному народу, как ты, я служу,  
Трус, подлец, негодяй и бесстыдник!

И кажется непонятным, почему благородный Аристо-  
фан был так нетерпим в отношении Еврипида, всю жизнь  
страдавшего от осознания общего людского страдания:  
оба они ненавидели одних и тех же врагов, своих врагов  
лично и врагов афинского народа, оба они звали к миру,  
умеренности и милосердию с той лишь только разницей,  
что молодой, полный дерзкого задора комедиограф еще  
верил в свои силы, в возможность одолеть правдивым,  
страстным словом обман и зло, а престарелый трагиче-  
ский поэт уже начинал в этом сомневаться...





#### ВО ВЛАСТИ АРЕСА

Между тем дела принимали как будто бы благоприятный для афинян оборот, несмотря на затмение солнца в 425 году и небольшое землетрясение, что могло быть истолковано как проявление немилости богов. Как раз в это время в Спарте снова начались волнения илотов: воспользовавшись этим, афиняне предприняли новый морской поход к берегам Пелопоннеса под командованием стратега Демосфена и захватили Пилос, этот самый древний в Элладе мифический город старца Пелея, воспетый Гомером, откуда, если верить преданиям, культура распространилась по всей греческой земле. Хотя афиняне считали себя в родстве с тем искусным во многих ремеслах народом, который был завоеван когда-то дорийцами, это не помешало им разграбить Пилос почти дочиستا. Узнав о захвате Пилоса и творящихся там грабежах и насилиях, основные отряды спартанцев покинули Аттику и поспешили на Пелопоннес. Измотанные тяготами последних нескольких лет, спартанцы предложили заключить перемирие на год и начать переговоры о прекращении войны на более выгодных для афинян условиях. Однако предложение это было отвергнуто: в Афинах было немало сторонников продолжения войны до по-

бедного конца, поскольку сгруппировавшаяся вокруг Клеона состоятельная верхушка афинского демоса, купцы и хозяева эргастерий, извлекали пока немалые прибыли из расширения влияния города в эллинском мире и убеждали тех, кто начинал выражать сомнения в целесообразности продолжения военных действий, в том, что понесенные потери сторичей окупятся после победы над пелопоннесцами.

На следующий год афиняне захватили мегарскую гавань Нисей и остров Кифера у южного побережья Лаконики, эти новые успехи укрепили решимость сторонников войны сокрушить пелопоннесцев и сделали почти непререкаемым авторитет Клеона.

Вдохновленные удачами, афиняне решили предпринять новую экспедицию к берегам Сицилии, куда два года назад уже посылались двадцать кораблей во главе со стратегами Лахетом и Харедоном, чтобы разведать, нельзя ли будет подчинить этот прекрасный остров, богатства которого давно уже манили афинских политиков. Покорение Сицилии, этой житницы Средиземноморья, могло бы надолго разрешить те трудности с хлебом, которые возникли в Аттике после того, как так называемая «понтийская хлебная дорога» в Северное Причерноморье стала опасной и ненадежной из-за неверности бывших союзников и происков персов. Поскольку своего земледелия в разоренной бесконечными войнами Аттике уже почти не существовало, недостаток зерна ощущался все заметнее, и это склонило на сторону сицилийской экспедиции даже наиболее осторожных в Народном собрании. Во главе экспедиции был поставлен стратег Никий, который пытался как-то сдерживать рост могущества Клеона и очень мешал ему в Афинах. Сицилийские города, до этого враждовавшие между собой, поспешили прекратить междоусобицы и объединиться, чтобы не стать легкой добычей афинян. Экспедиция потерпела полную неудачу. К этому добавилось поражение в Бэотии, где сторонники народовластия обратились к афинским стратегам Демосфену и Гиппократу с просьбой помочь им «изменить у себя государственное устройство и обратить его в демократию». Те согласились и заняли Делий, храм Аполлона в Танагре, который и должен был стать опорным пунктом для беотийских демократов. Однако сторонники аристократии наголову разбили афинян у Делия, надолго предотвратив установление демократии в этой греческой области и ослабив еще больше позиции Афии.

С возрастом Еврипид, целых сорок лет верно служивший отечеству, куда бы оно его ни послало, начинае понемногу отходить от ратных дел, но война, затянувшаяся на четверть века, уже стала для него, как и для всех остальных греков, тем, что навсегда определило его жизнь, мировоззрение и всю дальнейшую судьбу. Они все пребывали теперь во власти грозного бога Ареса, принося ему с каждым годом все большие и большие жертвы. В Афинах как будто бы продолжалась прежняя жизнь, во всяком случае, каждый пытался поддерживать свой привычный уклад, но никто уже не принадлежал сам себе. Все строили какие-то планы — кто приобретательские, кто творческие, но в глубине души многим уже было ясно, что перед ними стоит лишь одна основная задача — выжить. Ставший к старости еще более нелюдимым, сын Мнесарха все чаще проводил то время, которое принадлежало только ему, а не городу, в полном уединении, тем более что близких ему по духу людей почти не осталось. Существует версия, что в эти годы он был дружен с Фукидидом, сыном Олора, который также слушал в молодости лекции Анаксагора, считался учеником софистов, безбожником и стремился объяснить течение человеческой жизни, исходя из законов разума, отрицая судьбу и промысел богов. И хотя свой великий труд, «Историю пелопоннесских войн», Фукидид написал тогда, когда их пути навсегда разошлись, те идеи и концепции, которые легли в основу книги, зрели у будущего историка уже в Афинах, крепили и приобретали окончательные очертания в общении с единомышленниками. Так же, как и Еврипид, сын Олора всегда оставался по своему духу человеком «Периклова века», рационалистом; их роднило и объединяло убеждение в том, что «человеческая природа остается одной и той же» и в ее особенностях следует искать причину многих зол и бед, происходящих в мире.

Как свидетельствуют античные авторы, Еврипид был в дружеских отношениях и с Сократом, с которым, возможно, сблизился еще в то время, когда они оба были слушателями Анаксагора и изучали натурфилософию у Архелая. По словам античного писателя Элиана, Сократ «любил этого человека за мудрость и нравственный тон его произведений» и, вообще-то не признававший театра, каждый раз ходил пешком из Пирея, где он жил, на представления трагедий Еврипида. Комедиографы уверяли даже, что он помогает сыну Мнесарха писать его заумыше

произведения: «Гвоздем Сократа Еврипид сколоченный», «Фригийцы» — имя драмы Еврипидовой, Сократовыми фигами откормленной», «Для Еврипида пишет он трагедии, в которых столько болтовни и мудрости», — наперебой изощрялись они в шутках. Впрочем, кажется, и Сократу казались порой чересчур откровенными те или иные моменты в трагедиях его наделенного слишком уж беспокойной и страстной душой приятеля, и тогда он просил его вычеркнуть хоть несколько наиболее рискованных строк. И эта симпатия, глубочайшее взаимное доверие объяснимы и понятны: оба они, и немногоречивый сын Мнесарха, чуждавшийся шумных компаний и всякого рода сборищ, и ироничный, бесцеремонный философ с внешностью козлоногого Пана, проводивший свои дни в многолюдстве афинских улиц, оба они искали, каждый по-своему, «науку жизни человеческой» и пытались извлечь из окружающих ту истину, которая, в чем они были непоколебимо уверены, заложена в каждом из смертных. Законы природы, загадки Космоса — все то, над чем бились философы, начиная от ионийских мудрецов, казалось уже более или менее известным и не особенно волновало, непонятым же оставалось по-прежнему одно — как нужно жить, чтобы быть человеком и притом человеком хорошим, жить в ладу с самим собой и с другими людьми. Оказалось, что знания — это еще не все, что они не в состоянии спасти общество, где подточены моральные устои, от надвигающейся катастрофы и что понимание справедливости, честности и человечности значит не меньше, если не больше, чем знакомство с учением о неделимости атомов. Вот эту-то главную истину и стремились донести до сограждан Еврипид с просцениума театра Диониса и Сократ в своих спорах на площади, в палестрах и банях, создавая эту нравственную философию, недостаток которой ощущался все острее в постепенно деградирующем обществе рабовладельческих Афин.

Однако афинянам очень не нравилось, и с каждым годом все больше, что эти два человека, не имеющие в общем никакого общественного положения и особых заслуг перед городом, самовольно присвоили себе роль общественных обвинителей и считают себя вправе постоянно уличать сограждан в обмане, фальши, несправедливости, жестокости и корыстолюбии, причем в трагедиях Еврипида это выходило, пожалуй, еще оскорбительней и высокомерней, чем в речах Сократа. Всем было прекрас-

по известно, что на вопрос Херефонта: «Кто самый мудрый в Афинах?» — Дельфийский оракул ответил: «Софокл мудр, Еврипид мудрее, но самый мудрый Сократ». Никто и не собирався оспаривать изречение оракула, все были совершенно согласны, что оба они, и Еврипид и Сократ, чрезвычайно умны, но это отнюдь не значило, что они были нужны городу, и им все чаще и чаще давали это понять, особенно самонадеянному сыну Мнесарха.

Стократно преувеличенные досужей молвой, ползли по городу слухи о том, что Еврипиду, мол, не надо много придумывать, когда он в своих безнравственных пьесах изображает чувства обманутых мужей, Тезея или Протея, ибо он сам такой: жена Хирила не отличается особой добродетелью и излишне свободно проводит время, пока он день и ночь читает свои книжки... Болтали, что он скуп до безобразия, хотя имеет средства, что дома он всех заел своим сварливым нравом, что, мол, Кефиссфонт дописывает за Еврипида его заумные трагедии... Действительно, его уже почти ничто не связывало к этому времени с женой, он не мог найти общий язык и с тремя своими сыновьями: Мнесархидом, который стал купцом, как и его дед по отцу, Мнесилохом — актером, как и дед по матери, и младшим, Еврипидом, пошедшим по стопам отца и уже пробовавшим свои силы в поэзии. Возможно, он сам отдалился от них, когда дети выросли, довольно безразличный к их повседневным заботам, слишком уж погруженный в бесконечное море познания и творчества. Во всяком случае, какое-то неудовлетворение детьми проскальзывает то тут, то там в его поэзии:

И тот,  
По-моему, смертный счастлив,  
Который, до жен не касаясь,  
Детей не рождает; такие  
Не знают люди, затем что  
Им жизнь не сказала, сладки ль  
Дети отдам, или только  
С ними одно мученье...

Круг близких становился все уже, но, может быть, старый поэт и философ не особенно печалился об этом: к несчастью для себя и для близких, он был не из тех, кто умеет прожить свой век, наслаждаясь каждым днем и каждым часом быстротечной человеческой жизни и радуя других. Он пришел в этот мир, чтобы осмыслить его или, по крайней мере, попытаться это сделать, забывая

при этом и о себе самом, и о тех, кого он любил и с кем был связан нерасторжимыми узами крови. Главным для него всегда оставалось служение долгу, своему жизненному предназначению, своей «добродетели» так, как он ее понимал, и он мог сказать об этом служении то же самое, что говорил платоновский Сократ: «И пусть другие презирают тебя, считая глупцом, пусть оскорбляют, если вздумается, пусть даже бьют, клянусь Зевсом, — переноси спокойно и позор и побои: с тобою ничего не случится дурного, если ты поистине достойный человек и предан добродетели...»

Одиночество становилось его уделом по мере того, как умирали и уходили друзья, утихали страсти и охладевали женщины. Творчество делается последним прибежищем, придает его жизни не поддающийся объяснению смысл, и стареющий поэт целые дни проводит за свитками, погружаясь в нескончаемый мир, созданный творческим воображением — и своим собственным, и предшественников, мир, оказавшийся более долговечным и ценным, чем окружавшая его реальность. Неугомонный Аристофан смеялся, что Еврипид, мол, выцеживает из массы прочитанных книг своего рода экстракт для своих заумных пьес, сидит над каждой строчкой по три дня, выворачивая наизнанку обычные слова. И правда, писал он трудно, подолгу вынашивая замысел, отделяя каждую строфу, стремясь к тому, чтобы сделать свои трагедии столь же совершенными, как храмы и статуи Акрополя — бессмертные творения великих мастеров «Периклова века», навсегда закотившегося за горизонт неумолимого времени. Как-то в разговоре с трагическим поэтом Акестором он пожаловался, что в последние три дня ему удалось написать только три стиха. На что довольный Акестор похвалился, что он за это время может без труда написать сто стихов, и тогда не затрудняющий себя излишними церемониями сын Мнесарха заметил: «Но между нами есть разница — твои стихи пишутся только на три дня, а мои навсегда».

В эти годы он пишет «Геракла», который открывает новый период в его творчестве — период печального расставания со многими из тех надежд и иллюзий, что долгие годы питали его свободный и гордый дух. Любовь отодвигается в его трагедиях на второй план по мере того, как остывает беспокойное сердце поэта, война становится его главной темой, и трактовка ее меняется с каждым годом. Как и многим другим просвещенным афинянам, эта война представлялась ему какое-то время как

неизбежная и справедливая борьба всего передового и нового, что несла с собой афинская демократия «Периклова века», со всем косным и отсталым, символом чего долгие годы была для него Спарта. Он отвечал на призывы Перикла страстным патриотизмом своих хоров в целом ряде трагедий, и даже в «Андромахе», поставленной в 425 году, еще чувствуются отзвуки официального лозунга «защиты отечества». Хотя в центре ее действия обычное для Еврипида столкновение страстей, соперничество двух женщин, бывшей троянской царицы Андромахи (жены убитого Гектора), доставшейся при дележе добычи ахейцу Неоптолему, и его законной супруги, спартанки Гермियोны, эта трагедия не о любви и ревности, а о страшной участи потерпевших поражение. Война ощущается здесь как грозное дыхание современности, тревожное состояние героев трагедии — это то состояние предчувствия беды, в котором пребывало в эти годы большинство соотечественников Еврипида:

По городам и весям Эллады звучат  
Матерей тяжелые стоны.

.....  
Вся терпит Эллада, вся терпит:  
На злачные нивы ее  
Анд напустил,  
Анд свою черную бурю...

В самых черных красках рисует здесь поэт образы спартанцев: жестока, надменна, бездушна и по-женски непривлекательна Гермiona, стремящаяся уничтожить в отсутствие Неоптолема беззащитную Андромаху и рожденного ею ребенка; мало в чем уступает сестре ее двоюродный брат Орест, которому она была когда-то обещающа и который увозит ее с собой, спасая от гнева свекра, мудрого старца Пелея, вставшего на защиту рабыни и внука. Настоящим злодеем выглядит вероломный и жестокий Менелай, отец Гермियोны. Поэт не отказывает себе в удовольствии еще раз пройтись насчет того воспитания, которое получает спартанская молодежь, насчет их грубого образа жизни.

Однако уже в «Гекубе», поставленной годом позже, он многое видит иначе. Море жестокости, крови, насилия, затопившее Элладу, разлилось уже так широко, что в нем почти не были различимы те первоначальные доводы и аргументы, которыми сторонникам войны удавалось поддерживать боевой дух и уверенность в своей правоте у всех афинян. Слишком большой оказывалась цена, ко-

торию приходилось платить за торжество идеалов рабовладельческой демократии, торжество, которое все больше приобретало черты поражения. Побывавшему во многих сражениях этой ужасной войны Еврипиду становилось все более ясно, что греки погубят друг друга и обескровленная междоусобными распрями Эллада станет легкой добычей со всех сторон окружающих ее варваров:

Эллада, Эллада, каких  
Могучих сынов ты теряешь!  
Каких защитников губишь!

Перед угрозой взаимного уничтожения все больше казались не такими уж важными различия в образе правления и обычаях, и спартанские матери оказывались такими же жалкими, беззащитными, осиротевшими старухами, как и афинские, беотийские, фессалийские, аргосские матери, как Гекуба, бывшая троянская царица, брошенная судьбой и людской жестокостью на самое дно страданий:

. . . . . Но стонут и там,  
На тихом Евроте,  
Верно, спартанки:  
Стонет и плачет терзает  
Дряхлой рукой терзает  
Мать гам косы седые,  
Щеки терзает, а кровь  
По пальцам с ногтей струится.

С этого времени поэзию Еврипида наполняют скорбные тени бесчисленных жертв человеческой несправедливости и жестокости, тех, кого погубила древняя распра из-за прекрасной Елены, и тех, что гибли, невинные и безымянные, каждый день по всей Греции. И Гекуба, потерявшая все, что она имела, схоронившая всех своих близких, дряхлая беззащитная рабыня хитроумного Одиссея, и ее внучонок Астинакт, жалкий пленец меднобронного Гектора, сброшенный победителями с башни, — это были те жертвы грозного бога войны, мысль о которых не давала покоя поэту и которые стали для него символами безмерного, поистине вселенского страдания. Ничем нельзя было ни объяснить, ни оправдать гибель детей — нежного цвета эллинства, его надежды и будущего, и Еврипид все больше склоняется к мысли, что войну надо немедленно остановить, пусть даже ценой уступок спартанцам. Он все чаще взывает к разуму и доброй воле своих соотечественников, убеждая их прекратить братоубийственную бойню:



Мечь породила мечь  
И бойню бойня,  
Но избавление от тяжких бед  
Бессмертные даруют смертным, —  
Все в их руках.

Это было тут же замечено, и прежде всего теми, кто любой ценой, даже ценой уничтожения доброй половины своего народа, стремился удержать власть в Афинах и влияние в Греции, и начиная с постановки «Гекубы» Еврипиду все чаще вменяют в вину не только безнравственность и пагубное свободомыслие, но еще и лаконофильство, предательство афинских интересов. А это обвинение было посерьезнее всех прежних, особенно в той обстановке, которая складывалась в 20-е годы в Афинах, когда немало граждан, обвиненных в измене, поплатились за это изгнанием и даже самой жизнью.

Под влиянием военных неудач последних двух лет в городе резко обострились внутренние разногласия: сторонники умеренной демократии, а также все более громко выражавшие свое недовольство аристократы требовали заключения мира со Спартой и упорядочения дел в государстве, в то время как Клеон и его приверженцы всеми силами стремились удержаться у власти. Чтобы как-то поправить пошатнувшееся финансовое положение города, по предложению Клеона были введены новые налоги и почти вдвое увеличен фторос союзников, и в то же время, чтобы хоть как-то поддержать нищающий вследствие военных тягот демос, была доведена до трех оболов в день оплата должности гелиаста — присяжного в суде. Поскольку к этому времени служба на какой-то государственной должности и особенно место присяжного стали для многих афинских граждан единственным источником дохода, их добивались всяческими способами, не брезгуя ни подкупом, ни обманом, ни клеветой на предполагаемых соперников. Как писал в связи с этим где-то около 425 года неизвестный автор «Государственного устройства афинян», в эти годы афинянам приходилось разбирать столько частных и государственных процессов, «сколько не разбирают и люди вообще». Эта полугодовалая армия присяжных, «граждан из фратрии трех оболов», как не замедлил окрестить их Аристофан, становится все больше позором и посмешищем Афин. Они кажутся вездесущими, и один из героев неугомонного комедиографа не верит тому, что перед ним карта Аттики и Афин, поскольку не видит на ней афинских присяжных: «Пу-

стяки, не верю я: присяжных здесь не видно заседа-  
телей».

Используя свое влияние в собрании и обманывая на-  
род, демагоги возвышали своих приверженцев, раздавая  
должности случайным людям, часто невежественным и  
непорядочным, и преследовали, изгоняли и даже уничто-  
жали людей умных, образованных, энергичных и потому  
опасных для них. Стратеги были вынуждены исполнять  
решения, которые им навязывали, которых они не одоб-  
ряли и которые в большинстве случаев вели к новым  
утратам и поражениям. Стремясь удержаться у власти,  
ставшей для них источником обогащения, демагоги вся-  
чески потворствовали той массе обнищавшего, усвоивше-  
го паразитическую психологию люда, который скучился в  
Афинах, и вовлекали его во все новые и новые опасные  
политические авантюры. Мнением же сельских жителей,  
больше всех страдавших от войны, они особенно не инте-  
ресовались. Народное собрание все больше превращалось  
в говорильню, где, как писал Аристофан:

Сидят бараны, головы уставивши,  
В овечьих шурах, с посохами длинным.  
И крокодил баранам этим держит речь,  
Зубами отвратительными язгая,  
Визжа как боров под ножом убойщика.

Эти крокодилы, и первый среди них — Клеон, не  
очень-то церемонились с валяльщиками, башмачниками,  
плотниками, кузнецами, рыночными торговцами, из ко-  
торых, как писал по этому поводу Ксенофонт, состояло  
Народное собрание, не жалели ложного пафоса и несбы-  
точных обещаний, добиваясь одобрения своим замыслам  
дальнейших захватов и расширения афинского влияния в  
эллинском мире.

В смутном предчувствии катастрофы все больше пат-  
риотически мыслящих граждан выступали против бес-  
смысленной братоубийственной распри и пытались хоть  
как-то противостоять губительной для Афин политике де-  
магогов, и прежде всего Клеона, стремясь спасти обще-  
ство от полного разложения. Все чаще умы обращались  
к демократии еще до Эфиальта и Перикла, к суровым  
временам Клисфена, Солона и даже Драконта, которые  
представлялись теперь почти идеальными временами уме-  
ренности, всеобщего трудолюбия, трезвости, скромности и  
благочестия. И первым среди них был по-прежнему Ари-  
стофан, бесстрашно продолжавший борьбу с новым хозяи-

ном Афин, который, по его словам, «одной погой уперся в Пилос, а другой — в Собрание, расставясь так: Широкий зад — в Раззявине, в Грабильном — руки, а заботы — в «Жуликах» и которому уже мало кто в городе осмеливался прекословить открыто. В своей комедии «Всадники», поставленной во время Лены 424 года, он дал настолько сильную и обнаженную сатиру на Клеона «союзникам, гостям на посмеяние», что никто из актеров не решился даже играть роль Пафлагонца, и, как доносит традиция, Аристофан сыграл эту роль сам, без маски, лишь слегка подкрасив лицо.

В комедии Пафлагонец, «буян, горлан, как мельница грохочущий», лишь раб Демоса, но его выживший из ума господин, «бобов грызун, сварливый, привередливый, народ афинский, старикашка глухонький», во всем ему слепо подчиняется и думает только о том, как бы сожрать кусочек пожирнее и послаще. Стремясь избавиться от Пафлагонца, который грабит город, пользуясь своим влиянием на Демоса, «совершенно теряющего рассудок, когда он заседает на каменных скамьях в Народном собрании», всадники-земледельцы находят еще более наглого проходимца, некоего Колбасника — Агоракрита, и просят его как-нибудь выжить горлана. Колбасник сначала было отказывается, ссылаясь на то, что он-де сер и неграмотен, однако, убежденный в том, что «демагогом быть — не дело грамотных, не дело граждан честных и порядочных, но неучей негодных», рьяно берется за дело. Он врывается в совет с радостным известием, что с тех пор, как началась война, на рынке подешевели селедки, и вызывает тем бурный восторг заседающих. После этого афинские граждане уже и слышать не хотят о том, что из Спарты прибыли послы с предложением мира:

Те заорали как один: «Ну нет, дружок,  
Прослышали враги, что нынче дешовы  
У нас селедки, мира захотелось им.  
Нам мир не нужен. Дальше пусть идет война!»

Преуспевающий в своих хитростях и кознях Колбасник начинает понемногу одерживать верх, и, возмущенный неблагодарностью сограждан, Пафлагонец — Клеон вынужден напомнить им о своих заслугах:

О старейшины, о судьи! Трехгрошовые друзья!  
Я ли правдой и неправдой не растил вас, не кормил?  
Ведь с тех пор, как сижу я в Совете, казну я

Деньгами наполнил доверху. Я одних заморил,  
А других задушил, запугал, обобрал и опутал.

В конце концов побеждает Колбасник, сумевший поднести Демосу более лакомый кусок. Пафлагонец разжалован («заслужил подлец меж банщиков и девок руготню вести»), нимфы мира, которых он прятал в своем доме, выпущены на волю, а Демоса Колбасник вываривает в своем котле, и тот появляется на просцениуме молодым, в костюме времен Марафона, теперь уже почти позабытом афинянами, полный сил, энергичный и умный, как в эпоху Мильтиада и Аристида, полный веры в свое славное будущее. Его приветствуют всадники с длинными волосами и в коротких по-спартански плащах — те, кто, по мысли великого комедиографа, могли еще спасти Афины. И даже здесь, сосредоточив весь свой гнев на «пугале горластом», Аристофан не мог удержаться от того, чтобы хотя бы мимоходом не пройти насчет бесконечно им презираемой поэзии Еврипида. Приванный к ответу за свои ошибки Никий жалуется:

Нет смелости! И слов мне не найти никак  
Искусных, скользких, гладких, еврипидовских.

На что Демосфен с живостью возражает:

Ах, нет, не надо брюквы еврипидовской!

Вскоре после представления этой комедии клеветы Клеона, «его сто голов льстецов», напали на Аристофана прямо на улице и избili при дружном смехе собравшегося народа, который и не подумал вступить за слишком уж смелого поэта. А через пару месяцев осмеянный в театре демагог, замышляющий, по мнению благородного комедиографа, обратить афинян в мешан да мелочных торгашей, был снова назначен стратегом, полный решимости довести до победного конца эту роковую для греков войну.

То, что демократические порядки и установления (только в условиях которых оказались, собственно, возможными и космогонические построения Анаксагора, и возвышенная мудрость Сократа, и его самого, Еврипида, творчество) умело и ловко использовались теперь людьми явно бесчестными, корыстолюбивыми и ограниченными, пекущимися не столько о благе афинского народа и города, сколько о собственной выгоде, оказалось тяжелым испытанием для патриотизма Еврипида. По мере того как

окужавшая реальность отходила все дальше от взлелеянного им в молодости идеала свободного, равноправного и просвещенного общества, ему становилось все труднее и труднее оправдывать дела сограждан, оправдывать и для себя самого, и в глазах всего эллинского братства, принадлежность к которому он никогда не переставал ощущать. Он отвечал преисполненными горького пафоса трагедиями на каждое более или менее значительное политическое событие, прямо, жестко и зло вступаая в них против всего, что противоречило, по его мнению, законам человечности и делало почти бессмысленным само бытие. Упрекаемый в равнодушии к делам города, сознательно стоящий в стороне от борьбы партий, в своем творчестве он был в гуще всех событий современности, болезненно реагировал на каждое изменение в жизни Афин, многое видел вернее, чем те, кто проводил свои дни на площади или в совете, и высказывал свое мнение со смелостью большей, чем какой-либо из ораторов в собрании. И хотя за пределами отечества слава о нем как о лучшем поэте Эллады ширилась и росла (так, его поэзию знали и любили не только в соседних греческих городах, но и в Сицилии, полуварварской Македонии и далекой Киликии), в Афинах его трагедии по-прежнему не пользовались успехом: те самые истины, которые вызывали сочувствие и понимание в полных саркастических выпадов, карикатурных образов и непристойных шуток комедиях Аристофана, безмерно раздражали и злили афинян, философски преломленные в заумных и, как считали сограждане, лицемерных произведениях сына Мнесарха. Злило то, что этот угрюмый длиннородый старик, безбожник и мизантроп, намерен учить их, как надо жить, о чем он не раз заявлял со свойственным ему высокомерием. Хотя его собственный образ жизни, его симпатии и дружеские связи — все говорило о том, что он сам человек подозрительный и опасный, один из тех, кто своим вольномыслием и неуважением к богам довел до столь тяжелого состояния афинское общество.

В 423 году под непосредственным впечатлением поражения у Делия Еврипид пишет своих «Просительниц», в которых за традиционным сюжетом из Фиванского цикла отчетливо проглядывали печальные события истекшего года: после бесславно закончившейся битвы у храма в Тагнаре беотийцы отказались выдать павших афинян для погребения, так же, как когда-то отказались фиванцы выдать трупы аргосцев, пришедших с Полиником мечом за-

воевывать отцовское наследство. Тягостная атмосфера поражения, царящая в этой трагедии (она не понравилась ни зрителям, ни судьям), слишком живо напоминала тот упадок духа и растерянность, которые понемногу овладевали афинянами после каждой из военных неудач, а седые аргосские матери, умоляющие выдать им тела сыновей, «брошенных без погребенья постыдно, горному в пищу зверью», были слишком похожи на осиротевших афипских старух, оставшихся без кормильцев:

Плачу, плачу по детям — все силы ушли.  
Стала старая, немощна я, зажилась,  
Истомилась, истаяла в скорби.  
Ах, что может для смертного быть тяжелей,  
Чем детей своих мертвыми видеть!

Стремясь, как оно и следовало ученику философов и софистов, разобраться до конца в причинах того, почему эта гибельная для всех война все никак не кончалась, Еврипид возлагал основную вину на честолюбивых, корыстных политиков, таких, как аргосский царь Адраст в «Просительницах», который, пытаясь помочь своему зятю Полинику воцариться в Фивах, погубил цвет аргосского воинства, осиротил детей и стариков. Не менее гневно и прямо, чем Аристофан, Еврипид выступал против тех, что «метят в полководцы... в начальство, прав показать», «не думают о бедствиях народных» и ради собственной наживы «раздувают огонь войны и развращают граждан». В равной мере поэт считал виновными и тех, кто, сидя в Народном собрании, позволял обманывать и оболгывать себя несбыточными проектами и лживыми лозунгами, бездумно обрекая сограждан на гибель, радуясь, как у Аристофана, подешевлению селенок и не замечая, что с каждым днем дорожает и вообще уходит из жизни все самое главное:

Свой голос подавая за войну,  
Не думает никто, что сам умрет.  
Надеется: другой погибнет. Если б  
Воображали собственную смерть,  
Кидая камешек, тогда от войн  
Не гибла бы Эллада.

В отношении к миру и войне Еврипид, как всегда и во всем, выступает сразу во всех своих ипостасях: как афинянин, для которого город Паллады, несмотря ни на что, продолжал, оставаться средоточием свободы и разума — поэтому он требует мира, чтобы спасти родину.

Как эллины — поэтому он ратует за укрепление старинных дружеских связей между греческими городами: на помощь просительницам приходит афинский царь Тезей, который убеждает фивяни выдать тела павших аргосцев, а появившаяся в конце трагедии богиня Афина повелевает жителям Аргоса, чтобы они никогда не воевали с ее народом и два древнейших города Эллады всегда оставались братьями. Как философ, Еврипида не могла не удивлять, не приводить в глубокую, недоуменную печаль суетная недалекость людей, растрачивающих свое драгоценнейшее из достояний — разум на измышление убийств и козней, жестокость людей, способных пасть так низко, что созерцание их бессмысленного и злого существования наводило порой ученика бессмертного Анаксагора на мысль о том, что не было ли какой-то страшной ошибкой само появление на свет рода людского. И хотя как последователь Гераклита он должен бы был, казалось, до конца проникнуться идеей того, что «война — отец всех вещей», но как человек, человек большой души, любящего, изболевшегося, всеобъемлющего сердца, сын Мнесарха не мог с этим смириться, потому что одно — рассуждать о законах, по которым живет все сущее на земле и во всей вселенной, и совсем другое — видеть вокруг себя в течение долгих, нескончаемых лет кровь и ужас смерти:

. . . . . Люди, жалкий род!  
Что точите вы копья для убийства  
Взаимного? Довольно! Без тревог  
Блюдайте мирно города свои.  
Жизнь коротка — так надобно уметь  
Ее прожить легко и беззаботно.

В «Просительницах» Еврипид начинает и тот долгий диалог (и прежде всего с самим с собой) о сущности демократии, ее преимуществах и издержках, который он вел потом еще долгие годы, стремясь разобраться, в чем же тут дело, почему благие намерения оборачиваются в свою противоположность и самые, казалось бы, разумные государственные установления не приносят блага. Как и у многих других афинян — ровесников победы над персами, свидетелей стольких славных свершений своего великого народа, у него были все основания для того, чтобы долгие годы считать демократический образ правления лучшим. Он не сомневался в искренности и правоте Перикла, когда тот утверждал: «По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равно-

праве для всех, что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другими не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству... Одним и тем же лицам можно у нас и заботиться о своих домашних делах, и заниматься делами государственными...» Однако со временем становилось все очевиднее, что политическое равенство отнюдь не сделало всех афинян действительно равными, что богатый остался богатым, а бедный бедным, со всеми вытекающими из этого последствиями и что проявлять себя «полноценной и самостоятельной личностью в самых разнообразных видах деятельности» было зачастую не только что возможно, но даже опасно. И хитроумному сыну торговца Мнесарха было никак не понять, как он их старался, в чем же источник столь страшного, поистине приводящего в отчаяние расхождения между тем, что должно было быть, и тем, что получилось на самом деле.

Словно вторя Геродоту, который в своей «Истории» сравнивает (в разговоре двух персов на эту тему) различные способы правления, Еврипид в присутствии тысяч зрителей переполненного театра Диониса размышлял об этом в своих трагедиях. Он безоговорочно отвергал царскую власть и тиранию, считая опасными для общества безумцами тех, кто рвется к единовластию:

. . . . . Нужно сумасшедшим быть.  
Чтоб домогаться власти и престол занять.

И исходя из того идеала народовластия, который он пронес через годы тяжелых сомнений и разочарований, вопреки тем (а их становилось в Афинах все больше), которые сомневались, «может ли народ, не разбираясь в делах и нуждах, государством править», Еврипид отстаивал демократию как наилучший способ устройства общества. Причину же того печального положения, в котором оказались Афины, он видел не в демократии как таковой, а в том, что простые труженики, «которые одни спасают землю», оттеснены от власти корыстолюбивыми лжецами и негодяями, которые раньше были ничем, а теперь народом их «ничтожный властвует язык». Еврипид обращался к ним словами старухи Гекубы:



Неблагодарно семья ваша — вы,  
Народные витии; лучше б вас  
И не встречала я... Толпе в утеху  
Друзей сгубить готовы вы...

И «народные витии» старались по мере возможности отвечать взаимностью излишне независимому поэту: с каждым годом ему все более настойчиво и часто давали понять, что он в городе лишний. В его трагедиях этого времени никакой из актеров не появляется в маске Клеона, как у Аристофана, но каждому из сидящих в театре Диониса было ясно, кого имеет в виду Еврипид, когда он говорит о гнусном тиране Лике, бесчинствующем в государстве:

О город! Ты раздорам и вражде  
Себя расхитить дал. Не то бы разве  
Мог овладеть тобой какой-то Лик?

Именно в том, что у власти в Афинах оказались бесчестные и непригодные для этого люди, которые «речами дутыми» народу кружат голову, в том, что — при видимости политического равноправия — городом правил один и притом далеко не лучший человек, поэт видел основную причину того, что на его глазах демократия превращалась, как ему казалось, из власти народа-труженника в ужасавший его произвол толпы. И он постоянно подчеркивал это, заранее отменяя расхожие обвинения в приверженности к аристократии или же в недостатке патриотизма:

Не государство порицал он — только  
Правителей негодных: государство  
Не виновато, что правитель плох.

Размышляя о судьбах родины, он все чаще обращался к той части народа Атики, которая раньше не привлекала его особенного внимания — к земледельцам, проводящим дни и годы в полях и на виноградниках, редко бывающим в городе и на площади, не слишком грамотным, достаточно суеверным, приверженным к старинным обычаям, далеким от философии, науки и возвышенной поэзии, но трудами которых издревле держится каждое общество. Именно в них, а не в богачах, праздных и бесполезных, и не в городской обнищавшей толпе, способной от недостатков, зависти и темноты на любые политические авантюры («сбивают их дурные языки смутьянов»), надеялся найти Еврипид залог спасения и возрож-

дения пошатнувшегося благополучия Афин: «Род третий же — средний, опора государства и охрана закона в нем...» Именно в том, что большая часть народа Аттики с презрением отошла от труда, физического труда на земле, в мастерских, на верфях и на строительстве тех великолепных сооружений, которые остались в веках как нерушимый памятник гению афинян, в том, что государство наводнено рабами, которых скоро станет больше, чем свободных людей, поэт видел основную причину морального упадка сограждан. В пренебрежении к труду видел причину нравственной порчи и Сократ; свободный земледелец со всеми его достоинствами и недостатками был идеалом Аристофана — но это не мешало их многолетнему взаимному недоброжелательству и непониманию. Они все заботились прежде всего о благе отечества, о спасении и возрождении афинского общества, о поднятии морального уровня и духа своих вырождающихся сограждан, но каждый понимал и это благо, и пути его достижения по-своему.

Неизвестно, что думал о неугомонном комедиографе Сократ (возможно, он вообще не придавал значения его насмешкам), нигде не упоминает, не намекает о нем и Еврипид, зато Аристофан был поистине беспощаден. Его возмущало, что полубезумный и неимущий философ вещает на улицах о каком-то «даймоне», по чьему повелению он останавливает встречного и поперечного и начинает копаться в его душе и совести, а тот теряется и не может дать достойного отпора нищему нахалу. Возмущало, что дети почтенных отцов ходят за этим лжемудрецом, внимая его рассказам о каких-то новых богах, ему одному ведомых. И благородный комедиограф решает дать бой всем этим философам, софистам, заумным поэтам, изобретателям новых богов и какой-то новой морали, которые для него были все на одно лицо и в которых всех скопом он видел страшнейшее зло и позор своих древних Афин. И этот бой был тем более вовремя, что все большее число граждан выражало недовольство бесцеремонной манерой Сократа доискиваться до истины и его непонятными речами. Как писал об этом впоследствии Платон, воссоздавая символический образ любимого учителя, Сократ и сам видел это, но изменить своему предназначению не мог: «Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался и боялся этого, но в то же время мне казалось, что слова оракула необходимо ставить выше всего». И он ставил их выше, стремясь приобщить сограж-

дан и особенно своих учеников (хотя он сам никогда не считал себя учителем и ничего не писал) к тем истинам, которые открылись ему после многих лет изучения философии, бесед с просвещенными современниками, размышлений и созерцания жизни и которые он считал совершенно необходимыми для людей, если они хотят оставаться людьми.

Сократа все чаще упрекали в безбожии, и действительно, он иронически относился к традиционным олимпийским богам, хотя не считал абсолютно бессмысленными предсказания оракулов и народных гадателей. В его видении мира не оставалось места привычным божествам, похожим на людей, то и дело вмешивающимся в земные дела, но, человек своего времени, он не мог не искать объяснения жизни в каком-то действии извне и свыше, в промысле какого-то бога, непостижимого, вездесущего и единого. Он не мог объяснить бытие со всеми его несообразностями и бессмыслицами, неправильностями и жестокостями, исходя только из природы человека и закономерностей общества, не мог допустить, что за всем этим не кроется какой-то высший, все оправдывающий смысл, и хотел верить, что человек создан для лучшего и лучшего. Бог представлялся ему как некий Великий универсальный разум, движущий вселенной и проявляющийся в отдельных умах-богах, направляющих течение человеческой жизни, несмотря на слепые иррациональные силы человеческой природы. Он верил в бессмертные души, эта вера помогала ему переносить всю сложность его земного существования (возможно, он видел в теле своем лишь оболочку, орудие этого самого «даймона») и облегчала ему расставание с жизнью, когда спустя двадцать пять лет неблагодарность и невежество сограждан заставили его взять в руки чашу с цикутой. Как всегда в трудные для того или иного общества времена душа человеческая, не в силах вынести и объяснить несообразности жизни, обращается к небу в поисках ответа, так и Сократ искал какого-то всемогущего, мудрого и справедливого бога, который имел в виду некую высшую цель, создавая человечество, и должен его к этой цели привести.

И вот, размышляющий о конечном предназначении рода людского философ, бессребреник и правдоискатель, появился на просцениуме театра во время Великих Дионисий 423 года в виде карикатурной фигуры, одетой в лохмотья, босой и дрожащей, но тем не менее старающейся выглядеть важно и чванно. Надо сказать, что это бы-

до уже не первое появление Сократа на сцене афинского театра — над философствующим чудаком с босыми ногами и в рваном плащишке посмеивались в своих комедиях и Каллий, и Эвполид, и Телеклид. Однако если в их насмешках сквозила известная доля уважения к этому бессребреннику и уличному мудрецу, то Аристофан не нашел ни единого доброго словечка для ненавистного ему сына Софрониска. В поистине гротескном образе «развратителя молодежи» (который потом словно слился с великим философом в представлении не слишком-то разбирающегося в теоретических тонкостях демоса и, начавшись в комедии, привел спустя четверть века к трагическому финалу) беспощадный комедиограф излил весь свой гнев против тех, кто бесплодными и вредными блужданиями мысли подменял, по его мнению, насущные заботы и нужды государства. Комедия разворачивалась как злоключения некоего Стресиада, состоятельного поселения, который раньше жил «чудесной, тихой... жизнью сельскою, в уюте, и в достатке, и в спокойствии, средь пчел, вина, оливок и овечьих стад», но потом женился на родовитой горожанке, причем с большими претензиями. Она воспитала ему сына Федиппида (в котором многие сразу же узнали Алкивиада) в духе «золотой молодежи» того времени, привив ему соответствующие наклонности:

Ласкала мать мальчишку и баюкала:  
«Вот вырастешь и на четверке, в пурпуре,  
Поедешь в город, как Мегакл, твой дяденька».

Из-за аристократических замашек жены и сына Стресиад влез в большие долги и, не в силах их выплатить, надумал бессонной ночью отправить сына в «мыслильню» модных философов, чтобы он выучился там «кривой речи», владея которой «всяк, всегда, везде одержжит верх, хотя бы был крутом не прав», мечтая таким образом отделаться от кредитора. Однако Федиппид, даже во сне бредящий конными ристаниями, наотрез отказался, и тогда Стресиад решает идти учиться сам.

И вот он в «мыслильне»: вскинув голову, озираясь направо и налево, рассказывает сам Сократ, разглагольствуя о том, что боги — это только облака и что Зевс не имеет никакого отношения к грому и молнии. В высшей степени странен и его коллега Херефонт (тот самый, что вопрошал оракула о мудрости Сократа), а «праздные бездельники» — их ученики заняты тем, что выясняют, «на

сколько ног блошиных блохи прыгают» и «трубит комар гортанью или задницей». Они прилежно изучают законы природы, уставясь в землю, «в небо зад подняв»; Аристофан уж, конечно, не пожалел непристойностей и грубых шуток, создавая напыщенно-пустые и возмутительные своим нахальством образы своих идейных противников. Здесь пародия и на грамматические изыскания Продика («самку фазана эти умники называют «фазыня», а самца — «фазелезень»), и на тот метод, которым софисты преподавали логику («Основную мысль найди, развей ее и расчлени по косточкам, определи и сопряги»), и на прославленное мастерство Протагора «слабейший аргумент сделать сильнейшим».

И наконец, сам великий софист появляется на просцениуме в символическом образе Кривды:

Средь образованных затем меня прозвали Кривдой,  
Что прежде всех придумал я осваривать законы.  
И правду криво толковать, и побеждать неправдой.

В споре с Кривдой комедиограф устами той Правды, которая растила «поколение бойцов марафонских», пытается отстоять нравственные нормы, представления и ценности столь милого его сердцу старого времени, но напрасно: Кривда побеждает Правду хитросплетениями софизмов.

Несмотря на решимость претерпеть все до конца ради овладения «кривой речью», ученье никак не дается старику Стрепсиаду, и он покидает «мыслильню», усвоив все же кое-какие из положений Сократа:

Нет никакого Зевса, мой сынок. Царит  
Какой-то Вихрь. А Зевса он давно прогнал.

А долг все не выплачен, кредитор пристаёт, и Стрепсиаду все-таки удастся затолкать сына в обучение философам, хотя тот заранее предупреждает отца, что не пришлось бы потом об этом пожалеть. Комедия завершается тем, что Федиппид, отлично усвоив всю Сократову науку и научившись ловчайшим образом выворачивать наизналку вещи и понятия («Ужасен в споре сын его, опровергать, избличать неправдою умеет он», — перепугался кредитор), бьет собственного отца и софистически обосновывает даже то, что можно побить и собственную мать. Пришедшему в полную растерянность Стрепсиаду не остается ничего другого, как только горько раскаиваться в том, что он «богов прогнал... на Сократа выманил». И он

призывает в праведной злости к расправе с учителями «ложной мудрости»:

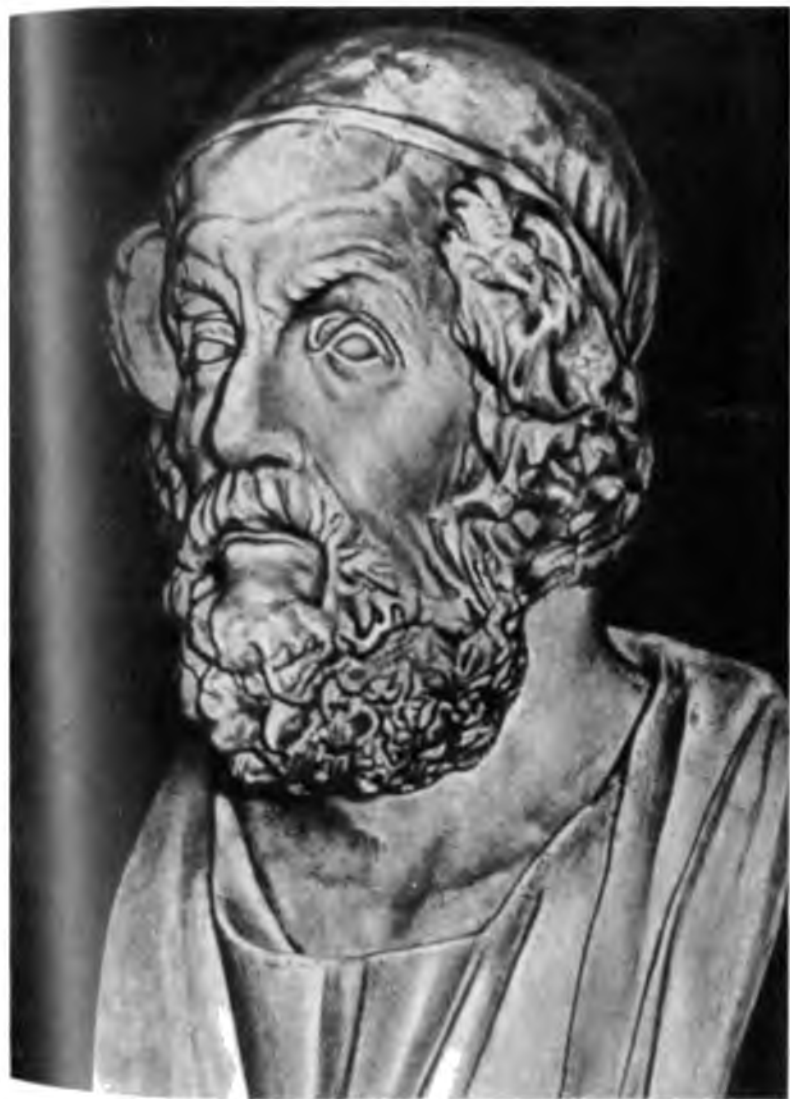
Коли, рубли, преследуй! Много есть причина,  
А главное — они богов бесчестили —

призыв, который были готовы поддержать в это время довольно многие афиняне, не слишком-то разбиравшиеся в тонкостях софистических построений и Сократовой схеме нашего мира, но склонные видеть во всех этих умниках большое зло для общества.

Комедия получила третью награду, то есть, по существу, провалилась, и, как доносят до нас античные авторы, немаловажную роль в этом сыграл Алкивиад, почувствовавший себя оскорбленным и за себя самого в образе праздного грубияна Федиппида, и за своего уважаемого учителя, великие истины которого оказались, как видно, не по зубам такой деревенщине, как Аристофан. Первой награды был удостоен престарелый Кратин с его «Фляжкой», второй — Амейпсий, в комедии которого «Конн», кстати, тоже упоминается Сократ, и притом с несомненной симпатией как «страдалец и герой среди нас». Как видно, о намерении автора «Облаков» ударить со всего маху по всем умникам, вместе взятым, было известно еще до представления, но отнюдь не все были с ним безоговорочно согласны, во всяком случае, в отношении одержимого таинственным даймоном сына Софрониска. И это очень огорчило Аристофана, который и долгие годы спустя продолжал считать «Облака» самым лучшим и тонким своим произведением и видел причину неуспеха прежде всего в сложности и отвлеченности избранной темы. Но, может быть, даже тем, кто был судьями на этом празднике Диониса, в глубине души было ясно, что, как бы ни был прав гениальный комедиограф в своих насмешках над разрушителями традиционной морали и в своем рвении возродить стародадедовский образ жизни, этот уклад уже было не вернуть. Полис свободных тружеников и воинов навсегда отходил в непостижимые глубины времени, хотя «моральное влияние, унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи еще долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2-е, т. 21, с. 118.

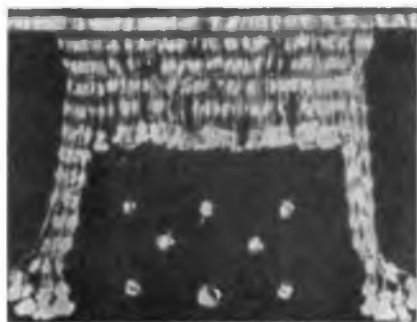


Гомер.



Крепостная стена  
Трои.

Диадема  
из клада Приама.



Сосуд  
из клада Приама.



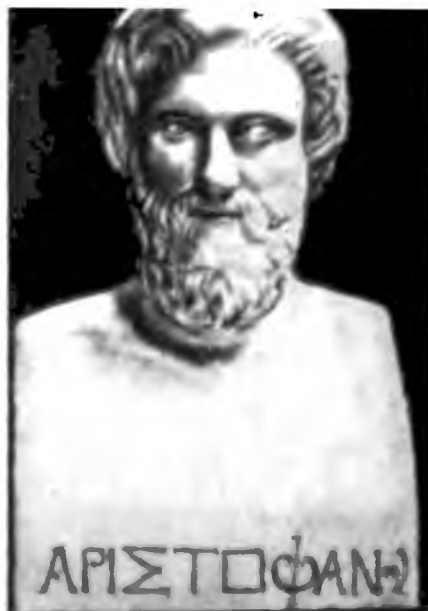


Пилос. Фреска  
с изображением  
музыканта.  
Тронный зал  
Кносского дворца.



Дворец в Пилосе.





Комическая маска.



Маска раба.

Маска гетеры.



Хор всадников.  
Ваза, IV в. до н. э.



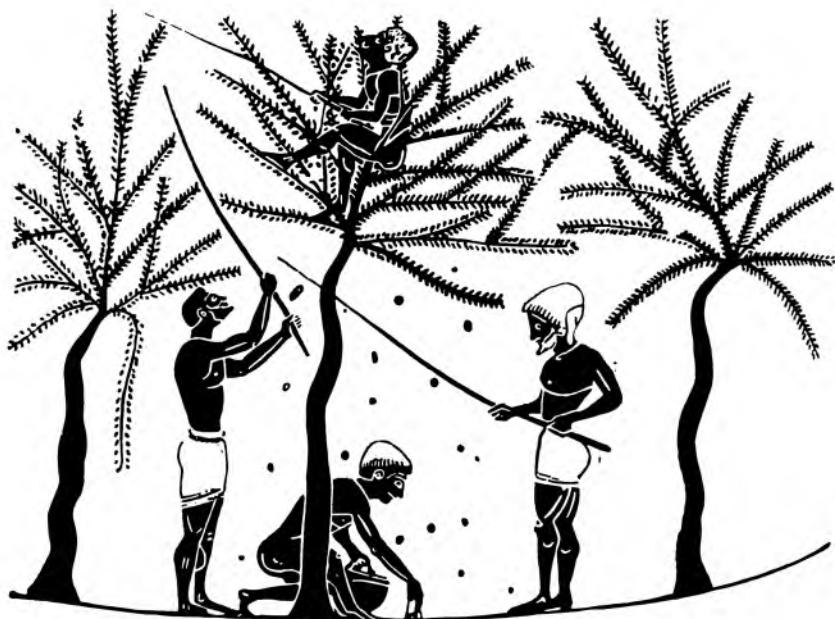


Сократ.



Платон.

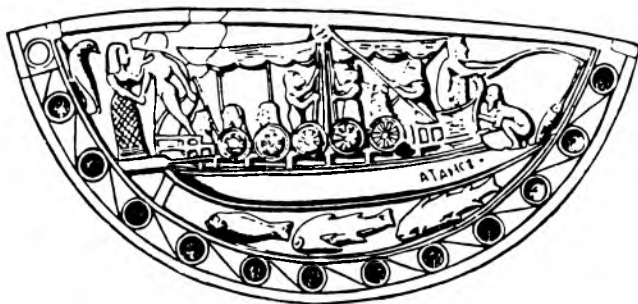
Сбор оливок. Изображение на амфоре. VI в. до н. э.



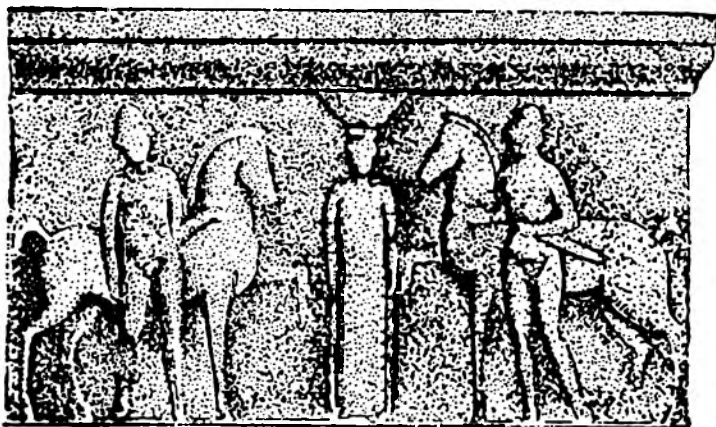


Электра и Орест  
на могиле  
Агамемнона.





Отплытие Елены.



Елена и близнецы Диоскуры (стела из Спарты).



Похищение Елены (этрусская урна).



Алкивиад.

Подготовка  
к скачкам  
на колесницах.



Состязание колесниц.



Священный округ Олимпии.



Руины храма в Олимпии.



Состязание в беге.  
Ваза.



Вручение награды  
победителю.  
Краснофигурная  
гидрия.



Сицилия. Акрополь Селиунта.



Сицилия. Храм в Сегесте.

Дельфы. Портик у входа  
в святилище Аполлона.



Дельфы. База Гелона, вдали  
храм Аполлона.



Дельфы. Сокровищница афинян.



Дельфийский возничий.  
Первая половина V в. до н. э.

Милет.



Святылище в Самофракии.

Ландшафт в Южной Македонии.





Дионис (Вакх).



Участница дионисийских шествий.

Танец в святилище Диониса.  
Аттическая ваза, V век до н. э.



Хотя Еврипид не появляется в этой комедии непосредственно на сцене, и сам Аристофан, и его герой Стрепсиад отмечают глубокую близость его трагедий к учению Сократа, считая, что нравственная порча от них идет не меньшая, чем от умствований Кривды. Напекая на хорошо всем известный ответ оракула, Федиппид спрашивает отца:

. . . . Признать готов ты Еврипида  
Мудрейшим из поэтов всех?

На что Стрепсиад только сокрушенно охает:

Мудрейшим? Ах ты, горе!  
Как обругать тебя?..

Для аристофановских персонажей, так же как для большинства простых афинян, и Сократ с его «даймопом», и Протагор, считавший, что краткость человеческой жизни не позволяет выяснить до конца вопрос о существовании богов, и Еврипид, искавший в глубоких сомнениях и мучительных метаниях духа объяснения конечной цели мира и бытия, — все они равно были нечестивыми безбожниками и развратителями молодежи. В народе, и особенно среди крестьян, сохранивших во многом мифологизирующее мышление патриархального земледельца, была еще крепка вера в олимпийских богов, но для просвещенных, философски образованных людей уже было ясно, что божества в таком виде, как их рисует поэзия Гомера, всего лишь плод человеческого воображения, и если есть Некто, движущий миром, то искать его надо отнюдь не на Олимпе и он ни в чем не похож на те прекрасные статуи, что украшают древние храмы Эллады. Но даже такие люди при всей своей вере в возможности человека и его разум, даже они не могли полностью отказаться от мысли, что жизнью рода людского управляет кто-то свыше, хотя трудно, может быть, даже невозможно понять, что представляет собой эта великая и неразгаданная сила:

Бог, или случай, или демон,  
Но как глубоко ни спускайся,  
Сияясь постичь смертных природу, ты, —  
Видишь ты только, что боги  
Туда и сюда нами мечут,  
Тут утонул ты, а вынырнул там.  
И судьба над расчетом глумится.

Отход от традиционных верований и старых богов, столь возмущавший то ли сохранивших былое благочестие, то ли стремящихся казаться благочестивыми сограждан, был не легкомысленным пренебрежением святынями отцов, но трудным поиском мысли, борьбой души, во всяком случае для Еврипида, поиском и борьбой, которые длились всю жизнь и так, по-видимому, остались неразрешенными. Теперь, обращаясь к его творчеству, одни видят в нем убежденного рационалиста, безбожника, воинствующего ниспровергателя традиций, другие же считают, что он был человеком глубоко религиозным. Верно и то и другое, ибо презрительный отказ от олимпийской религии, насмешки над гомеровскими богами, жрецами, оракулами и гаданиями («И что такое прорицатель? Мало он скажет правды и, сказав удачно, налжет...») сочетались у сына Мнесарха с глубинной, необъяснимой верой в некий Высший закон, который есть Высшая справедливость и который правит нашим столь далеким от совершенства миром — «тот закон, что властвует над нами, ведь по закону верим мы в богов и правду от неправды различаем».

Что же касается Зевса ли, Аполлона ли, других ли привычных богов, то вряд ли они могли, по мысли поэта, мудро править людьми, поскольку сами они несправедливы, жестоки, лживы и непостоянны, о чем свидетельствуют все их дела, отраженные в древних сказаниях. Они словно завидуют людям в коротком их счастье и никогда не поддержат в беде:

Я часто, боги, призывал уж вас  
И с ласковой и с горькою мольбою:  
Не вечно же обязан я страдать,  
Хоть раз удачи требовать я вправе.  
О да, одну мне милость окажите —  
И ей навеки счастлив буду я.

Однако эта милость так и не была оказана ни самому поэту, ни большинству его многострадальных героев, которых с упорной мстительностью преследовали прекраснотелые олимпийцы, ведущие себя зачастую хуже, чем грешные и слабые люди. Один из его героев, Беллерофонт, рассуждает так: кто видит все то зло, насилие, что творится на земле, тот поймет, что никаких богов нет и все рассказанное о них — пустая сказка. Он поднимается на небо, чтобы воочию убедиться, есть ли там какие-то боги, но падает оттуда и разбивается, наказанный за свое неверие.



И в этом весь Еврипид: кичащийся свободомыслием вначале почти всегда терпит у него поражение в конце. Что это? Игра тезисов и антитезисов, воспринятая от софистов? Выработанное в течение долгой жизни убеждение в том, что любая попытка пошатнуть устоявшееся сопряжена с печальным исходом? Или же так и не найдшая выхода борьба веры и неверия в его сложной и беспокойной душе?.. А может быть, это отражение той глубокой диалектики всего сущего, которую как никто другой чувствовал Еврипид и которая была недоступна его согражданам, упрекавшим поэта в противоречивости и даже нарочитом стремлении подразнить их. Так, Сенека рассказывает, что однажды, когда один из героев Еврипида начал поносить богов и отрицать верования старины, возмущенные зрители потребовали удалить актера и прекратить представление. Тогда сам Еврипид вышел к публике и просил народ подождать до конца, до тех пор, пока безбожник не понесет заслуженное наказание (наказание, бывшее, возможно, лишь уступкой общепринятым мнениям да желанию поэта видеть, несмотря ни на что, поставленными свои выношенные и выстраданные трагедии).

Но годы шли, поэт старел, и, хотя он по-прежнему то и дело нападал на вероломных и себялюбивых богов, что «наш волнуют ум, чтоб в ослепление детским мы чтили их», вопрос о существовании божественной силы становится для него все более важным. Вслед за своим бессмертным учителем Анаксагором он представлял себе эту силу в виде вселенского Разума, частица которого заключена в каждом смертном, та самая «искра божия», которая и отличает его от животных:

Кто б ни был бог, исторгший нашу жизнь  
Из смутного существованья зверя,  
Хвала ему: он поселил в нас разум,  
Через язык дал мысли понимать.

Размышляя о тернистом пути, по которому развивается род людской, не в силах уже объяснить рационалистически то, что он видел вокруг себя, смириться со злом, которое медленно убивало его и против которого он оказался бессилён, старый поэт хотел бы поверить, что она существует, какая-то конечная цель, все это оправдывающая, и что есть некто Великий, кто за все это в ответе, как бы его ни называли:

О Зевс! Что говорить про род людской,  
Прѹ ум его! Мы от тебя зависим,  
Творим лишь то, чего желаешь ты.

Еврипиду хотелось верить, и с каждым годом все сильнее и необходимее, что страдание, и его собственное, и всего человечества, оправдано, что каждый в конце концов получит по заслугам, ибо бог ли, Высший ли закон, вселенский ли Разум справедлив, но скорее всего ему не удалось поверить в это и он ушел из своего непонятного и жестокого мира, так и не удостоившись божественной благодати — удела простых и наивных душ.

Философы и поэты могли сколько угодно спорить и рассуждать о природе богов и об их взаимоотношениях с людьми, а грозный Арес продолжал между тем собирать свою страшную жатву. Не прошло и двух лет после битвы у Делия, как Афинам был нанесен новый тяжелый удар: спартанский полководец Брасид захватил и склонил на свою сторону ряд союзных афинянам городов Халкидики. Важнейшим из них был Амфиполь, вся вина за падение которого была возложена стараниями Клеона на Фукидида, сына Олора (он стоял во главе эскадры, отправленной охранять побережье от спартанцев, но не сумел оказать союзному городу своевременную и достаточную помощь). Фукидид был обвинен в измене и вынужден удалиться в изгнание, где провел двадцать лет, живя на доходы от золотых приисков во Фракии, унаследованных им от своих знатных предков, и работая над «Историей пелопоннесских войн» — полной предельного реализма и вместе с тем глубочайших философских обобщений летописью своего печального времени.

Отпадение халкидских городов заставило растерявшихся от столь многих неудач афинян вступить в переговоры со Спартой, в результате чего было заключено перемирие сроком на один год. Однако Клеон, все еще не оставивший надежды вернуть утраченное и не считаясь с тяжелым положением внутри самих Афин, двинулся в 422 году на Халкидику и там в ожесточенной битве у Амфиполя нашел свою смерть.



### РАЗДАВЛЕНЫ МЫ ТЯЖЕСТЬЮ ПЕЧАЛИ

Война продолжалась, но шестидесятилетний Еврипид навсегда оставляет оружие, чтобы отдать последние пятнадцать лет своей жизни тому, что было ее содержанием и смыслом, — трагической поэзии. Эти годы напряженной работы были, по-видимому, самыми плодотворными, поскольку большинство сохранившихся произведений Еврипида приходится именно на этот период. Теперь согласно афинским законам он считался геронтом и мог рассчитывать на заслуженный покой и уважение, но старость не принесла ему умиротворения. Напротив, его испытующий ум устремился теперь всецело и неослабно к поискам истины, и эти последние годы в Афинах, пожалуй самые сложные в его жизни, становятся для поэта годами отказа от многих изживших себя представлений, мучительной переоценки ценностей и окончательного крушения тех немногих иллюзий, которые еще могли сохраниться у готового порой впасть в отчаяние перед неустроенностью бытия ученика бессмертного Анаксагора. То, что поэт видел в эти годы вокруг себя, — увы! — так мало соответствовало или же вовсе не соответствовало умоглядно постигаемым вечным истинам, ему все больше казалось, что на его глазах на-

ступают тот самый пятый «железный век — век безысходных страданий», когда, как пророчили древние мудрецы, навсегда удалятся от людей их самые ценные человеческие качества, собственно, то, что и отличает их от всего иного, живущего на земле, что подходят те страшные времена, о которых писал бессмертный Господ, земледelec и поэт, а может быть, даже и провидец:

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!  
Раньше его умереть я хотел бы или позже родиться.

К вечным богам воспесуются тогда, отлетевши от  
Смертных, совесть и стыд. Лишь одни жесточайшие,  
Тяжкие беды людям останутся в жизни. От зла  
Избавленья не будет.

Освободившись от воинских обязанностей, которые он, верный юношеской клятве в храме Аглавры, добросовестно исполнял целых сорок лет, Еврипид совершенно отошел от общественных дел и вел уединенный образ жизни, целиком погружившись в размышления и творчество. Он почти не бывал в народном собрании, что, конечно же, не осталось незамеченным его недоброжелателями, предпочитая проводить дни за книгами в своей комнате или же прогуливаясь за стенами города. Со времени его полной надежд юности Афины превратились в большой, протянувшийся почти до самого моря город с прекрасными общественными зданиями, украшенный мощными тенистыми деревьями и увенчанный точно пронизанным светом беломраморным Парфеноном. На Агоре, где находились здания суда и совета, рядом с трибуной и статуями героев-эпонимов, в тени разросшихся платанов и тополей, посаженных когда-то Кимоном, располагались торговцы сыром, овощами и рыбой, горшечники и башмачники (для каждого рода товаров был свой особый ряд), здесь с утра толпился народ, делая покупки и обмениваясь новостями. За Агорой располагались кварталы ремесленников, мастерские, по-прежнему невзрачные и довольно тесные жилища афинских граждан.

По обеим сторонам дороги в священную рощу Академа, по которой обычно прогуливались афиняне, возвышались каменные стелы в честь павших героев, а в самой Академии, между старыми маслинами и вязами, тут и там стояли каменные жертвенники и статуи муз, Геракла, Эрота, Гефеста и Прометей. Когда-то здесь был старинный гимнасий для незаконных детей, где занимался атлетикой будущий спаситель Эллады Фемистокл. В те

ни тополей, на берегу тихой и мелководной реки Кефис, пересыхающей в самые жаркие месяцы, любили проводить время афинские мудрецы, бегущие от суеты и напряженности раздираемого распрями города. Здесь они могли спокойно побеседовать о зле и добре, о природе добродетели и пользе просвещения, обо всем том, до чего не было дела большинству их сограждан, занятых делами более прозаичными. Обо всем том, о чем часами беседовали Еврипид и его друг Протагор, пока тот не покинул Афины, осмеянный Эвполидом в его комедии «Параситы». В этой комедии, страшно поправившейся афинянам, толпа вечно голодных нахлебников — философов, артистов и поэтов — осаждает дом богача Каллия, стараясь беззастенчивой лестью и шутовством раздобыть себе обед. И первый среди этих бездельников, живущих за счет богатых покровителей, — Протагор, самый голодный и бесцеремонный из всех, утверждающий, что паразит должен быть находчив и остроумен, иначе его выставят за дверь. Да, в глазах многих и многих великий софист, провозгласивший мерой всех вещей человека, был всего лишь нахальным бездельником, равно как и все подобные ему лжемудрецы, которые своей бесконечной болтовней о всяких ненужных вещах прикрывали, по мнению своих соотечественников, свое нежелание и неспособность к делам, действительно полезным и необходимым для общества...

С горьким чувством глубокого одиночества встречал сын Мнесарха свою старость: с женой Хирилой он к этому времени развелся, друзей у него почти не осталось, собственные дети плохо понимали его, силы были уже не те и будущее не сулило ничего обнадеживающего. Далеко ушло то невозвратное время, когда с пренебрежением молодости, которой все кажется, что ее-то уж минует чаша сия, он свысока посмеивался над стариками — они, мол, «часто смерти просят, а стоит ей приблизиться, никто уж умирать не хочет», над теми, что «штаньем, и кутаньем, и всяким чародейством продлить стремятся жизнь, борясь с теченьем времени». Теперь он сам превращался в такого старика, которому, «словно Этны тяжелые скалы, долу голову старую клонят», и не было, в сущности, никого, кто хотел бы и мог облегчить и скрасить позднюю осень его беспокойной жизни. Как вообще это свойственно людям мыслящим, привыкшим безжадно анализировать не только то, что творится вокруг, но и каждый свой собственный день, Еврипид

все чаще испытывал глубокое неудовлетворение прожитой жизнью, сознавая, что век его близится к концу, а то, что он хотел понять для себя и объяснить потом другим, не только что не объяснено, но даже не понято до конца. Он с горечью признавался себе, что наделал немало ошибок и никогда не был счастлив:

Увы! Зачем нам, смертным, стать нельзя  
Вновь юными и стариться вторично!  
Коль что-нибудь бывает худо в доме,  
Устроим все по-новому, подумав,  
Иначе в жизни. Если бы давалась  
Нам два раза и молодость и старость,  
Могли бы мы ошибки жизни первой  
Исправить...

Однако «слепые надежды», те самые, которыми наделил некогда людей богоборец Прометей, все никак не хотели оставить стареющего поэта, тяжелые дни проходили, и Еврипиду снова казалось, что ему все-таки удастся достичь взаимопонимания с соотечественниками и даже, может быть, личного счастья. Где-то в эти годы он женится второй раз на женщине гораздо моложе его, и эта новая иллюзия любви воскрешает на время романтическую струю в его поэзии; иллюзия любви нежной и умиротворенной, как поздняя осень в окрестностях Афин, когда бурные старые холмы тихо дремлют под уставшим за долгое жаркое лето солнцем и свернувшиеся коричневые листья шуршат под ногами. Позади все бури, все грозы изнемогшего в разочарованиях сердца, все нетерпение страстей, и остались тихая радость близости и невысказанное даже себе самому стремление избежать одиночества...

В 421 году был заключен так называемый Никиев мир (подписать его было поручено стратегу Никию) на пятьдесят лет и состоялся обмен пленными, так как после кровопролитного сражения под Амфиполем благоразумие, казалось, одержало верх и в Спарте и в Афинах. Конечно, наивным было бы надеяться действительно на целых полвека мира, однако думать об этом как-то не хотелось, и сторонники прекращения войны торжествовали победу. Этой великой радостью была пронизана комедия «Мир», поставленная Аристофаном на Городских Дионисиях 421 года вместе с «Земляками» Левкона и «Параситами» Эвполида (получившего первую награду). Эта новая комедия Аристофана тут же напомнила афинянам еврипидовского «Беллерофонта», герой которого

пытался взлететь на небо на крылатом коне Пегасе, стремясь проникнуть в чертоги олимпийцев. Здесь же на небо вознамерился взлететь земледелец Тригей, «виноградарь... не чинодрал, не сплетник и не кляузник», разоренный войной. Он решает раздобыть во что бы то ни стало Мир, вернуть на землю богиню Ирену и выкармливать огромного навозного жука, чтобы подняться на нем к самому престолу Зевса, «чтобы спросить, что делать затевает он с народом всем Эллады злополучнейшим».

Однако Тригея встречает один лишь Гермес, оставленный сторожить барахлишко олимпийцев, в то время как сами они удалились «в мироздания щель глубинную», чтобы не видеть бесконечных свар и не слышать бесконечных жалоб людей. Вместо себя они оставили Раздор, «чудовищного демона», который низверг богиню мира в страшную пещеру и правит теперь на земле. Стремясь освободить прекрасную богиню, Тригей предлагает всем поселнякам собраться вместе и вытащить ее из пещеры. И вот земледельцы со всех сторон Греции — беотийцы, мегаряне, афиняне и другие — все вместе освобождают прекрасную Ирену, чтобы опять можно было спокойно жить и трудиться, «вернуться поскорей на хутор и перекопать лопатой залежалый чернозем», а после долгого жаркого лета, омытого праведным потом, «жатва, угощение, Дионисии, Софокла песни, флейты, соловьиный свист» и «стишонки Еврипида» (не унимался беспощадный комедиограф).

Совершив свой подвиг, Тригей возвращается на землю (а его жук остается на небе, возить в случае чего олимпийцев), прихватив с собой двух пригожих девчонок, Жатву и Ярмарку, первую для себя самого, а вторую — отвести в народное собрание, где от желающих заолучить ее не будет отбоя. И вот опять Тригей дома, так и горит поработать всласть на своем клочке земли, поесть хорошенько и поспать с красоткою Жатвой:

«Оры милые», — пою я,  
И пасточку хлебаю,  
И за лето становлюсь  
Жирен, гладок и лоснист.

Для великого комедиографа только крестьяне, трудом своих рук из века в век возрождавшие к жизни кормилицу-землю, были истинным народом Аттики, а не афинская чернь без определенных занятий и средств к суще-

ствованию, заполнявшая скамьи театра Диониса: «Народ непутевый толпится у сцены. Здесь воришек не счесть. Так и шарят, чего б утащить или чем поживиться!» И он воспевал вдохновенно «сокровища все, что война отняла», — великое счастье работать на своем поле, подрезать и окапывать лозы, запасать на зиму орехи, а в ненастную погоду, когда закончен сев, пригубить с соседом домашнего винца, вспоминая события минувшей страды и обсуждая виды на будущий урожай. Со всей мощью своего неповторимого гения, со всей страстью стремящейся остановить навсегда уходящую патриархальность души Аристофан отрицал всех политиков и демагогов, потревожив бесцеремонными насмешками даже тень великого Перикла и откровенно радуясь гибели Клеона («того кожевника, что ворошил Элладу всю»), рисуя отрадную, но — увы! — утопическую картину всеобщего мира и благоденствия:

Рынок весь нам доверху добром завали!  
Ранним яблоком, луком мегарским, ботвой,  
Огурцами, гранятами, злым чесноком.

.....  
Беотийцев увидеть позволь нам опять  
С куропатками, с кряквами, с гусем, с овцой,  
Пусть в корзинках притащат копейских угрей,  
А кругом мы толпимся, кричим, гомоним,  
Рвем из рук и торгуемся.

Это был словно крик из души земледельцев: и тех, кто еще не утратил надежды собрать когда-нибудь новый обильный урожай, и тех, кому в жалких лачугах Афин оставалось лишь вспоминать об оливковых рощах и гранатовых деревьях, вырубленных спартапцами, о своих заросших сорняками огородах...

Никто мир, воспринятый многими как великая милость богов, казалось, давно уже отвернувших свой лик от Эллады, вселил на какое-то время надежды и в сердце Еврипида, и он приветствовал прекращение войны преисполненными патриотического пафоса трагедиями, такими, как не дошедшие до наших дней «Эгей», «Тезей» или же «Эрехтей», в которых поэт обратился к древним преданиям об устройтеле Афин — герое Тезее, и первых афинских царях. Ему так хотелось верить, что вместе с войной прекратится и все то, что делало его жизнь просто невыносимой в последние десять лет, — жестокость, доносы, высокомерное невежество новоиспеченных богачей и все растущая нищета разоренного, обманутого



народа, что Афины снова вернутся на завещанный им самими бессмертными праведный путь — путь бесконечного созидания:

Избран, о город, тобой  
Праведный путь: вы бессмертных  
Чтите, Афины, — так  
Вечно творите...

Ему даже казалось, что найдутся наконец и вожди, равные Периклу или Фемистоклу, которые поведут народ Аттики к новым славным свершениям, помогут ему восстановить былое достоинство и благополучие. Именно такого вождя Еврипид видел какое-то время в прекрасном Алкивиаде, наделенном богами всеми возможными для человека совершенствами, который многим в Афинах показался в эти годы залогом спасения города и возрождения его пошатнувшейся мощи.

Трудно сказать достаточно определенно, что двигало этим до удивления красивым молодым аристократом, когда он вступил в борьбу с самим Никием, добиваясь власти в городе: жажда ли денег, поскольку он был баснословно расточителен, желание ли первенства, всегда снедавшее Алкивиада, или же политика стала для него еще одной из тех азартных игр, которым он отдавался до самозабвения с детских лет. В чем-то он, казалось, напоминал героев саламинского времени — своим блеском, удачью, разносторонними способностями, но в то же время все эти качества страдали каким-то изъяном, готовые вот-вот перейти в свою противоположность: блеск — в фальшь, удачь — в бесшабашность, широта взглядов — в полнейшую беспринципность. Это был уже не герой, а блестящий авантюрист. Сын знатного и богатого гражданина Клиния, он по матери принадлежал к роду Алкмеонидов, был племянником Перикла и постоянно выказывал себя сторонником демократии, хотя, как показали дальнейшие события, его политические симпатии не отличались особым постоянством. Владелец конских заводов, известных далеко за пределами Аттики, Алкивиад не раз одерживал победы в конских состязаниях, и когда, разгоряченный отчаянной скачкой, он первым достигал заветной мечты, казалось, что это юный бог, гордо выпрямившийся на колеснице, спустился на время на грешную землю по каким-то своим, не терпящим отлагательства делам.

Он был щедро одарен от природы и весьма образован,

однако «с делами и речами государственного мужа, с искусством оратора и мудростью сочетались непомерная роскошь повседневной жизни, разнузданность в попойках и любовных удовольствиях, пурпуровые, женского покроя одеяния, волочившиеся в пыли городской площади». В 422—420-е годы Афины были буквально покорены Алкивиадом (за исключением тех немногих, что, подобно назве Аристофану, считали блестящего молодого человека не более чем «толстозадым говоруном»), поскольку тот имел счастливую способность внушать доверие и определенные надежды и богатым и бедным, и аристократам и худородным, все видели в нем спасителя и вождя: уж он-то придумает, как спасти город, и вернет назад все, что потеряно в последние годы. Хотя находились и такие, которые считали, «что двух Алкивиадом Греция не вынесла бы»...

Под обаянием этого прекрасного баловня судьбы находился какое-то время и Еврипид (возможно, блестящий аристократ напоминал ему чем-то героев его детства, победоносных Мильтиада или же Кимона) и даже написал в его честь оду. Это было во время Олимпийских игр 420 года, проходивших с особенной пышностью, потому что люди Эллады бесконечно радовались долгожданному миру и спешили воздать хвалу милостивым и вечным богам. Как в большинстве случаев, когда дело касалось Алкивиада, не обошлось без скандала: прибывший в Олимпию, он был сначала исключен из игр по обвинению в насилии, но потом это как-то замаялось, и он принял участие в копских состязаниях. Как всегда несравненный и блистательный, на своих неподобных лошадях, Алкивиад завоевал первую, вторую и третью награды, что случалось нечасто. Среди тех, кто приветствовал победителя, был и Еврипид. Много лет минуло с тех пор, как отец Мнесарх привозил его сюда, долговязого, сильного юнца, надеясь, что прохожий халдей не соврал. Но похоже, что тот бродячий гадатель был не из самых проницательных: Еврипиду так и не пришлось одерживать победы на играх в честь Геракла, да и на состязаниях во славу Диониса первая награда почти всегда доставалась не ему...

Жизнь прошла, и вот теперь разочарованным и, как говорили все, угрюмым стариком он славил прекрасного сына Клиния с венком дикой маслины на словно мраморном челе, этого не знающего поражений любимца богов: «Тебя хочу воспеть, о сын Клиния! Победа прекрасна.

Но несравненно прекраснее то, что выпало тебе, единственному среди всех эллинов: прийти на колеснице первым, прийти вторым и третьим, стяжать успех без труда и, с увенчанным оливою челом, дважды услышать свое имя в устах громогласного глашатая».

В этом же году Алкивиад был избран стратегом и усилил борьбу против Никии, считая заключенный им мир невыгодным и непужным для государства. Не стесняясь называть вещи своими именами, он призывал сограждан к покорению новых земель и новых народов, чтобы восстановить пошатнувшееся благосостояние: «Мы не должны точно высчитывать размеры желательной для нас власти. На той высоте могущества, какой мы достигли, необходимо предпринимать меры против одних и не давать воли другим. Потому что нам самим угрожает опасность подчинения противнику, если мы сами не будем властвовать над ним». И вот, побуждаемые пламенными речами Алкивиада, от которых у них начинали кружиться головы, афиняне начали готовиться к новому походу, собираясь выступить против ненавистных спартацев, едва начнется весна. Напрасно Никий, казавшийся таким старым и вялым, уже отслужившим свое рядом с полным энергии и дерзких планов сыном Клиния, призывал сограждан к благоразумию — его время кончилось, он был больше не нужен. Нужны были новые «хлебные дороги», рабы, плодородные, желательно не заселенные земли, и возникшие к этому времени серьезные разногласия между Спартой и Аргосом казались удобным предлогом для вмешательства Афин. Столь искусные в различных ремеслах, превзошедшие других эллинов во многих искусствах, потомки Тезея аплодировали «Миру» Аристофана, но мечи их и копья лежали наготове, чтобы вновь, в который уже раз, обогреться кровью соплеменников.

И все это не могло не ужасать сына Мнесарха: жизнь человеческая вообще и особенно жизнь его соотечественников, полная непоправимых ошибок, все больше казаясь ему неуправляемым хаосом, над которым не властны законы разума и добра. Он отвернул свою душу от блестящего Алкивиада, лучшего из ораторов и стратегов, потому что — и это становилось все очевиднее — все его совершенства и достоинства были подвластны все тем же страшным богам, сделавшим почти невыпосимым людское существование, — золоту и власти.

Всегда стремившийся жить сам по себе, Еврипид старался теперь жить именно и только так, никого не под-

держивая в политической борьбе, и это было небезопасно, потому что «лица, не принадлежащие ни к одной партии, истреблялись обеими сторонами». Как и Сократ, он хотел бы стать выше политики, но это было невозможно, как невозможно стать вне жизни, оставаясь живым. Хотя им обоим, возможно, и казалось, что это им все-таки удалось, — трагическому поэту, но целым дням не покидавшему своей комнаты, и словно бы бездомному философу, считавшему несомненным служение своему загадочному даямону с участием в какой-либо общественной деятельности. Сократ говорил впоследствии: «Неужели я, по-вашему, мог бы прожить столько лет, если бы вплотную занимался общественными делами, и притом так, как подобает порядочному человеку, — спешил бы на помощь справедливым и считал бы это самым важным, как оно и следует?» И это же мог сказать о себе и сын Мнесарха, которого выводила из равновесия любая несправедливость, возмущала любая ложь, повергали в неистовый гнев корыстолюбие и мздоимство, так что, даже если бы он и захотел испробовать себя на общественном поприще, вряд ли что из этого бы вышло.

Так, он имел смелость утверждать (и многим согражданам это казалось странным и возмутительным), что и рабы тоже люди и что в непостижимых заранее превратностях бытия, зыбкость которого стала особенно ясной во время войны, каждый свободный может сделаться завтра рабом и его не спасут ни богатство, ни знатность происхождения, разве только он сам предпочтет славной смерти позорную долю раба. Рабство, в нем была одна из главных причин преуспевания Афин, но в нем же таилась источник их будущей гибели, и тем, кто обладал способностью видеть взаимосвязи вещей, это было уже заметно. К этому времени рабов в Афинах было уже не меньше, а может быть, даже и больше, чем свободных граждан. В основном это были варвары из Фракии, Фригии, Пафлагонии, Карии и Иллирии, с берегов Понта Эвксинского и из далекой Колхиды, а также сицилийцы, лидийцы и сирийцы. Они работали в эргастериях, на строительстве, в рудниках и на верфях, а также в домах состоятельных афинян, выполняя наиболее тяжелую и грязную работу. К концу Пелопоннесской войны появились также рабы-греки, плененные или же пригнанные из завоеванных областей. Нередко такой раб мало в чем уступал своему господину в образованности, и тогда он мог быть воспитателем детей, секретарем, писцом или же

экономом. На невольничьем рынке можно было сравнительно недорого купить молодого, сильного и красивого раба, и, как обещали сторонники новых военных кампаний, недалеко уже было то время, когда каждый афинянин будет владеть десятками отборных невольников.

С точки зрения закона, раб был абсолютно бесправен, он не имел даже имени, а только кличку — Пафлагонец, Лидиец, Фракиец, но все же в Афинах положение рабов было несколько легче, чем в других греческих городах, может быть, потому, что образованность и причастность многих афинян к искусствам и философии все же несколько смягчали жестокие нравы того времени. И хотя на раба смотрели как на «говорящее орудие», господин не мог убить его по своему произволу, рабы допускались к участию в религиозных церемониях и городских празднествах, на театральные представления и даже в исключительных случаях с оружием в руках сражались за Афины. Варвары быстро усваивали язык, обычаи и представления греков, но внешнему виду они мало чем отличались от свободного населения, что было очень не по нраву старинной аристократии и над чем смеялись в Спарте: в Афинах, мол, нельзя и проучить какого-нибудь наглеца или бездельника, подумаешь, что раб, а окажется, что свободный. Однако при всей этой свободе обращения эксплуатация рабов становилась настолько сильной, что порой даже известная всем суровостью своих обычаев Спарта казалась предпочтительнее: так, во время Пелопоннесской войны к спартамцам перебежало около двадцати тысяч рабов из Афин.

Но хотя мало кто в Афинах решился бы отрицать несомненную выгоду рабовладения, находились свободные люди, открыто заявлявшие о преступности рабства. «От природы все люди братья, и преграды между ними возвел закон», — утверждал Гипсий из Элиды, ему вторили другие софисты, считая рабство безнравственным, пагубным для добродетели самих граждан и достойным всяческого осуждения. Тем более теперь, в смутное время междоусобных распрей, когда жалкая участь раба подстерегала каждого из смертных. Однако с этим были абсолютно не согласны заправлявшие в Афинах хозяева больших, лично поставленных мастерских, откуда ножи, щиты, украшения, сосуды, лампы, лиры, шляпы и сандалии расходились во все стороны Ойкумены, поражая воображение варварских народов своей добротностью и изяществом работы. И казалось просто возмутительным, что теперь, в

тяжелое время войны со спартацами, безответственные болтуны и бездельники словно подстрекают рабов к неповиновению, распуская всякие басни о всеобщем равенстве и необходимости для всех быть человечными. Что же касается трагического поэта Еврипида, который со свойственной ему паглотью осмеливался осуждать рабство даже со сцены театра, то этим он лишь приближал час расплаты за все, час своего расставания с Афинами: город видел и слышал не таких еще умников, и город сумел от них избавиться...

Как и во всем, к чему бы ни обращал свой испытующий разум бессмертный сын торговца Мнесарха, его точка зрения никогда не была однозначной. Так и здесь: сын своего времени и своего народа, с одной стороны, так много претерпевшего от варваров-персов, а с другой стороны, значительно обогнавшего другие народы в развитии, он не допускал даже мысли о равенстве варваров и греков:

Но, жалкий между жалких, разве варвар  
Когда-нибудь для грека будет друг?  
Ведь это невозможно...

Однако чем дальше шло время, тем становилось яснее стареющему поэту, что все они люди: и полудиккий охотник с фракийских гор, попавший, как загнанная зверь, на невольничий рынок в Афинах, и позабывший о прежней свободе и роскоши жалкий лидиец, и он, свободный афищанин, ученик Анаксагора, что все они равно бессильны перед судьбой и одинаково беззащитны перед темным хаосом жизни. И что даже на самом дне бедствий и унижений, все потерявший — отечество, дом, семью, самое себя — человек остается человеком, нередко более честным и благородным, чем его господин: «У раба позорно только имя. Если честен, так чем же он свободным не чета?»

И вот впервые в истории греческого театра он выводит на сцену скорбные образы благородных и в своей рабской участи людей, этих безвинных жертв круговорота бытия, по страшному закону которого вчерашняя царица превращается в прислужницу победителя, а хозяйка богатого дома, хранительница и украшение семейного очага — в наложницу, которую равнодушный и достаточно бессердечный герой может вышвырнуть, лишь надоев, как бесполезную ветوشь... В той картине мира, которая во всех своих ужасающих деталях окончательно вырисо-

вывалась для шестидесятилетнего Еврипида, рабство представляло как одно из самых страшных доказательств несправедливости всего устройства человеческой жизни. Следуя великому тезису Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, он утверждал на весь переполненный театр Диониса, что «многие рабы лучшие люди, чем их хозяева», а «многие так называемые свободные -- рабы по своей сущности», и что единственное мерило для любого из смертных — это чистая совесть и благородная душа:

... . . . . Если в рабском  
Рожден я состоянье, пусть меня  
Рабом хотя считают благородным...  
Нет имени, — я душу сберегу...  
Все же лучше быть по имени рабом лишь,  
Чем на плечи одни да оба зла:  
И рабский дух имей, и рабский жребий...

И хотя многие из сограждан поэта были не очень-то довольны подобными сопоставлениями, события поворачивались таким образом, что афиняне снова, уже в который раз, имели печальную возможность убедиться в губительном для смертных законе круговорота судьбы. В 418 году в битве при Мантинее спартапцы наглым образом разбили аргосское войско, в котором было также много афинян. Эта новая неудача усугубила тягостное чувство поражения, которое начинало к этому времени понемногу овладевать афинянами, оказавшимися словно в порочном кругу: у них не было больше сил воевать, но и свою свободу, не говоря уже о благополучии, они могли сохранить теперь только путем новых военных успехов. Неудачи озлобили граждан города Паллады, голоса призывавших к человечности потонули в мощном хоре тех, что требовали самыми решительными мерами прескратить происки олигархии и сторонников Спарты в союзных городах. И поэтому, когда в 418 году остров Мелос отказался подчиниться Афинам, с ним расправились с особой жестокостью: остров был осажден и захвачен, все мужчины перебиты, а женщины и дети проданы в рабство. Все это не могло не усилить проспартанских настроений в других союзных городах, да и в самих Афинах все большее число граждан начинали усматривать в скромном, умеренном образе жизни лакедемонян немало полезного, того, чего уже явно недоставало им самим.

Однако большинство афинян все еще стояло за продолжение войны, послушно идя на поводу у демагогов,

заинтересованных в новых территориях и рынках сбыта, таких, как не отличавшийся ни особыми дарованиями, ни высокими моральными качествами Гипербол, хозяин мастерской по производству ламп, верховодивший после гибели Клеона в народном собрании, о котором так говорил насмешник Аристофан:

Но город наш  
Сейчас остался без опеки, сир и гол,  
И с горя проходимцем препоясая.  
Да, видишь, ламповщик он. До него в делах  
Порой впотьмах блуждали мы и ощупью,  
Сейчас же все решаем в чадном дыме ламп.

Гипербол был среди тех, кто пытался свалить всю вину за неудачи последних лет на Никия, обвиняя его в бездарности и нерешительности, он даже предложил подвергнуть незадачливого стратега остракизму, однако Алкивиад, которого отнюдь не устраивала растущая популярность ламповщика, повернул дело так, что изгнанным оказался сам Гипербол. Многие в городе расценивали это поистине как незаслуженную честь, поскольку ламповщика было очень трудно отнести к тем «выдающимся людям», против которых, как писал впоследствии Аристотель, и был направлен остракизм; именно это хотел подчеркнуть один из комических поэтов того времени, написавший по поводу Гипербола следующее:

Хоть кару он свою и принял поделом,  
Ее с клеймом его никак не совместить.  
Не для таких, как он, был создан остракизм...

Гипербол покинул Афины, но в городе еще оставалось достаточно подобных ему, тех, которые называли еще одну, более важную, причину бесконечных неудач и несчастий: боги отвернули свой лик от афиняев, потому что слишком много уж развелось среди них нечестивых безбожников и вольнодумцев, подрывающих при попустительстве властей те древние нравственные и религиозные устои, на которых зиждется общество. Уже всем в городе было известно о поистине кощунственном сочинении софиста Протагора «О богах», о том, что его продолжают читать и обсуждать такие же, как он, растлевные личности, которых — ведь они в большинстве своем иноземцы! — не беспокоит благополучие города. Все слышнее раздавались голоса тех, что настойчиво предлагали очистить Афины от святотатцев и вернуть расположение, без сомнения, оскорбленных богов, однако



прошло еще несколько лет, прежде чем благочестивым афинянам все-таки удалось поставить на место знаменитого учителя ложной премудрости.

Еще раз Еврипиду пришлось убедиться, как тяжела и обидна в Афинах участь образованных, тех, кто видит дальше и больше своих ограниченных сограждан. Народу, непоколебимым приверженцем власти которого был Протагор, разум и совесть которого пытался поднять до больших высот он сам, Еврипид, они казались не только что совершенно бесполезными, но даже опасными и подозрительными. Они не были нужны афинянам (по крайней мере, им не раз давали это понять), тогда кому же они были нужны? И для чего был им дан испытующий ум и огромное сердце, умеющее объять все горести мира? Или они писали для варваров свои выстраданные творения, или же для самих себя, а может быть, ради какого-то Нечто, вбирающего в себя всю мудрость вселенной, ради того великого Разума, о котором учил его в далекой молодости бессмертный Анаксагор и который и есть истинный смысл и конечная цель бытия?..

Весной 415 года Еврипид представил на Великих Дионисиях трагедии «Паламед», «Александр» и «Троянки», в которых дал ответ на все выдвигаемые против него обвинения сограждан, всем воздал по заслугам и высказал перед лицом тысяч зрителей то, что мало кто осмеливался высказывать на площади или в Совете. В первой из этих трагедий, не дошедших до наших дней, где рассказывается печальная, но такая обычная — увы! — история по-настоящему благочестивого Паламеда, оклеветанного коварным Одиссеем, ложно обвиненного в измене и осужденного на смерть, Еврипид воссоздал величественный в своей мудрости образ своего дорогого друга Протагора, в жизни которого он видел истинное служение людям и добру.

Недоумение и возмущение афинян возрастали по мере того, как шло представление: поистине, этот сын Мнесарха ни во что не ставит мнение сограждан и вообще честь эллинов, если он восславил в «Алекса́ндре» фригийского варвара как не утратившего героического благородства и в рабстве, а также подверг развенчанию самую славную и, казалось бы, неприкосновенную из древних легенд — о победе над Троей. (Впрочем, и Фукидид рассматривает эту войну как «не столь значительную, как рисует ее молва и установившееся ныне через поэтов предание», а как всего лишь одну из войн того далекого, додорийского времени). По-видимому, расправа

с Мелосом перевесила чашу весов, на которых поэт взвешивал все последние годы деяния своих соотечественников, пытаясь выяснить для себя самого, чего же в них больше — хорошего или плохого. Возможно, он впал в крайность под тяжким гнетом нагромождающихся одна на другую жестокостей, но теперь и все прошлые свершения греков, завоевания, подчинения соседних народов, все эти подвиги, воспетые эпическими поэтами, представлялись ему длинной цепью жестоких преступлений, тем огромным грехом, за которым (если только он есть, великий закон Мировой справедливости) неизбежно последует не менее жестокая расплата: и горькая участь троянок в последней части этой трилогии казалась — и видимо, многие в театре Диониса восприняли это именно так — грозным предвестием страшной судьбы греческих женщин. Трагедия Трои здесь представляла как символ необъяснимого, приводящего в отчаяние бессилия человека перед всеокрушающим злом. Все горе изоблевавшегося сердцем поэта, вся его скорбь о тех бесчисленных и безымянных мужчинах, женщинах и детях, мечты, желания, радости, песни которых сгорели в пламени войны; его страстная, казалось бы, ничем не объяснимая вера в некие высшие и нетленные ценности жизни, которые не могут не изменить, не отменить ни рабство, ни смерть, делают «Троянок» самым проникновенным и трагическим из произведений Еврипида, самым большим из того, что оставил он людям.

События трагедии — это уже печальный финал Троянской войны, когда город пал и победители делят между собой захваченных женщин, и все они — и простые горожанки, и престарелая царица Гекуба, и ее невестка Андромаха, прекрасная вдова «меднобронного Гектора», и избранная Аполлоном пророчица Кассандра, — все они должны вот-вот взойти на ахейские корабли, чтобы потом доживать свой постылый век в разных концах, островах и землях Эллады. И они плачут под стенами Трои, от которой через несколько дней останется лишь пепелище, плачут так, как плакали афинянки, беотийки, спартанки, множество женщин Эллады много веков спустя, словно платя страшный долг своих предков:

Как под ветром дым,  
Родина развевна,  
В бездну сброшена копьём.  
Грабят жилища  
Оговь, враги.

Вопреки всем тем, кто видел в дальнейшей войне спасение Афин, вопреки заманчивым речам Алкивиада, от которого к этому времени поэт полностью отвернулся, Еврипид говорил о войне как о величайшем зле на земле, видя в ней своего рода безумие, ведущее к гибели: «Глуп человек: он рушит города, он храмы жжет, священные границы, и вот — опустошитель гибнет сам».

Страдание, переполняющее эту трагедию, то страдание, которое к старости источило слишком рапимую душу сына Мнесарха, но было, по-видимому, непонятно многим из его соотечественников, обеспокоенных своими повседневными делами, дебатами в собрании, заботами о пропитании и не видящих ничего грустного в гибели варваров, равно как и непокорных союзников, это страдание достигает своего апогея в сцене прощания Андромахи с ее маленьким сыном Астинактом. По совету Одиссея, из боязни, как бы из сына Гектора не вырос мститель за отца и Троя, ребенка решают сбросить с крепостной башни, и вот несчастная вдова гомеровского героя в последний раз обнимает любимое дитя.

Сокровище бесценное мое!  
О, сладкий запах твой! Так понапрасну  
Тебя в пеленках грудью я кормила,  
Старалась так, что извелась в трудах...  
Мать обними в последний раз, прижмись  
К родной своей, обвей руками шею  
И ротиком прильни ко мне... —

плакала слезами бездонного горя Андромаха, навеки прощаясь со своим малышом, со своей свободой и жизнью, и вместе с ней старый, запутавшийся в неразрешимых противоречиях мира поэт оплакивал всех тех детей во всем свете, жалких птенцов, беспомощных, нежных, доверчивых, которых — неизвестно почему, по каким-то недостижимым для человека законам вселенского зла — уносит в небытие мутный поток жестокой, несправедливой и бессмысленной жизни людской. Сознание непреодолимости этого зла убивало его, перед ним меркли все радости мира. Сын Мнесарха плакал от бессилия, от неспособности (теперь-то он вполне понимал всю смехотворность своих дерзких мечтаний как-то улучшить и перестроить жизнь людей, хотя бы своих сограждан!) что-либо изменить в темном хаосе жизни; он чувствовал себя старухой Геккубой, «живой мертвец, тени пустой подобье», вчера еще троянской царицы, а сегодня жалкой рабыни хитроумного, выходящего из всех передраг Одиссея:

Все, что для лет моих невыносимо,  
Заставят делать, буду у дверей  
Вдвигать засовы — Гекторова мать, —  
Месить и печь, со сморщенной спиной.  
Спать на земле взамен постели царской,  
Отрепьями скрывать отренье тела...

Вся вопиющая алогичность человеческой жизни, убивавшее Еврипида несоответствие между тем, что должно было бы быть — по правде, по справедливости, по логике вещей, наконец! — и тем, что бывает на самом деле, раскрывается в прощании Гекубы со своим уже мертвым внучком Астинактом, последним, что еще связывало ее с этим страшным миром:

. . . . . О, милый рот, меля  
Он обманул: в постель ко мне забравшись,  
Сулил ты гордо: «Бабушка, я срежу  
Красу кудрей, я, сверстников собрав,  
На твой могильный холм приду с приветом!»  
Не ты меня — тебя я хороню,  
Бездомная, бездетная старуха...

Теперь она больше никто — не бабушка, не мать, не царица. Но она еще человек, и на самом дне той пропасти беспросветного страдания, куда ее бросила жизнь, Гекубе остается лишь одно — «снести достойно горе». Ее мир безвозвратно рухнул, и престарелая царица гибнет вместе с ним, бросившись в пламя подожженной победителями Трои.

Хотя Еврипид получил на этих Дионисиях вторую награду (первой удостоился ничем особенно не примечательный поэт Ксенокл), после «Троянок» его отношения с большинством сограждан приняли настолько напряженный характер, что поэт стал подумывать о том, чтобы покинуть родину, «гибнущую землю», осознавая свое полнейшее бессилие что-либо изменить и не в силах оставаться безучастным свидетелем грядущего поражения своего города.

А афиняне между тем, не обращая ни малейшего внимания на самонадеянные советы и предостережения, на скорбные излияния, по-видимому, слабоватого духом и лишенного истинного патриотизма «философа сцены», энергично готовились к новым великим свершениям, тем более что теперь у них был такой человек, как Алкивиад. Поскольку для всех уже было очевидно, что вряд ли можно надеяться на благоприятный для Афин поворот обстоятельств внутри Эллады, помыслы большинства обрати-

лись к захвату Сицилии, планы покорения которой вынашивались давно: «Алкивиад уже грезил Карфагеном и Африкой, за которыми должны были последовать Италия и Пелопоннес, а Сицилию расценивал всего лишь как приступ или путь к войне. Своими упованиями он быстро воодушевил и увлек молодых, старики рассказывали им о чудесах и диковинках, которые они увидят в походе; и повсюду в палестрах и на полукружных скамьях во множестве собирались люди, чертили на песке карту острова, обозначали местопребывание Африки и Карфагена». Матросы Пирея, нуждавшиеся в работе, и давно уже влачащие полуголодное существование афинские бедняки с жаром обсуждали планы будущих экспедиций. Земледельцы, а их с каждым годом становилось все меньше, были единственными, кто попытался было воспротивиться выдвинутому Алкивиадом проекту, — воспользоваться тем, что сицилийский город Эгеста, находящийся во враждебных отношениях с городом Селиунтом, обратился к Афинам за помощью, и снарядить эскадру к берегам Сицилии. После некоторых колебаний народное собрание все же приняло решение послать корабли, командующими были назначены Алкивиад, Никий и Ламах.

Однако когда все уже было готово, произошло непредвиденное: в ночь перед самым отплытием кто-то безобразно изуродовал гермы — изображения богов, стоящие на улицах. Хотя ночные скандалы и бесчинства пьяной молодежи стали к этому времени обычным явлением, столь наглое кощунство вызвало всеобщее возмущение. Многие подозревали в содеянном Алкивиادا и его известных своей безнравственностью дружков. Некий Андрокл заявил в народном собрании о том, что Алкивиад устраивал будто бы в одном частном доме святотатственную пародию на Элевсинские мистерии, и было принято решение начать судебный процесс по делу о гермокопидах. Возмущенный Алкивиад требовал немедленного разбора всех обстоятельств преступления, однако получил приказ немедленно отправляться в поход, и в середине лета 415 года эскадра, «паиболее дорого стоявшее и великолепное войско из всех, снаряжавшихся до того времени», двинулась из Пирея к заманчивому острову. Афиняне провожали ее со смешанным чувством надежды и какого-то тайного страха, потому что в это утро многим в городе стало ясно, что на кон поставлено последнее.

Потом стали приходиться вести о блокаде Сиракуз, но как раз в это время Алкивиада решили призвать к от-

вету за порчу герм и в Сицилию ему был послан приказ вернуться в Афины и предстать перед судом. Однако по дороге домой ему удалось бежать сначала на Пелопоннес, а потом в Спарту, и дело о гермоконидях так и осталось неразрешенным. С отъездом Алкивиада дела у афинян, осаждавших сицилийскую столицу, явно ухудшились, поскольку два другие стратега не отличались ни особыми воинскими дарованиями, ни быстротой решений. К тому же на помощь сиракузянам прибыл спартанский полководец Гилипп с трехтысячным войском, и вскоре дела приняли настолько неблагоприятный оборот, что афинянам пришлось послать к берегам Сицилии еще одну эскадру под командованием стратега Демосфена.

Почти год прошел в томительном ожидании, воскресавшие время от времени надежды сменяли периоды общего уныния, но когда пришла страшная весть о полнейшем разгроме, афиняне словно оцепенели. Невозможно, немыслимо было поверить, что все так и погибло. Те немногие участники экспедиции, которым посчастливилось возвратиться на родину, рассказывали, что в результате тяжелого сражения с сицилийцами и подоспевшими им на подмогу спартамцами были взяты в плен Демосфен и Никий, что же касается Ламаха, то он погиб еще раньше; что часть афинского войска отступила в глубь страны и затерялась в горах, преследуемая сицилийцами, что, когда они, бежав с проклятого острова, хотели найти временное прибежище у берегов Италии, тамошние города закрыли для них свои порты. Большая часть афинян, попавших в плен или добровольно сдавшихся сицилийцам, была продана в рабство и отправлена на работы в каменоломни. Погибло два флота, более двухсот триер, весь цвет афинского юношества.

Размеры катастрофы были таковы, что никто даже не решался высказать их вслух. И кого бы ни обвиняли в отчаянии и гнев афинские граждане: ораторов ли, побуждавших их к походу, изменника ли Алкивиада или же предсказателей, суливших успешное завершение похода, — всем было ясно одно: Афины подошли к своей последней черте. В казне не было денег, молодежь была перебита или влачила рабскую долю в сицилийских рудниках, союзники отнадали один за другим. Страх овладел афинянами, одно время даже казалось, что вот-вот неприятель высадится в Пирее, а оборониться от него уже нечем. Тяжесть общего горя как будто бы возвратила и Еврипида к благословенным дням его пылкой юности,

когда он вместе со всем своим народом, всем сердцем внимая каждому слову великого Эсхила, плакал о павших при Фермопилах или же в Марафонской долине, и, словно простив недалевидным и алчным согражданам их бесконечные ошибки и промахи, он пишет пронизанную глубокой печалью эпитафию на смерть погибших в Сицилии воинов:

Эти мужи восемь раз сиракузян в бою побеждали;  
Равными были тогда жребии волей богов...

По трагической иронии судьбы именно эта катастрофа определила, весьма недвусмысленно, цену его собственной поэзии, столь мало значившей в суждении соотечественников. Вот как пишет об этом Плутарх: «А некоторых (из тех, что попали в плен. — *Т. Г.*) спас Эврипид. Дело в том, что сицилийцы, вероятно, больше всех греков, живущих за пределами Аттики, цтили талант Эврипида. Когда приезжающие доставляли им небольшие отрывки из его произведений, сицилийцы с наслаждением вытверживали их наизусть и повторяли друг другу. Говорят, что в ту пору многие из благополучно возвратившихся домой горячо приветствовали Эврипида и рассказывали ему, как они получали свободу, обучив хозяина тому, что осталось в памяти из его стихов, или как, блуждая после битвы, зарабатывали себе пищу и воду пением песен из его трагедий».

После поражения в Сицилии для блестящего города Паллады настали действительно тяжелые времена, и многие вспомнили теперь о том, что в свое время «мудрецу Сократу его гений обычным условным знаком возвестил, что морской поход затевается на гибель городу». Так оно и вышло. Даже само население Афин уменьшилось настолько, что было разрешено возвратиться на родину всем изгнанным, кроме писистратидов. Тревожные слухи, ползущие по городу, бесконечные допросы, аресты, судебные процессы повергали афинян в панику, и стоило появиться глашатаю, сзывающему Совет на заседание, как все опретью покидали площадь, боясь быть задержанными. Опасаясь тирании, демагоги (многих из которых нельзя уже было назвать ни вождями, ни вожаками народа) сами становились порой хуже любого тирана, и никто в Афинах не мог считать себя в безопасности.

Положение казалось настолько безнадежным, что даже Аристофан, всегда пренеполненный словно бы неиссякаемой энергии и бодрости духа, начал терять веру в не-

идеалы и те возможности их осуществления, которые он отстаивал годами с неукротимостью и смелостью полного сил гения. Так страстно ожидавшийся и воспетый им мир рушился прямо на глазах, реальность не внушала никаких-либо надежд, и он бежал от нее, непонятной и страшной, в светлый мир вымысла и поэтической фантазии, поскольку умолкнуть совершенно его могла заставить лишь смерть. На Великих Дионисиях 414 года все тем же Каллистратом была поставлена его новая комедия «Птицы» — некий прообраз социальной утопии, герои которой, устав от «города ябед», отправляются к своему свойственнику, царю птиц, в некую далекую чудесную страну. Один из них, Пифетер, решает создать государство птиц со столицей Тучекукуйском, где все так похоже и вместе с тем непохоже на человеческую жизнь. В этой столице, где «живут без кошельков», нет места проходившим-демагогам, доносчикам, стихоплетам и модным певцам, тот, кто на земле был «опозорен, как клейменный беглый раб», окружен вниманием и уважением. В государстве птиц царят веселье и изобилие, в общем «тот золотой век», которого, как казалось великому защитнику патриархальности, уже было никогда не вернуть погрязшим в ошибках и пороках афинянам: «Зрители, хотите в счастье и в довольстве сытно жить, с нами, с птицами — не ждите, поспешите все сюда!»

И хотя к этому времени даже Аристофану, по-видимому, стало ясно, что никакой сатирой, даже самой смелой и талантливой, не повернуть назад течение времени и не заставить людей жить «по разуму, по справедливости», он все равно не мог отказать себе в удовольствии еще раз — в который уж раз! — высказать своим дорогим согражданам то, что он о них думает, то, как он их себе представляет:

У часов стоит у водных  
Город ябеды. Живет там  
Племя долгих языков.  
Языками семя сеют,  
Молотят и жатву делают,  
Мелот долгим языком  
Иноземцы по рождению  
Дети Горгия, Филиппа.  
Вот от них-то говорливых  
Из-за этих-то Филиппов  
Нынче в Аттике повсюду  
Вырезают языки...

Это же желание удалиться куда-нибудь «в лучшее место», подальше от неправды и насилия, все сильнее овла-



девало и сыном Мнесарха, который, словно предвосхищая своего вечного недоброжелателя, говорил об этом когда-то еще в «Ипполите»:

Если бы мне укрыться в кручах скалистых,  
Если бы мне со стаей птиц оперенных  
Легкою птицей взвиться по воле бога!

Столь суровый и высокомерный на вид, предъявлявший к людям казавшиеся чрезмерными требования, он воспринимал тем не менее как свои собственные их несчастья и горести, ему внушала сострадание горькая участь всех, кто потерпел поражение в вечной схватке человека с жизнью, и, постоянно взвешивая на весах своей болезненной совести все зло и все добро, творимое родом людским, Еврипид приходил к выводу, что торжествует все же добро:

Иные судят, что преобладает  
Среди людей дурное над хорошим,  
Но я другого мнения: в человеке  
Добро преобладает, а не зло,  
Иначе бы не мог и свет стоять.

Но чем дальше шло время, тем труднее становилось «философу сцены» разобраться, кто же, собственно, внушает ему жалость и сострадание, где же они, эти люди, добрыми делами которых держится мир? Кто они — разноплеменные рабы, обнищавшие земледельцы, варвары, спартанцы, беотийцы или же его сограждане-афиняне, сребролюбие и жестокость которых приводили его порой просто в отчаяние? Конечно, не все были такими, но другие молчали, затаившись в безнадежности и страхе, а «худшие», как казалось поэту, были на самом верху, непобедимые своей наглостью. Ученик Протагора, который должен бы был, казалось, хорошо разбираться во всех извилинах души человеческой, в особенностях людских характеров, Еврипид давно уже был вынужден признать, что он не в состоянии этого сделать, что этому, видимо, не научит никакая наука, как никакая мудрость не спасает от лжи:

О, если бы хотя малейший знак  
Имели мы, но верный, чтобы друга  
От недруга и лживые слова  
От истины мы сразу отлечали...  
Два голоса пускай бы человек  
Имел — один, особенный, для правды,

Другой — какой угодно. Ведь тогда  
Разоблачать всегда бы ложь могли мы,  
Игралищем людей не становясь...

И, до бесконечности усталый быть этим «игранием», поэт с каждым годом все больше отходил от былой своей дерзости, дерзости мысли и планов, печально склоняясь к тому фатализму, который составлял сущность восприятия мира древним человеком и подняться выше которого, бросая вызов всей зыбкости бытия того времени, было дано лишь немногим. Горькие мысли о том, что стремящийся проникнуть в суть бытия человек обречен навсегда оставаться непонятым и одиноким, что «труд и борьба — только лишние муки», уносили те последние искры радости жизни, что еще теплились в сердце угрюмого сына Мнесарха, и даже то, что ему было доступно высшее, как утверждали древние мудрецы и философы, из наслаждений — наблюдение и познание мира, даже это не представлялось теперь самоцелью и таило в себе горькие семена грядущих разочарований. Все казалось напрасным, он видел, что впереди его ждет участь Анаксагора, вышвырнутого из города, или же Протагора, превращенного расхожею молвой в шута и шарлатана; и было поистине непонятно, почему же те самые люди, которые прозвали Умом великого клаземенца, сочли его лишним в своем обществе, и почему, соглашаясь с оракулом относительно его собственной, Еврипидовой мудрости, сограждане все настойчивее и чаще указывают ему на дверь? Сохранился один из скульптурных портретов поэта этого времени (колоссальный бюст из паросского мрамора, хранящийся в ватиканском музее, в чертах которого, навеки запечатленные неизвестным художником, проглядывают «та серьезность, мрачность и неприветливость, в которой упрекали его комики, та нелюбовь к веселью и смеху, с которой так согласуется его любовь к уединению» — уединению философа, снедаемого неистребимым желанием проникнуть в загадки бытия...



#### УПРЯМЫЙ И ГОРЕСТНЫЙ СЛУГА МЕЛЬПОМЭНЫ

Сразу же после разгрома в Сицилии спартапцы вторглись в Аттику и по совету изменника Алкивиада не ограничились, как бывало, отдельными набегами, но укрепились лагерем в Декелее, в 20 километрах от города. Дорийские солдаты срезали па корню еще незрелые хлеба для своих лошадей, вырубали сады на топливо и укрепление лагерей, захватывали скот, разрушали жилища, а захваченных в плен крестьян уводили с собой. Отчаяние овладело осажденными афинянами, у которых оставалось теперь только море (на три месяца навигации в году) и почти не было источников продовольствия. Помощи ждать было неоткуда, потому что большинство городов Эллады, в которых зрели олигархические заговоры, было настроено крайне недоброжелательно по отношению к афинянам. Отложившиеся союзники, особенно в Малой Азии, искали покровительства у персов или же спартапцев, которые при посредничестве все того же Алкивиада также начали между собой переговоры, собираясь объединиться для нанесения последнего, решающего удара по Афинам на суше и на море.

Эта так называемая Декелейская война окончательно подорвала сельское хозяйство Аттики, а также серьезно

задела и ремесленное производство, особенно после того, как значительное число афинских рабов, работавших главным образом в эргастериях, перебежало к спартамцам. Все это обострило до крайности отношения между враждующими партиями, и противники демократии, уже не давая себе труда притворяться, открыто выражали свое недовольство существующим строем и намерение упразднить его как можно скорее. Они обвиняли сторонников демократии в том, что это они-де довели государство до столь печального состояния, требовали ограничения числа полноправных граждан, введения имущественного ценза и уничтожения оплаты государственных должностей. Многие утверждали, что только возвращение к «старинному отеческому строю» может спасти Афины от окончательной гибели; при этом одни понимали под этим правление аристократов, другим же — и пожалуй, таких было больше — хотелось вернуть Афины к казавшейся теперь идеальной умеренной демократии допериклова времени.

И действительно, оторванная от привычного, освященного вековыми традициями труда, опустившаяся от вынужденного безделья и нарастающей бедности, но вместе с тем уже усвоившая паразитическую психологию часть афинского люда все более превращалась в «пустую толпу», становясь вследствие этой самой пустоты послушным «ягратищем» всякого рода политических авантюристов. После стольких лет жестокой войны, и особенно после ужаса моровой язвы, не разбиравшей ни праведного, ни грешного, тяжелое, тусклое равнодушие все больше овладевало народом Кекропа, и постепенно, как пишет об этом Фукидид, «всевозможные виды порока водворились среди эллинов, и то простодушие, которое более всего присуще благородству, было осмеяно и исчезло». Большинство простых граждан оказывалось бессильными перед интригами и хитростью преследующих прежде всего свои собственные интересы политиканов, и вот, чтобы хоть как-то обуздать демагогию, беспринципный размах которой уже начинал внушать опасения даже наиболее убежденным и верным сторонникам демократии (таким, например, как поэт Софокл), было принято решение учредить особую комиссию из десяти пробулов, наделенную широкими полномочиями и призванную предварительно рассматривать все предложения, вносимые на обсуждение Совета и народного собрания.

Меньше, чем кого бы то ни было в Афинах, можно было заподозрить в приверженности к аристократии худо-

родного сына Мнесарха, но и ему уже внушало глубочайшие опасения то «безвластье и самовластье» полуголодной и невежественной толпы, от которого предостерегал в дни его полной надежд молодости бессмертный Эсхил. Обнищавшие и праздные афинские граждане уже не помышляли ни о чем другом, кроме как о хлебных раздачах, бесплатных зрелищах и дележе хоть какой-нибудь военной добычи; а загнанные войной в тесные степи города земледельцы, озлобленные и отчаявшиеся, оторванные от природы и привычного образа жизни, даже не знали, кого же винить в том, что веками складывавшийся мир рушился у них на глазах, и уже собственные соплеменники, и особенно образованные, философствующие, умствующие, казались такими же врагами, как и спартапцы. Коренные жители города и беженцы со всей Аттики уже начинали ненавидеть друг друга, нарастающая агрессивность искала выхода, и кровопролитные драки, убийства стали к этому времени частым явлением в Афинах. «Обычный выход черни — в сердце нож», — с горечью бессилия отмечал Еврипид, приходящий порой в отчаяние от этой тяжелой картины морального упадка.

Он давно уже отбросил самонадеянные мысли о том, что можно просвещением или же «примерным воспитанием» сделать более благородными, справедливыми и человечными тех, что изгнали Анаксагора, Фукидида и многих других достойнейших граждан, умело используя суеверия и традиционализм простого народа, а теперь только и ждали подходящего случая, чтобы расправиться с ним самим. Он не мог найти общий язык (впрочем, никто особенно и не собирался его слушать) с теми опустившимися от вынужденной праздности и нарастающей нищеты согражданами, у которых «заносчивость» заменила собой все прежние добродетели трудолюбивых и изобретательный афиняв:

. . . много нищих, что хотят казаться  
Богатыми, захватчика поддержат:  
Мятеж подняли и сгубили город  
Затем они, чтобы добро чужое  
Разграбить, промотав сперва свое  
На праздные попойки и пирушки.

Его, и раньше-то не особенно беспокоившегося о том, что подумают о нем и его произведениях зрители, теперь и вовсе, по-видимому, перестало интересовать их мнение. Так, однажды во время представления какой-то из очень уж смелых его трагедий зрители потребовали, чтобы Ев-

рипид вычеркнул из нее особенно возмутившее их место. Однако поэт отказался и, выйдя на сцену, заявил, что он привык учить народ, а не учиться у народа. Это высокомерие ученика великих философов, его убеждение в том, что «вообще, в переговоры с мужиком входить излишне... одних толковых можно убедить», вызывало все большее возмущение и гнев афинского демоса, за это его не выносил Аристофан, жалевший и по-своему понимавший раздавленного бедами простого земледельца, неотесанного и консервативного, чуждого каких бы то ни было философических тонкостей, но на котором издревле держится мир.

Сын Мнесарха имел все основания презирать уже в достаточной степени развращенную подачками и воинствующим национализмом демагогов афинскую чернь, но в то же время он словно бы не видел, не понимал того, что эта самая чернь не виновата в своем поистине катастрофическом положении и страдает от него больше всех. Он требовал тонких чувств и высоких мыслей от людей, которых бедствия этой ужасной, нескончаемой войны лишили все, что им было привычно и дорого; он уже не видел в толпе, заполнявшей по праздникам каменные скамьи театра Диониса, того вечного, неистребимого созидающего начала каждого народа, которое живо в нем даже в наиболее тяжелые годы, того жизненного зерна, которое может таиться под спудом долгих веков и потом вдруг расцвести опять в какое-то из грядущих времен пышным цветком новой культуры. Суровый последователь Гераклита был во многом прав в жестких требованиях, предъявляемых им своему народу, но понимание диалектики жизни словно бы стало ему изменять — понимание того, что вечные истины остаются сами собой, их невозможно осмаривать, но что людям, находящимся на грани поражения, надо было прежде всего как-то выжить и продолжать жить дальше, и в этом им уже ничем не могли помочь в достаточной степени абстрактные морализирования поэта, исходящего из высших критериев нравственности. Многие из того, о чем он с презрением говорил в глаза своим соотечественникам, они, вероятнее всего, и сами прекрасно видели и понимали, но были уже бессильны что-либо изменить, повернуть ход событий вспять. В отличие от Софокла Еврипид возлагал на самих же людей всю меру ответственности за неустроенность их бытия, не оставляя или почти не оставляя места враждебным человеку богам и судьбе, и за это его не любили

в такой же мере, в какой уважали Софокла, считая мудрость сына Мнесарха несправедливой и злой.

Впрочем, как почти всегда и во всем, чего он когда-либо касался, поэт сам оказывался то и дело во власти взаимоисключающих противоречий: при том, что он часто с презрением обрушивался на тупость и косность жителей деревни, в душе его, равно как и в творчестве, все более отчетливо вырисовывался и креп тот идеал благородного душой земледельца, который сближал его с Аристофаном (сближал объективно, потому что в личном плане ничто и никогда не могло примирить этих двух выдающихся людей своего времени) и который отразился во всем недостижимом величии несбыточного идеала в трагедии «Электра», поставленной Еврипидом весной 413 года.

Обратившись к тому же самому сюжету из мифов о микенских Атридах, на который были написаны «Хоэфоры» Эсхила и «Электра» Софокла, Еврипид отбросил, словно обветшавшую праздничную мишуру, традиционную героику этих преданий и остановился на самом главном — на непреходящей человеческой сущности вопроса о том, в какой мере каждый из людей имеет право быть судьей чужих грехов и можно ли кровью, тем более кровью собственной матери, платить за пролитую раньше кровь. Сам уже с трудом выносящий жизнь в большом городе (который, возможно, все больше представлялся ему средоточием всяческих пороков и общественных зол), поэт переносит действие трагедии из царственных Микен в деревню, где живет дочь Агамемнона Электра, выданная своей преступной матерью замуж за простого пахаря: чтобы «нищих плодить» и чтобы дети, рожденные от этого низкого брака, никогда уже не смогли бы претендовать на царский престол. И вот этот-то муж Электры, пахарь, тоже из древнего, но бедного, живущего трудами собственных рук рода, и выступает в трагедии как единственный, по существу, истинно благородный и добрый человек, чуткий к чужой беде, высокие нравственные достоинства которого удивляют царевича Ореста:

Вот человек — ни власти у него,  
Ни родичей прославленных, и в мире  
Не прогремит молва о нем, — меж тем  
Найдется ли среди аргосцев лучший?

Видя всю беспомощность Электры, преданной собственной матерью, пахарь старается чем может облегчить

ее положение, как-то скрасить горькую судьбу «девицы, рожденной в чертоге», которая случаем досталась ему в жены, но которой он, понимая всю трагичность этого случая, даже не коснулся. Он просит: «Электра, брось работать», но дочь Агамемнона, являя не меньшее душевное благородство и считая собственную долю не столь уж ужасной по сравнению с тем океаном зла и бедствий, в котором потонуло бывшее величие ее предков, старается отвечать вниманием на бесхитростные заботы своего мужа, с которым, что она прекрасно понимает, ей все равно не жить, как не жить ей вообще после того, что ей довелось увидеть и претерпеть:

Ты зод моих позором не венчал,  
Как бога, чту тебя я. О, для смертных  
В несчастьи найти врача такого,  
Каким ты мне явился, — это клад...

И микенская царевна рассуждает здесь как простая крестьянка, для которой, так же как и для ее мужа, главное в жизни — это земля, их поле, пахота, сев, понимая (это слишком поздно поняли многие из соотечественников Еврипида), что «кто ленив, пусть с уст его не сходят слова молитв, а хлеба не сберет». И она просит пахаря отдохнуть хотя бы дома, предоставив ей обычную, освященную временем женскую работу — сходить за водой, приготовить обед:

Иль мало в поле дела у тебя...  
Оставь мне дом! Приехав с нивы, пахарь  
Пойдет ли сам к обеду за водой?

Электра идет с кувшином к источнику, и тут появляется ее брат Орест со своим верным другом Пиладом, чтобы прервать раз и навсегда эту сельскую идиллию трудолюбия и несомой с достоинством бедности и вернуть все на круги своя, в тот замкнутый круг злоключений проклятых Фiestом Атридов, в котором дочь и сын Агамемнона вынуждены свершить свое последнее страшное дело и заплатить неминуемой гибелью за страшный грех своего преступного прадеда. Они решают отомстить за коварно убитого отца: убить мать и ее любовника Эгиста. Орест убивает его во время жертвоприношения, а Электра посылает за Клитемнестрой якобы для совершения обряда над родившимся у нее ребенком, и та тотчас приезжает, довольная, что родился этот ребенок не царской крови, но в глубине души мучимая тяжелыми сомнениями-



ми, сознанием своего несмываемого преступления («Весь этот гнев безумный... Горе мне...») и смутным предчувствием беды. И здесь, в нищей хижине с черными от копоти стенами, жестокая и гордая царица Микен находит свою смерть:

Суд божий свершится, и правда придет.  
О, страшная доля, о, зверский трофей  
Преступной расправы!

Орест и Электра казнят преступную мать, исполняя тем самым свой страшный, но непреложный долг и понимая, что вместе с матерью они сгинули навсегда и сами. «Любимая, постылая, покойся ж под плащом моим», — в последний раз обращается Электра к когда-то обожаемой ею матери, опять полюбя ее, очищенную от скверны греха, не торжествуя, не радуясь свершившемуся отмщению, но окончательно раздавленная собственным же деянием, раздавленная своим бессилием что-либо понять в этом страшном мире, где люди совершают такие преступления, что сами же не могут жить дальше, нося их на совести. Причем совершают их, прекрасно осознавая в глубине души, что это тяжкий грех, но рассудок, совесть почему-то уступают тем темным силам, которые таятся в тысячеликой сущности человека и так часто ведут его к гибели: «О, смертный, обид и нарушенных клятв страшися...»

Так, приближаясь к закату своих дней, мятежный умом и духом сын Мнесарха все больше осознавал тот вечный Закон, на котором зиждется мир — Закон правды, справедливости и добра (ведь именно о нем, этом непреложном законе бытия, говорили в свое время Эсхил и Геродот), и из последних сил пытался донести его до своих соотечественников. Для себя самого он окончательно понял (если в молодости у него и были, возможно, какие-то сомнения на этот счет), что ни деньги, ни богатство, тем более несправедливо нажитое, ни почести и даже ни знания главное в жизни каждого смертного, а простая душа и доброе сердце. Только люди, не делавшие в своей жизни зла окружающим, спят спокойно ночами на этой земле и пребудут, как считали тогда и в чем хотел убедить себя и других Еврипид, вечно в том высшем, нездешнем мире, который открыт лишь для праведных, любящих и бескорыстных. Что же касается благ в мире здешнем, то «сытым быть и завтра и сегодня может всякий, и за двоих богач едва ли съест»... Впрочем, теорети-

чески с этим никто и не спорил, только вот жить почему-то стремились наоборот, да и жизнь у афинян складывалась так, что о душевном спасении думать уже было некогда и речь шла просто о том, чтобы как-то продержаться и выжить.

Война продолжалась, олигархия в отложившихся союзных городах всячески побуждала спартацев расправиться с Афинами, но у пелопоннесцев не было средств, чтобы расширить, усилить свой флот и сокрушить ненавистных потомков Кекропа на их последней твердыне — на море. Тогда Фарнабаз и Тиссаферн, сатрапы персидского царя в Малой Азии, предложили спартамцам золото для постройки боевых кораблей, те приняли помощь и в 412—411 годах заключили три договора с персами, согласно которым узаконивалась власть Персии над ионийскими греческими городами и островами Эгейского моря. С появлением снаряженного на персидское золото пелопоннесского флота у берегов Малой Азии отложились Хиос и Милет, и только Самос, где одержали к этому времени верх демократы, остался верным Афинам. В Афинах, и особенно во флоте, все чаще поговаривали о том, что, если бы Алкивиад вернулся на родину и стал во главе войска, дела обстояли бы, без сомнения, намного лучше.

И хотя с каждым днем становилось все очевиднее, что надежд на победу почти не осталось, было еще немало граждан, даже слышать не желавших о том, чтобы сложить оружие и помириться со спартамцами, к чему призывали люди более дальновидные, и прежде всего Аристофан, вернувшийся из своей птичьей идеальной страны на эту грешную землю, потому что его неуемное сердце патриота и гражданина великого града Паллады не позволяло ему молчать и спокойно взирать на бедствия родины:

. . . . . Как родные, кровные,  
Из одного ковша вы возливаете  
На алтари — у Фермопил, в Олимпии,  
В Пифо, да где еще, не перечесть всего!  
И вот, перед лицом враждебных варваров  
Поля Эллады вы опустошаете.

В своей комедии «Лисистрата», поставленной в самый разгар неудач и бедствий, комедии, по своей эротике слишком уж откровенной даже для Аристофана (ее действие разворачивается вокруг решения всех гречанок не

спать со своими мужьями, пока те не прекратят воевать), павший было духом комедиограф словно обрел второе дыхание, решимость бороться и дальше с теми, ему ненавистными, что «дедов клад мидийский расточить сумели... а сами в возмездие и полушки не внесли». Его бессильный гнев против всего, что способствует развитию («Пока у вас триеры есть и золото в Акрополе — не быть Элладе мирною»), утопические призывы всем «приняться за соху», — то, что не раз давало впоследствии, даже много веков спустя, основания видеть в нем консерватора и ретрограда, все это вытекало прежде всего из того, что гениальный защитник аттического мужика мерил жизнь и предназначение в ней человека традиционными нравственными категориями уходящей патриархальности и не мог смириться с тем, что материальные блага, поступательное движение афинского общества неизбежно влекли за собой утрату тех многих ценностей, которыми были богаты, как представлялось ему, люди старинного времени, жившие беднее и проще. Но то, к чему ностальгически и вдохновенно призывал Аристофан, уже было не вернуть, и, в сущности, в этом столь идеализируемом им прошлом было тоже так бесконечно мало от того вековечного представления о справедливом и правильном обществе, которым тысячелетиями живет людской род...

Не боясь возмущения обозленных бедами сограждан, Аристофан возлагал теперь на Афины значительную ответственность за то, что братоубийственной распре не видно конца:

Теперь же в Спарту мы приходим трезвые,  
Того и ждем, чего бы замутить еще,  
Того, что говорят нам, мы не слушаем,  
А то подозреваем, что не сказано,  
Потом доносим то, чего и не было, —

и по-прежнему винил в нарастающей бесчестности в большом и в малом всякого рода умников, философов и софистов. И действительно, софисты нового поколения, такие, как Критий, Антифонт, Ферамен, Калликл, поистине довели до противоположности гуманистические постулаты Протагора и до абсурда диалектику Гераклита: положением о том, что «человек есть мера всех вещей», они обосновывали теперь проповедуемый ими эгоизм и индивидуализм, а учение великого эфесского философа о переходящести всего сущего превратилось у них в окончатель-

ный релятивизм в области морали, в тезис о том, что истина как таковая не существует вообще. Они считали (эти новые мудрецы, в основном аристократы по происхождению и богачи, никого и ничему не собиравшиеся учить и интересовавшиеся главным образом политикой), что нет ни добра, ни зла, а есть только то, что принято считать хорошим или же дурным, что нет никакой справедливости, а есть лишь удобные одним и невыгодные другим установления, которые меняются со временем. «Так вот тебе истина, — утверждал (как писал об этом впоследствии Платон) софист Калликл, — роскошь, своеволие, свобода — в них и добродетель и счастье (разумеется, если обстоятельства благоприятствуют), а все прочее, все ваши звонкие слова и противные природе условности — вздор ничтожный и никчемный!»

Идея «естественного равенства» всех людей, выражавшая гуманизм и демократизм их предшественников, обернулась у этих новых софистов проповедью «естественного неравенства», и в конечном итоге «права сильного»: хотя люди рождаются действительно равными перед законом, они, мол, явно не одинаковы по своим природным способностям и возможностям, и в борьбе, которая зовется жизнью, должен, естественно, побеждать и выживать более сильный. Ярым противникам демократии, этим проповедникам «права сильного», хотелось бы низвести афинский народ до уровня человеческого стада, до положения двуногих животных, вроде спартанских илотов, и в своем безудержном стремлении повелевать они готовы были начисто отрицать все сдерживающие законы и установления, как божеские, так и человеческие. Блестящий молодой аристократ Критий, прекрасный оратор и эрудит, ставший впоследствии, почти десять лет спустя, во главе олигархического правительства, излагал свои взгляды на общество и распределение ролей в нем в широко известном в то время политическом трактате «Государственное устройство» и утверждал в своей трагедии «Сизиф», что боги выдуманы умными людьми, для того чтобы держать в повиновении чернь. Что же касается законов общественных, то их, по мнению вторившего ему Калликла, «устанавливают слабосильные, а их большинство», стремясь таким образом сдержать более сильных сомнительным утверждением того, что «быть выше остальных постыдно и несправедливо». «Закон — это тиран, — проповедовали будущие олигархи, он стесняет проявление свободной и сильной личности, которая одна лишь способ-

ствуется дальнейшему развитию общества, «но сама природа... провозглашает, что это справедливо — когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что это так, видно во всем и повсюду и у животных, и у людей... сильный повелевает слабым и стоит над ним». И они сами уже были готовы стать выше, с нетерпением дожидаясь подходящего случая.

Роскошные одежды этих новоявленных «сильных по природе», их презрительная манера держать себя, их блестящее жонглирование словами, утратившими привычное, первоначальное значение, — все это вызывало возмущение и тайный страх у многих, и даже у тех, кого, как трагического поэта Еврипида, молва привычно объединяла с софистами, богохульниками и лжеумудрецами. Не слишком-то разбирающаяся в тонкостях драматического искусства и достаточно наивная афинская публика этого времени легко отождествляла с самим поэтом тех беспринципных, ловких молодчиков и даже откровенных злодеев, которых он продолжал выводить на сцену в традиционном мифологическом облике и которые весьма уверенно обосновывали хорошо всем известными софизмами свою полнейшую аморальность. Многие из еврипидовских персонажей этого времени, развенчивающих в словесной эквилибристике привычные представления о правде, добродетели и долге, живо напоминают собой Калликла, Крития или же Алкивиада, за блестящими умозаключениями которых, за их, казалось бы, беспристрастным рационализмом отчетливо проглядывали холодный расчет, безудержная корысть и жестокое презрение к людям. Подобных им, хотя и помельче, было к этому времени уже немало в Афинах, и те, что возмущались во время Лены или же Дионисий Иксионом, Беллерофонтом или другими персонажами Еврипида, возмущались в значительной мере потому, что не могли не узнать если уж не себя, то своих ближних в этих аморальных и своекорыстных «героях», а они не хотели себя узнавать.

Новые «сильные люди» внушали отвращение и ужас поэту, черты этих новых героев, лишенных каких-либо сомнений, не обремененных совестью или состраданием к ближнему, проглядывают во многих персонажах Еврипида начиная уже с Ясона, расчетливого и холодного, никого не любящего, до парадокса безукоризненные умозаключения которого приводят к гибели его же собственных детей. Таков и Этеокл, словно предвосхищающий собой политиканов конца Пелопоннесской войны:

Когда Неправда нам вручает Власть,  
Они прекрасны обе. Добродетель  
Во всем другом готов я соблюдать.

Таков почти во всех поздних трагедиях Еврипида Одиссей, точно списанный с Алкивиада или же софиста Антифонта, ставшего во главе заговорщиков-олигархов: «лукавец гнусный... похититель права, змея беззаконная... чей язык двоедушный все вывернет, перевернет, вражду между близкими сеет». Такова и Елена в «Троянках», опозорившая мужа, вовлекшая в страшную, губительную войну многие народы даже не ради любви красавца Париса, а ради его золота (затем, что «не роскошно в Аргосе жила») и оправдывающаяся потом перед Менелаем, умничая и рассуждая не хуже любого софиста. Ученик и друг Протагора не желал видеть ничего общего между автором сочинения «О богах», убежденным демократом и гуманистом, и этими, словно бы абсолютно пустыми внутри защитниками «естественного неравенства», и все же он не мог не признаться хотя бы себе самому, насколько она страшна, эта открытая бессмертным Гераклитом диалектика всего сущего: то же самое слово «софист», которое в дни его молодости было почти равнозначно слову «учитель», теперь по своей сути приблизилось к слову «тиран».

Сын Мнесарха устал. Он смертельно устал от несообразностей мира, от жестокости, неправды и крови, а также от своей собственной неспособности все это понять. Порой эта усталость наваливалась на него с такой силой, что он чувствовал отвращение даже к театру: зрители, заполнявшие в праздничные дни скамьи театра Диониса, казались ему всего лишь пустой, разношерстной толпой, к рассудку и совести которой он тщетно взывал долгие годы. Но он был рожден поэтом и не мог им не быть, он был уже неотделим от театра, угрюмый служитель муз, пожизненный данник Аполлона. Огромная жажда жизни все еще не была до конца исчерпана в его измученном сердце: пусть в мире нет справедливости, пусть в нем так мало человеколюбия, искренности и доброты, пусть все это так, но тогда тем более нужно создавать свои собственные миры, где торжествуют добро и самое прекраснейшее из прекрасного — любовь. И шестидесятивосьмилетний, почти во всем разочарованный поэт и философ пишет несколько прелестных пьес со счастливым концом (их открывает собой «Ифигения в Тавриде», поставленная в 414 году), очаровательных романсов о вер-

ности и любви. Эти блестящие драмы, которые уже даже нельзя назвать трагедиями, с их идиллическими сценами и прекрасной музыкой, написанной молодым другом Еврипида Тимофеем Аргосским, такие, как не дошедшие до наших дней «Антиопа» и «Гипсифила», как поставленные в 412 году «Елена» и «Андромеда», были, в сущности, тем же, что и «Птицы» Аристофана — тщетной попыткой уйти, удалиться в сказочный, пасторальный мир от угнетающей мысли и чувства реальности... Этот вымышленный мир, где царят красота и любовь, где в конечном счете всегда торжествует добро, все более отвечал настроениям многих афинян, и особенно молодежи, уставшей от зла и жестокости, истосковавшейся по всему светлому и возвышенному, тяготеющей за неизменным истинной красоты и любви хотя бы к изящной красности и достаточно маперной сентиментальности, и поэтому эти новые пьесы Еврипида пользовались небывало большим для него успехом, особенно «Андромеда» (от нее сохранилось лишь несколько отрывков), и спустя даже многие годы можно было слышать на улицах Афин, как молодежь распевает «О, любовь, высший царь над людьми и богами» и другие прелестные арии — последние светлые творения, словно проблески юной весенней поры в поздней осени трагического поэта.

Вопреки своей прежней трактовке мифа о злосчастном «треугольнике» Елены, Париса и Менелая, а также самого образа прекрасной спартанской царицы — погубительницы Трои Еврипид обратился в драме «Елена» к тому варианту мифа, который восходит к Гесиоду, нашел отражение у Стесихора и Геродота и согласно которому Елена не бежала с Парисом в Трою, а была перенесена богами в Египет, чтобы потом, после окончания войны, воссоединиться с тоскующим по ней Менелаем, а в Трое был якобы лишь ее призрак. Как писал в связи с этим Геродот, Елена скрывалась у царя Протея, в Египте был даже храм в ее честь — храм «чужеземной Афродиты», это, мол, было известно и Гомеру, но он сознательно умолчал об этом в «Илиаде», так как это не соответствовало его творческому замыслу. И что даже египетские жрецы знали об осаде Илиона от самого Менелая, призвавшего потом за женой, а троянский царь Приам и не смог выдать Елену ахейцам и тем самым предотвратить гибель города просто потому, что ее в Трое не было. Существовало предание о том, что Стесихор написал сначала хоровую поэму «Елена», где спартанская царица

являлась по традиции виновницей страшной войны и гибели многих людей, но божественные Диоскуры, братья Елены, в гневе наслали на него слепоту. И тогда испуганный поэт сочинил палинодию — «обратную песню», в которой мифическая красавица сама представляла бессильной перед несчастным стечением обстоятельств. Вероятней всего, Стесихор решил не портить отношений со спартамцами, у которых с древнейших времен был культ Елены как местного божества плодородия, отожествляемой отчасти с Деметрой, отчасти с Афродитой.

Что же касается Еврипида, то он, ранее постоянно поносивший в своих трагедиях Елену как источник страшнейшего зла и всеобщей гибели, создает вдруг теперь очаровательный образ любящей и несчастной женщины, ставшей жертвой жестокосердных богов и своей собственной красоты:

О жены, о подруги, что за рок  
Меня сковал? Иль на свет я родилась  
Чудовищем, загадкой? Так во мне  
Все странно, необычно так... То Геры  
Игрушкой становлюсь я, то своей  
Красы безвольной жертвой...

Может быть, столь трогательный образ, который не мог не понравиться пелопоннесцам, был продиктован стремлением к миру, но, как бы там ни было, представляется даже странным, что драму со столь явно выраженной симпатией к спартамцам (не только к Елене, но и к Менелая), драму, хотя и блестящую в художественном отношении, допустили для постановки в Афинах спустя год после опустошительной Декелейской войны.

Это сентиментальная история о любви нежных преданных супругов, Елены и Менелая, разлученных злой волей рока, действие которой происходит уже через семь лет после гибели Трои, когда «не различить там даже места стен», в Египте, где умерший к этому времени царь Протей приютил когда-то несчастную спартанскую царицу и о чем не знает никто, даже сам Менелай. Ныне царствующий сын Протея всеми мерами склоняет Елену к браку с ним, но она, сокрывшись в святилище, хранит свою верность и чистоту, в то время как на родине ее обвиняют во всех грехах, и «Элладе всей Елена ненавидиа». Она мечтает лишь об одном — вновь увидеть своего горячо любимого мужа и допытывается у ясновидящей царевны Феони о его судьбе. Между тем и сам Менелай, потерпевший кораблекрушение по пути в Пелопоннес, по-



падает в Египет, не зная о том, что царь Феоклимен, опасаясь, как бы не увезли Елену, приказал убивать каждого появившегося на его земле ахейца. Узнав от дворцовой привратницы, у которой он, словно бродяга-нищий, просит кусок хлеба, о том, что в этом чертоге обитает Елена, Менелай поражен и испуган, так как сам совсем недавно оставил свою жену, отбитую в Трое, в укромном месте в пещере (не зная, что это всего лишь созданный богами призрак). Увидев Елену, выходящую в сопровождении хора из дворца, несчастный царь принимает это за какое-то колдовство. Далее следует лирическая сцена узнавания, сопровождавшаяся, как сообщают античные авторы, прекрасными мелодиями и ариями, взаимные подозрения рассеиваются, и влюбленные — а здесь Елена и Менелай выступают именно как молодые влюбленные — вновь обретают друг друга.

Е л е н а:

О Менелай!.. Любимый!.. Годы мук  
В какую даль ушли!.. а наслажденье  
Так свежо!.. О подруги! Он со мной.  
Я нашла его, какая радость!  
Я его, лаская, обнимаю!  
Сколько дней, о милый, сколько дней!..

М е н е л а й:

Как сладко мне в глаза твои глядеть!  
На жребий не сержусь я больше, нет.  
.....  
О, ты моя, и твой я. Сколько раз  
Сменилось солнце, прежде чем обманы  
Богини осветило наконец!  
Слезы я лью, только сладкие слезы:  
От мук пережитых осталось  
В них больше отрады, чем горя.

Здесь появляется жестокий египетский властитель Феоклимен — и над несчастными супругами вновь нависает опасность, однако сестра его, пророчица Феоноя, решает помочь Елене, поскольку считает, что «брату... услуги себе в позор не вправе оказать». И далее действие разворачивается как авантюрная, полная хитростей, обманов и переодеваний комедия: когда Феоклимен приказывает схватить и казнить нарушившего его запреты ахейца (не зная, что это сам Менелай), Елена, собрав всю свою находчивость и самообладание, просит у него корабль с гребцами якобы для того, чтобы справить согласно обычаю поминки по погибшему мужу в открытом мо-

ре, обещая после этого выйти замуж за царя. Обрадованный этой неожиданной уступчивостью, Феоклимен охотно дает просимое и весьма милостиво обращается со схваченным ахейцем, которого столь желанная для него красавица называет своим земляком, принесшим ей печальную весть о смерти Менелая:

. . . . . Ты принес  
Приятные нам вести: так лохмотья  
Одеждою приличной замени  
Да забери припасов на дорогу:  
Ведь истрадался ты порядком, вижу...

Получив корабль и все необходимое, вновь обретшие друг друга супруги отплывают наконец к родным берегам, оставляя незадачливого египетского жениха сетовать на коварство женского пола и свою смешную доверчивость: «Женской хитростью обманут я несчастный». И только появившиеся, уж как водится, в финале драмы божества, в данном случае Диоскуры, уговаривают царя смириться с тем, что предначертано судьбою, и сдержать «свой гнев несправедливый».

Эти очаровательные вещицы (сам поэт то и дело дает понять зрителям, что происходящее на сцене — всего лишь шутка, минутный отдых среди становящейся порой невыносимой реальности) умножили славу Еврипида как поэта — и возможно, первого поэта Эллады — за пределами отечества, да и в самих Афинах молодежь не уставала восхищаться великим трагиком, декламируя наизусть и распевая прямо на улицах целые куски из его произведений, а те, что не были обделены от природы Аполлоном и музами, по мере сил и возможностей старались ему подражать. Казалось бы, он мог наконец почувствовать удовлетворение, вкусь сладость признания, по то ли потому, что это признание наступало слишком поздно, то ли потому, что своей поэзией ему не удалось достичь самого главного, на что он надеялся и о чем он мечтал, — сделать жизнь людей более правильной, разумной и человеческой, но только старый поэт не испытывал, по-видимому, радости от растущей своей славы.

На своем долгом веку Еврипид слишком много размышлял о тех вечных и неразрешимых для смертного вопросах, которых, в сущности, лучше не касаться, если не рискуешь потерять себя в бездне познания и утратить простую радость бытия, и поэтому обожание молодежи, растерявшейся в противоречиях жизни, не могло для не-

го значить особенно много. Все прелестные пьесы последних трех лет были для поэта не более чем изысканным развлечением — он сам то и дело мимоходом и иронически подчеркивал, что это, мол, так, всего лишь очаровательные сказки — последним солнечным бликом в той сумрачной полосе жизни, когда мысли каждого смертного, а тем более такого человека, каким был сын Мнесарха, обращаются все чаще и все настойчивее к мирам иным, более совершенным и вечным, чем этот, обманувший их самые лучшие и светлые надежды, или, по крайней мере, к поискам этих миров. Испытывая гнетущее неудовлетворение жизнью (как своей собственной, прожитой, как все чаще казалось поэту, совершенно напрасно, так и жизнью людей вообще, слишком неправильной и жестокой), Еврипид так хотел бы поверить в то, что эта жизнь не одна, что за ней последуют (если верить, например, Пифагору) тысячи тысяч других жизней, неизвестно только, более ли лучших и осмысленных, но, по-видимому, он так и не смог до конца в это поверить.

Трудно сказать достаточно определенно, верил ли он в бессмертие души: как и в большинстве других вопросов, он и в этом вопросе, столь важном для древнего человека, так и не сумел прийти к какому-то окончательному выводу и всю жизнь вел трудный и беспристрастный спор с самим собой. Знакомство с атомистическими теориями и космическими построениями натурфилософов не оставило, казалось бы, места для веры в бессмертие души, однако в вечную сущность человека (разум ли, душу ли) верили и его учитель Анаксагор, и софисты, и Сократ: «О том же говорит и Пиндар, и многие другие божественные поэты... они утверждают, что душа человека бессмертна, и, хотя она то перестает существовать — это и называют смерть, — то снова рождается, она никогда не гибнет. Поэтому и следует прожить жизнь как можно более благочестиво». Несообразность земного бытия, его приводящая в отчаяние неустроенность заставляла этих, столь великих разумом людей искать какого-то объяснения и оправдания жизни в иных мирах, считать знание и добродетель своего рода воспоминанием о той истине, которую созерцала душа до своей земной жизни, и видеть в смерти лишь переход в иной, лучший мир, где открываются, если верить древним учениям, столь величественные и прекрасные картины небесных сияющих просторов, по сравнению с которыми не стоит ни малейшего сожаления наша скудная и темная земля. И сын Мнесарха

то поддавался мистическому очарованию этих представлений (ибо, как писал об этом впоследствии Платон, «если только человек не лишен рассудка, он непременно должен опасаться — ведь он не знает, бессмертна ли душа, и не может этого доказать»), то сомневался в них:

Но ведь жизнь человека — мученье одно  
И томительный труд непрерывный.  
То другое, что жизни милее земной,  
Черным облаком скрыто от наших очей.  
И себе же на горе свое бытие  
Под сверкающим солнцем любить мы должны,  
Потому что не ведаем жизни иной,  
И не слышим усопших, и сердце свое  
Только сказками праздными тешим.

И «философу сцены», так и не сумевшему, подобно своему бессмертному учителю по прозвищу Ум, действительно отстраненно и в достаточной степени равнодушно взирать на беды отечества, поэту, так болезненно воспринимавшему все окружавшее его человеческое страдание, должно было казаться поистине необъяснимым и странным жизнелюбие его отдаленнейших предков, людей троянской эпохи, утверждавших без тени сомнения подобно гомеровскому Ахиллу:

О, Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся,  
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,  
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,  
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый.

И поэтому, приближаясь к своему семидесятилетию, сын Мнесарха все чаще думал и говорил о «царстве мертвых», которое представлялось ему антиподом грешного царства живых, где успокоится наконец измученный человек (вернее, его бессмертная сущность), где он встретится снова с теми дорогими и незабвенными, которых он навсегда потерял, и скажет им то, чего не успел досказать в этой жизни. «А там отец поможет, в царстве мертвых», — успокаивает старуха Гекуба своего убитого крошку внучонка (отец, который так и не смог охранить малыша при жизни), утешая этим и себя самое, готовясь добровольно последовать за своими кровными и единственными туда, где не бывает коварства и не льется неостановимым потоком живая горячая человеческая кровь...

А иной раз, размышляя о смерти и бессмертии, поэт приходил к мысли о том, что вечная жизнь дается (обязательно должна даваться, иначе где же он, этот утверждаемый Гераклитом извечный закон Мировой справед-

ливости?) в награду лишь тому, кто здесь, на этой земле, был праведен и добр, не делал людям зла, но сам в то же время был обделен совершенно не только что счастьем, но даже простой и недолгой человеческой радостью:

Если б боги людей различали  
В провидении мудром,  
Мог бы добрый две юности видеть,  
После смерти весной насладиться.  
А дурные, в ком нет благородства,  
Так бы и были:  
Отжил век свой —  
Да и в могилу.

Ему хотелось поверить, что дух его, столь мятежный и беспокойный при жизни, обретет наконец долгожданный покой, растворившись в эфире, как утверждали философы того времени, после того как тело возвратится туда, откуда пришло, — в кормилицу-землю («Нам дается тело не в собственность, лишь как приют для жизни — и пусть лежит в кормилице-земле»), но вряд ли он верил в это. Ему хотелось бы согласиться с Сократом, что главное в этой жизни — забота о душе («...раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее»), но он не мог согласиться и примириться с этим до конца — он был слишком земным человеком, всю жизнь мечтавшим о правильной и человеческой жизни именно в этом (может быть, даже единственном) мире. Его великий ум упорно стремился проникнуть в наиболее сокровенные тайны бытия — и это казалось непостижимой для смертного дерзостью, опасным безумием многим из его соотечественников, которые, подобно неумолимому ко всякого рода умникам Аристофану, были твердо уверены в том, что есть в мире такие вопросы и вещи, которых смертный просто не должен касаться, иначе за этим неизбежно последует страшное, непоправимое зло, и не только для самого святотатца, но и для всего человечества.

И если четвертью века раньше философствующие вызывали недоуменное недоброжелательство, то теперь многие из них (и прежде всего те, кто чуть ли не открыто проповедовали «право сильного» и утверждали, что из всех форм правления самая разумная — это олигархия, поскольку демократия, мол, сдерживает развитие сильной,

Исключительной личности) внушали просто ужас. Потому что они не просто «учили» в частных домах или под сенью портиков, но решительно и энергично готовились воплотить свои теории в жизнь. В своих тайных гетериях они произносили присягу: «Я буду врагом народу и буду придумывать ему всякое зло, какое только могу», — и с нетерпением ждали своего часа, чтобы доказать клятву делом. Софист Ферамен, прозванный Котурном (обувь, которая годится на любую ногу) за свою политическую беспринципность; Антифон, как говорили, автор ходившего по городу анонимного трактата — злобной сатиры на демократические порядки, несовместимые якобы с честностью и справедливостью, презиравший народ Критий — это были богачи новой формации, владельцы золотых приисков и заморских факторий, отвергавшие как обломки старинного коллективизма времен родового строя, так и современную им демократию. «Сильные люди» откровенно рвались к власти, и недалеко уже было то время, о котором так писал навсегда сохранивший верность идеалам умеренной демократии Фукидид: «Народ безмолвствовал и, лишенный свободы речи, был в такой панике, что считал для себя барышом и то уже, если не подвергался какому-либо насилию»; если же кто и осмеливался возражать, то тем или другим подходящим способом его немедленно умерщвляли, и над виновными или подозреваемыми в убийстве «не производилось следствия и не возбуждалось судебного преследования».

Пользуясь тем, что, кроме сохранившегося и еще довольно значительного слоя старинной аристократии, в Афинах к этому времени было уже немало людей, по тем или иным причинам недовольных властью демагогов, а также желавших возвращения Алкивиада, в счастливую звезду которого они продолжали верить, сторонники олигархического образа правления начали открытую агитацию, призывая к низвержению демократии. Так, военачальник Писандр, известный ранее приверженностью к демократии, но за последние годы круто изменивший свои политические убеждения, выступил в Народном собрании с речью о том, что единственным средством спасения родины он считает немедленное заключение союза с персидским царем, возвращение Алкивиада и передачу власти в государстве «немногим и лучшим лицам». Нашлось немало простых афинян, которые верили ему, помня о его былой верности народу, и были готовы при-

нять его предложения в надежде на лучшие перемены в будущем, поэтому Писандру удалось провести через собрание некоторые постановления, расчищавшие путь олигархии. Все шло своим чередом к недоумению и ужасу истинных сторонников народовластия и патриотов, которые не могли уже ничего изменить в создавшейся обстановке (как говорил впоследствии в связи с этим Софокл), да и не представляли себе, что вообще можно сделать.

И если людям более молодым, таким, как благородный Аристокл, вошедший в бессмертие под именем философа Платона, преисполненным, по его собственным словам, стремления служить обществу, еще казалось, что положение можно исправить и вернуть город к прежним высотам могущества и процветания, то сын Мнесарха, так же как и немногие из еще остававшихся в Афинах его сверстников, в глубине души уже чувствовал отчетливо и скорбно, что прошлого не вернуть никогда, а будущее — о нем не хотелось даже думать... Создавший на своем долгом творческом пути так много неповторимых в своей индивидуальности и непохожих друг на друга героев, Еврипид воплотил в каждом из них частицу себя самого — сначала еще молодого, полного дерзости и необузданных чувств, потом поостывшего, пожалуй, несколько даже растерявшегося перед неборимой силой великой реки жизни, и, наконец, уже совсем старого, разочарованного и уставшего, которому хотелось бы никогда больше не видеть родного города и незаметным, ничего не имеющим и ни в ком не нуждающимся служкой в старинном запустевшем святилище мести лавровой веткой тихий храмовый двор в солнечных пятнах между причудливыми тенями древних платанов и маслин, как герой его трагедии «Ион», поставленной в 412 году, трагедии, как считается, наиболее иронической и загадочной из всего, написанного Еврипидом. Юноша Ион, не знающий своего родства, верный слуга предавшего его Аполлона (хотя потом в соответствии со счастливым концом, столь частым для Еврипида, бог исправил причиненное им зло), — это сам старый поэт, это та его ипостась, которая так и осталась неосуществленной, хотя всегда давала о себе знать. Рассуждения и мысли совсем молодого человека, не ведавшего еще никаких соблазнов, несмотря на то, что, прекрасной жизни — это горькие, запоздалые сожаления старика, прожившего, по его мнению, жизнь совершенно не так, как ему бы хотелось; поэт словно завидует своему герою,

живущему той самой жизнью, какой следовало бы жить ему самому:

. . . . . нет приятней  
Досуга человеку, а у нас  
Найдется и досуг: хлопот немного.  
С пути меня никто, злодей, не сбросит,  
И уступать тому, кто ниже нас,  
Дороги я не должен, что несвободно.  
Молюсь богам, беседую с людьми...

Служка Аполлона Ион — это то, чем хотел бы стать на склоне лет сам сын Мнесарха, никогда ни на мгновение не позавидовавший ни царскому жребию, ни власти тирана, ни богачу из богачей, дрожащему «при каждом шуме над сундуками сидя». Всю жизнь стремившийся к уединению, спокойной и созерцательной жизни, вблизи муз и природы, сразу же и навсегда отказавшийся быть «первым среди гребцов», Еврипид так и не смог осуществить этого если уж не полностью, то хотя бы в такой мере, как бессмертный Гераклит или же полностью отказавшийся от земных богатств Анаксагор; и он не смог этого сделать, думается, главным образом потому, что навеки связал свою жизнь с театром, со служением Мельпомене, которой невозможно при всем желании служить в одиночестве, подобно философу, астроному или же математику, и невозможно обойтись без пристального и безжалостного суда современников...

Согласно преданиям когда-то, в седые незапамятные времена некто Ксуф, человек неизвестного происхождения, искатель приключений и отважный воин, оказал Афинам важную услугу во время войны с Эвбеей, в награду за это получил руку царевны Креусы, дочери Эретейя, и вот их-то сын Ион и был прародителем всего ионийского племени. Со временем укрепившимся в своей мощи и славе афинянам показалось слишком уж скромным такое происхождение их прародителя — и тогда появилась легенда о том, что отцом Иона на самом деле был сам бог Аполлон, соблазвивший Креусу. В страхе перед гневом отца, царевна спрятала новорожденного в пещере под Акрополем, и тогда Аполлон попросил Гермеса отнести младенца в Дельфы, где тот, воспитанный храмовой жрицей, вырос служкой своего бессмертного отца, молчаливым и прилежным юношей, внешне как будто бы совершенно смирившимся со своим сиротством, но внутренне глубоко ощущающим одиночество, подобно другим сыновьям смертных женщин и богов, этим не-



счастливым жертвам недолговечной прихоти своих всемогущих отцов:

Но такого не помню,  
Чтобы счастье венчало  
Порожденного девою  
От союза с бессмертным.

В отличие от Эсхила и Софокла Еврипид не видит ничего священного в этих неравных и кратких связях, и влюбленный бог, остывающий вскоре к своей очередной возлюбленной (сколько их было у них, бессмертных!), похож у него на обычного покорителя женских сердец и разрушителя девичьих судеб (в «Меланиппе», «Данае», «Аллопе»), этот жестокий, лживый, неверный «низкий любовник», в котором нет ничего величественного и истинно божественного. Подобно какому-нибудь афинскому ловеласу, Аполлон в «Ионе» стремится прежде всего скрыть следы собственных шалостей и делает тем самым еще более горестной и тяжелой судьбу соблазненной им Креусы. Вступив в брак с героем Ксуфом, она не имела больше детей, и супруги бесконечно страдали от этого. Они прибыли в Дельфы, чтобы спросить оракула о своей бездетности, на что Локсий (Аполлон) так ответил Ксуфу: тот, кто первый попадет к нему навстречу при вступлении в храм, тот и будет его сыном. Возмущенная тем, что муж хочет ввести в ее древний царский дом какое-то отродье (возможно, даже прижитое им от рабыни), Креуса решает любой ценой избавиться от новоявленного сына, покончить с ним мечом или ядом, ее замысел раскрывается, и в столь характерной для Еврипида в высшей степени драматической обстановке, когда мать, припав к алтарю, умоляет о пощаде сына-жреца, они наконец узнают и обретают друг друга. Все, как всегда, становится на свои места, наступает развязка ко всеобщему удовлетворению — развязка, которая становится все более частой для Еврипида по мере того, как он осознавал с бесконечным отчаянием и усталостью, что развязки подлинных трагедий человеческой жизни, до ужаса неправильной и непонятной, лежат где-то там, за гранью этого мира, в непостижимом и темном небытии...

И блистательный и вероломный Аполлон никакой не бог для него, взыскающего вечных тайн бытия ученика великих философов, так же как не боги для него и все остальные олимпийцы. Как может быть богом тот, о ком твердит хор: «Мне стыдно за бога», в порядочности ко-

того (порядочности, необходимой для каждого обычного смертного) усомнился даже верный служка Ион:

Нехорошо... Могуч — так будь и честен.  
Кто из людей преступит, ведь небось  
Того карают боги.. Как же, жам  
Законы сочиняя, вы добьетесь,  
Чтоб мы их исполняли, если их  
Вы ж первые нарушить не боитесь?..

Итак, с олимпийцами все было, казалось бы, ясно и понятно, но оставалось по-прежнему непостижимым самое главное — существует ли человек сам по себе, со всеми своими благими и дурными деяниями, ничему и никому не подвластный, и жизнь его, в сущности, неуправляемый хаос, или есть все-таки Некто или же Нечто, что придает этой жизни ее высший конечный смысл и руководит людским родом, столь далеким от совершенства? Об этом размышляет в трагедии юноша Ион — старик Еврипид, отрицая обветшавших олимпийцев, но надеясь, что все-таки он есть, тот Всемогущий и Вечный, который должен в конце концов превратить в гармонию сумрачный хаос бытия и всем воздать по заслугам («добрый будет награжден, только злым, покуда злые, счастья в жизни не видать»), иначе чем же жить?..

Но пока торжествовали только злые. Учреждение комиссии пробулов ни в чем не улучшило положения в городе, и сторонники олигархии настойчиво требовали передачи всей полноты власти в руки богатых людей как имеющих средства для того, чтобы спасти оказавшееся, как утверждали они, на краю гибели афинское общество. В 411 году приверженцы власти «немногих и лучших» произвели государственный переворот и добились от народного собрания принятия новой конституции, разработанной в олигархических гетериях. Вместо прежнего Совета пятисот теперь был создан путем кооптации совет из 400 человек, «наиболее достойных и состоятельных граждан». Народное собрание было ограничено до пяти тысяч человек, тех, что имели средства на содержание вооруженного гоплита, однако и в таком виде оно не было ни разу созвано за все время правления олигархии. Были отменены всякого рода раздачи и оплата государственных должностей; новое правительство тут же начало переговоры со Спартой о мире, однако спартанцы потребовали в качестве основного условия прекращения войны полного отказа афинян от владычества на море, так что даже среди олигархов (каждый из которых жа-

ждал первенства, а по существу, единовластия) возникли серьезные разногласия по этому поводу, и обстановка в городе продолжала обостряться. Как только весть об олигархическом перевороте донеслась до союзных городов, еще сохранявших верность своим обязательствам перед Афинами, сторонники олигархии в них стали также повсюду переходить в наступление и, низвергнув демократию, сразу же начинали искать союза с пелопоннесцами.

Все эти события развернулись в то время, когда афинский флот находился у острова Самос, и, когда моряки, в подавляющем большинстве приверженцы демократии, услышали о том, что власть в городе захватили олигархи, они наотрез отказались подчиняться новым порядкам. Узнав об этом, Алкивиад, живший тогда в Малой Азии, но не оставивший надежды вернуться когда-нибудь победителем в Афины, вступил в переговоры с Фрасибулом, стоявшим тогда во главе флота, и предложил ему свои услуги, уверяя, что он всегда был и есть убежденный сторонник демократии, а печальные обстоятельства его бегства из Греции объясняются лишь гнусными происками приверженцев олигархии. В итоге он был назначен главнокомандующим флота, угворил персидского сатрапа Тиссаферна дать им крупную денежную субсидию и начал готовиться к продолжению военных действий против Спарты.

Горестное чувство поражения овладевало все больше сыном Мнесарха при виде того, как неостановимо рушилось то, что казалось святым и незыблемым, как в силу главного и непреложного закона мироздания, открытого бессмертным Эфесцем, все прямо на глазах превращалось в свою противоположность, и он то впадал в неистовый гнев, готовый ценой самой жизни отстаивать идеалы своей молодости, повергнутые жестокими и бесчестными, то устало затаивал, подавленный собственным бессилием и, очевидно, неуправляемостью людского бытия, мутного и страшного потока жизни:

Ты, случай — бог: нас мириады здесь,  
И каждого и каждый миг ты можешь  
И мукою донять и наградить  
За прошлое...



### ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В АФИНАХ

Правление «достойных и состоятельных» ни в чем не улучшило, да и не могло улучшить бедственного положения Афин. Военные действия продолжались, так как сами олигархи никак не могли прийти к единому решению относительно того, стоит ли принять предложенные Спартой условия, и в 411 году афиняне вновь понесли тяжелое поражение в морской битве у Эвбеи. Спартанцы овладели также Византием и Халкедоном, перерезав «понтийскую хлебную дорогу», и призрак голода повис над измученным городом, лишившимся основного источника зерна. Все это обострило разногласия среди стоящих у власти: крайние приверженцы олигархии во главе с Фринихом и Антифонтом настаивали на немедленном заключении мира со Спартой на любых условиях, в то время как более умеренные, возглавляемые Фераменом, были против и предлагали изыскать какие-то иные пути, чтобы выйти из кризиса.

И снова, как это бывало в последние годы каждый раз, когда военное положение становилось особенно тяжелым, волна насилия захлестнула Афины: олигархи судили, убивали и конфисковывали имущество, следуя бесконечным доносам и обвинениям, и ни один из подозре-

ваемых в симпатиях к демократии не мог чувствовать себя в безопасности.

Афины затаились в тягостном ожидании, на время замолкли даже беспокойные комедиографы — теперь за слишком смелую шутку можно было поплатиться жизнью. Утихли политические споры, все больше граждан предпочитало отсиживаться по домам, не появляясь без нужды на площади, и затворнический образ жизни Еврипида, раньше столь возмущавший сограждан, стал казаться многим из них даже привлекательным. В это время, изжив вместе с увлечением Алкивиадом и свои последние гражданские иллюзии, старый поэт ограничил круг общения двумя-тремя близкими ему людьми и по нескольку дней не появлялся на улицах города, предпочитая пребывать в том безбрежном и вечном мире познания и творчества, где с ним навсегда остались его бессмертные учителя и который сделался его последним прибежищем в готовой вот-вот рухнуть реальности. Друзья уходили один за другим, оставляя его одного на скорбном, тяжелом пути осмысления бытия: в самый разгар гражданских междоусобиц был возбужден процесс против Протагора, жившего в эти годы в Афинах. Против знаменитого софиста было выдвинуто традиционное обвинение в кощунстве и вольномыслии, основанием для чего послужило его ставшее уже широко известным сочинение «О богах». Осужденный на смерть, Протагор бежал из Афин, надеясь найти прибежище в Сицилии, но погиб во время кораблекрушения. Благочестивые афиняне отмечали с удовлетворением, что бессмертные боги сами покарали нечестивца, а книги его были сожжены.

Со смертью Протагора не осталось почти никого, кто надеялся когда-то, как и Еврипид, переделать жизнь афинян посредством просвещения и воспитания. Был, правда, еще Сократ, но он шел своим путем, и Еврипид сближается с эпическим поэтом Хирилом, воспевавшим гомеровским стихом войны с Дарием и Ксерксом, а также с двумя молодыми людьми, поэтом Агатом и музыкантом Тимофеем, в творчестве которых он находил, вероятно, что-то родственное своему собственному поиску в искусстве. Весьма одаренный, но слишком склонный к нововведениям, отвергающий сложившиеся музыкальные традиции Тимофей был как-то ослепан в Одеоне и в отчаянии даже хотел покончить с собой. Как пишут античные авторы, его удержал от этого Еврипид, на склоне лет опять обратившийся к музыке, дающей, как он это

понял теперь, значительно больше возможностей для выражения жизни души и приобщения ее к той высшей, доступной лишь очень немногим гармонии, которая должна непременно царить во вселенной. И он уверял раздавленного позором и непониманием музыканта, что все это не страшно, что косная публика всегда так встречает все новое и необычное, что победа придет непременно, надо лишь набраться терпения...

Трагический поэт Агатон, одержавший свою первую победу где-то в 418 или в 417 году и считавшийся наиболее одаренным из молодых служителей Мельпомены, во многом подражал Еврипиду (с которым был знаком с юношеских лет), тяготел к романтическим сюжетам, изысканному стилю и обилию столь же изысканной музыки при постановке своих пьес, что многим казалось слишком приторным и безвкусным. Однако в отличие от Еврипида он полностью пренебрегал не только реальностью, стремясь уйти от нее в вымышленный мир своей причудливой и жеманной музыки, но даже традиционными мифологическими сюжетами. В его широко известной в то время драме «Цветок» все имело крайне искусственный характер: и действие и персонажи — не боги, не герои, и в общем-то не люди, а так, восковые фигуры нежнейших тонов, воплощение рафинированного эскепизма значительной части афинской молодежи, уставшей от гражданских распри и бедствий войны, которой, казалось, не будет конца. И многие из тех вопросов, над которыми в сомнениях и муках души долгие годы размышлял сын Мнесарха, для его прекрасного собрата по искусству казались просто лишены смысла. Обывателям казалась странной дружба угрюмого затворника Еврипида с женоподобным красавцем Агатоном (спустя много лет философ Платон сделал его в своих диалогах хозяином знаменитого «Пира»), очень и очень равнодушного к одежде, дорогим модным вещам и прочим благам нашей эфемерной жизни, и они не уставали судачить об этом, давая всему свое толкование.

В эти тяжелые годы, когда большинство его соотечественников боялись сказать лишнее слово, Еврипид пишет трагедию «Финикиянки» — свидетельство его высокого гражданского мужества, где он поставил все самые большие вопросы отечества и которая еще раз полностью опровергает представление о нем как о человеке, стоящем вне политики. Пусть он не выступал в Народном собрании с длинными, обманчивыми речами и не заседал

на скамьях Совета, он говорил обо всем, что его волновало, с прощениума театра Диониса, и слова его, как бы ни относились к ним сограждане, не оставались втуне. Недаром именно в 411—410 годы, когда гражданские страсти в Афинах накалились до предела, Еврипид, как в свое время Эсхил, обратился к сказанию о борьбе Этеокла и Полиника — родных братьев, погубивших друг друга. В этой сложной, сильной, может быть, несколько длинной трагедии (слишком многое хотелось сказать поэту), которая с ее прекрасным музыкальным сопровождением представляла собой пышное, красочное зрелище и высоко ценилась в последующие века античности, он был откровенен как никогда: для него были врагами родины, ввергнувшими ее в пучину бедствий, и демагоги, водившие за нос афинский народ последние десять лет, и презирающие этот народ олигархи. Все те честолюбцы и сребролюбцы, для которых Афины казались лишь ставкой в бесчестной и опасной игре и которые были готовы на все ради сохранения власти, такие, как тщеславный и деспотичный Этеокл, которого его несчастная мать Иокаста убеждает прекратить богопротивную тяжбу с братом:

Из демонов ужаснейший теперь  
Твоей душой владеет — жажда чести.  
Оставь богиню эту! Правды нет  
В ее устах коварных, и всчасно  
Она отравой сладкой напоет  
Цветущие семейства, города..  
Ты одурманен ею и не видишь  
Другой, прекраснее ее, богини,  
Что равенством зовется на земле.

Вновь и вновь отстаивая великие идеалы свободы и равенства, поэт призывал своих недалёковидных сограждан, для большинства которых единственной ценностью и главным мерилом давно стали деньги, к умеренности, честности и милосердию, словно отказываясь принять ту страшную истину, что «на свете только деньги дают нам власть, вся сила только в деньгах». Он, которого Аристофан и многие другие афиняне отождествляли со всеми теми лжеумудрецами и любителями словесной эквилибристики, что с мгновенной легкостью обращают правду в кривду и наоборот, восставал против этих ни на чем не основанных обобщений с горьким достоинством старого философа, которому не в чем себя упрекнуть, кроме как в суровой приверженности к истине:

У истины всегда простые речи,  
Она бежит прикрас и пестроты,  
И внешние ей не нужны опоры,  
А кривды речь ведуг в себе таит,  
И хитрое потребно ей лекарство.

Пусть речь моя не блещет остротой,  
И груб ее язык прямой. Но правда,  
По-моему, для мудрых и немудрых  
Одна на свете — и другой не сыщешь.

И хотя события «Финикиянок» происходили в мифических Фивах, ее психологическая атмосфера — это та тревога, неуверенность, гнетущее предчувствие надвигающегося поражения, в состоянии которых жили тогда Афины. И кровь, бесконечно льющаяся кровь: убивают друг друга братья в неистовой жажде власти, не в силах смирить своих темных страстей; их несчастная мать пронзает себя мечом, извлеченным из трупа сына; обречена на гибель юная Антигона; старый отец, слепой Эдип, добровольно осуждает себя на «изгнание и смерть под забором», эта безвинная жертва своей страшной судьбы, которому (может быть, так же, как и самому поэту) в этом мире оставалось теперь лишь одно — «полюбить страданье». Трагедия отмечена глубочайшей безысходностью, тягостным чувством поражения — поражения злощастного Эдипова рода, поражения самого Еврипида, убедившегося в невозможности изменить что-либо в этом мире, поражения целого народа, которому, как казалось уставшему поэту, уже нечего было ждать от будущего:

А городу придется пережить  
Дни тяжких жертв: я вижу, как на трупы  
Кровавых тел ложится свежий ряд,  
И стои земли фиванской наполняет  
Мне ужасом взволнованную душу.

Однако этот ужас за судьбы отечества, по-видимому, был не слишком-то понятен большинству его сограждан, которые не видели вещи столь трагически и, хотя слава Еврипида к этому времени разнеслась широко по всему эллинскому миру, предпочитали его возвышенным и скорбным произведениям заурядные, но более, возможно, спокойные творения других трагических поэтов. Так, спустя несколько столетий казалось поистине удивительным, что над создателем «Гекубы» и «Финикиянок» мог одержать победу какой-то Ксенокл, само имя которого сохранилось лишь только потому, что фигурировало в свое



время рядом с именем сына Мнесарха. Его философические размышления и скорбные сентенции довольно зло пародировали многие поэты — его современники, но особенно неистовствовал Аристофан, недоброжелательство которого просто не имело предела. Все в «сыне торговки зеленью» вызывало презрение и гнев молодого гения комедии: и уединенный образ жизни, и большая библиотека, и склонность к лирическим излияниям, и любовь к музыке, изобилие «чужеземных» напевов при постановке трагедий, и вообще вся его поэзия, в которой Аристофан видел лишь нечестивую проповедь свободы мысли и необузданность чувств:

А он, как шлюха, натаскал со всех сторон  
Мелета прибаутки, песни Кариев,  
Заплачки, плясы, все он обобрал...

О муза Еврипида! В побрякушки бей!  
Под бубен твой споем мы эти песенки.

И хотя безжалостный комедиограф не обошел своим саркастическим вниманием и других поэтов того времени: Иона Хиосского, Кинесия и Агатона, только Еврипид постоянно появлялся в его комедиях на протяжении более четверти века.

В год олигархического переворота, по-видимому, даже Аристофан не решился задеть своими насмешками кого-либо из сильных мира того и, словно вознаграждая себя за это ограбление, не зная, на кого же в конце концов выплеснуть снедавшую его неудовлетворенность, он снова выводит на сцену в комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» совершенную в своей поистине символической карикатурности фигуру создателя «Елены» и «Андромеды». И эта карикатура больше, чем все остальное, вместе взятое, свидетельствует о том фатальном непонимании, которое было горьким уделом «философа на сцене», уже почти раздавленного тяжестью разочарований. В сущности, вся эта комедия, местами переходящая в довольно непристойный фарс, — развернутая пародия на те последние трагедии Еврипида, которые имели большой успех у афинской молодежи и получили отклик далеко за пределами Аттики.

События, в центре которых оказываются комические герои — Еврипид и его бывший тесть Мнесилох, разворачиваются в третий день женского праздника Фесмофорий, который издревле справлялся в честь Деметры и дочери ее Коры. В этот раз афинские женщины решают во

время праздника отомстить поэту Еврипиду за то, что он постоянно возводит в своих безнравственных трагедиях хулу на женский род: «И обсудить вопрос об Еврипиде — как его казнить». Перепуганный поэт идет за помощью к Агатону, который появляется (как когда-то Еврипид в «Ахарниах») на экилкеме, окруженный театральной бутафорией, весь настолько изящный, женоподобный и хорошенький, что Мнесилох даже не может сразу сообразить, кто же это перед ними: «Ты кто, дитя прелестное? Мужчина, да?» Не стесняясь, Аристофан со смаком высмеивает манерную поэзию Агатона (имевшую, впрочем, довольно большой успех у молодежи), поэзию, о которой так говорит его комедийный слуга:

Он строгаёт трагедии остов крутой.  
Он сгибает упругие обручи слов.  
Он их клейстером клеит, сверлит буравом,  
Он, как олово, льет их и лепит, как воск,  
Он горит вдохновеньем...

Агатон, не желая подвергать себя риску, отвечает на просьбы Еврипида помочь ему справиться с женщинами так, как когда-то возражал свекор Алкесты ее жизнелюбивому мужу: «Ты любишь жизнь, а мы не любим, думаешь?» Тогда помочь своему незадачливому родственнику решается Мнесилох. И вот почтенного старца, выбрив и нарядив как следует, превращают в женщину, и он отправляется на праздник Фесмофорий. Появляется хор женщин с факелами, которые обрушиваются с обвинениями против Еврипида: «Невозможно далее переносить, как нагло оскорбляет нас сей Еврипид, паршивой зеленщицы сын!», «Этот подлый человек стал убеждать народ, что никаких богов на свете нет», «Босьяк, с капустой в огороде выросший», «Нарочно шут выскивает драмы, где женщина грешит»... Переодетый Мнесилох пытается выгородить своего зятя, доказывая, что наветы Еврипида — это, мол, ничто по сравнению с тем, что проделывают женщины в действительности. Возмущенные приводимыми им примерами, женщины бросаются на него с кулаками. Тут появляется любимец афинянок щеголь Клизфен с ужасным сообщением, что на священный женский праздник пробрался враг-мужчина. Злополучного Мнесилоха позорно разоблачают: спасаясь от разъяренных женщин, он хватается из рук одной из них младенца и бежит с ним к алтарю, как бежал когда-то Телеф с младенцем Орестом и Дикеополис с угольной корзиной. Впрочем,

младенец оказывается мехом с вином, который благочестивая участница священнодействий тайком пронесла на трезвые и постные Фесмофории.

И вот Мнесилох уже сидит у алтаря под надзором злобной, как фурия, старухи и, злясь на Еврипида, по милости которого он влип в эту веселенькую историю, пишет ему письмо на табличке (как писал в трагедии Еврипида благочестивый Паламед свое послание, перед тем как вручить его морю). Оказывается, он тоже невысокого мнения о своем зите и о его поэзии: «Болтовней своей ты уморил меня». Потом Мнесилох поет трогательную арию, как прикованная к скале прекрасная царевна Андромеда в поставленной в прошлом году трагедии Еврипида, где лирические призывы к «священной ночи и вечному эфиру» перемежаются с самыми вульгарными репликами:

Подруги милые, милые!  
О, как бы убраться мне  
И облапошить Скифа.

.....  
Не пожалел несчастного  
Меня мерзавец родственник.

Но вот появляется и сам Еврипид, романтически за-  
вернутый в разорванный папирус. Он встречается с плешивым седобородым Мнесилохом так, как встретился Менелай со своей прекрасной Еленой на берегах Чила в его недавней драме. А вместо египетской царевны, пророчицы Феонии, — мерзкая старуха. Перебирая, по воле безжалостного насмешника Аристофана все свои трагедии, комический герой Еврипид является то в виде нимфы Эхо, за чьим голосом гоняется стражник Скиф, то в виде Персея, который, снедаемый нежной страстью, тщетно пытается освободить сказочную красавицу — своего выбритого и выщипанного тестя, привязанного стражниками к позорному столбу. Вероятно, давно в театре Диониса не веселились и не готowali так, как в этот вечер: еще бы не посмеяться, как досталось этому умнику и мизантропу Еврипиду, а заодно и всем распущенным женщинам, которых по милости таких вот сочинителей становится в Афинах с каждым днем все больше. Так им и надо, тем, что тратят мужнины денежки на бесконечные наряды, а потом обманывают их с рабами; что потихоньку пьянствуют, подбрасывают незаконнорожденных детей — и все это с одобрения таких вот сторонников свободы чувств и разрушителей старинной добродетели, как

этот «Менелай, из-под петрушки вылитый», который оканчивает комедию в образе сводни-банщицы, соблазняющей Скифа грудастой девкой, и просит в конце концов пощады у афинянок:

О женщины! Когда хотите заключить  
Со мною мир на будущие времена,  
Согласен вас отныне не бранить никак  
И не злословить. Вот мои условия.

Как его бессмертный учитель и друг Протагор был жестоко осмеян десять лет назад Эвполидом, так теперь и сам сын Мнесарха, съедаемый всю жизнь опасным желанием проникнуть в тайну бытия и не сумевший поэтому прожить беспечально и просто свой собственный век, веселил сограждан своей напыщенной нелепостью. Что ж, для большинства тех, кто довольным реготом провозжал каждую непристойную реплику и бесцеремонную шутку Аристофана, оба они были в лучшем случае чем-то вроде юродивых, к тому же небезопасных...

И афинский народ продолжал смеяться и радоваться всенародному посрамлению заносчивых умников, тем более что тучи на горизонте как будто бы начинали рассеваться. Был убит глава крайних олигархов Фриних, и власть в городе перешла в руки умеренных, возглавляемых Фераменом, которые отменили ужасавшую всех конституцию и упразднили Совет четырехсот. К этому времени Алкивиад, поставленный демократами во главе флота, вновь проявил свои блестящие способности, одержав победы в сражениях при Абидосе (411 год) и Кизике (410 год), в результате чего почти все пелопоннесские корабли достались афинянам и был возобновлен подвоз хлеба из Понта. Вдохновленные этими успехами, сторонники демократии в Афинах перешли в наступление и свергли олигархию. Была вновь восстановлена демократическая конституция, неимущие опять получили политические права, возобновилась оплата должностей и раздачи.

Торжествуя победу над олигархией и все еще надеясь на восстановление былого влияния в Элладе, афиняне с превеликой пышностью справили Великие Панафиные 409 года, истратив на их устройство огромную сумму, которая едва ли тратилась даже в самые лучшие времена. Зрители в театре Диониса щеголяли в роскошных вышитых одеждах и дорогих украшениях, молодые люди отличались длинными, тщательно расчесанными, напомажен-

ными локонами и короткими хитонами до колен, променяв льняную белизну одежд своих дедов на пестрое разноцветье дорогих восточных тканей. Женщины, завитые, благоухающие, с сильно покрашенными ресницами, веками и бровями, с набеленными и нарумяненными лицами, были одеты в яркие платья и в изобилии украшены свежими цветами. Длинные ожерелья из драгоценных камней, золотые цепи, тяжелые браслеты, огромные перстни, серьги и подвески из восточного жемчуга — все то, что копилось в каждой семье из поколения в поколение, что привозилось из походов и плаваний к далеким чужим берегам, было выставлено на всеобщее обозрение и зависть. Лотошники сновали между каменными скамьями, бойко торгуя пирожками, сушеными фруктами, вареными овощами, колбасой и прохладительными напитками, шумели мальчишки. Все жители Аттики, несмотря на тяготы и лишения долгих лет войны, собрались опять в городе Афины, как в те седые незапамятные времена, когда их предок, царь Эрихтей, учредил это празднество в честь могущественной и милосердной богини, а герой Тезей собрал на них все население этой земли.

В первый день Панафиной состязались атлеты и гоплиты, затем показывали свое искусство музыканты, певцы, а в самый последний день вся эта разнаряженная, благоухающая драгоценными восточными маслами и чесночной колбасой толпа двинулась вслед за огромной статуей Девы-Афины, одетой в новый роскошный пеплос, по улицам города, по дорогам, обсаженным островерхими кинарисами, на Акрополь. После обильных жертвоприношений Хранительнице города и песнопений в ее честь афиняне весь теплый и длинный вечер пировали, веселились и пели, как будто бы неумолимый перст Апанке-Судьбы уже не повис над их прекрасным городом. Нарядные, все в общем сытые и даже как будто бы довольные, они проживали последнее, страх и неуверенность таились в глубине их подточенных насилием и праздностью душ, столь непохожих на суровые души их дедов и прадедов, твердо веривших в то, что «для смертных порядок и точность в жизни полезней всего, а вреднее всего беспорядок». После того как справедливость и честь, милосердие к более слабым — эти вечные ценности, на которых зиждется мир, превратились для многих из них в пустой звук, мир сынов Кекрона стал распадаться прямо на глазах, на глазах наиболее мудрых, таких, как Софокл, Еврипид и Сократ, и блестящие Панафиной 409 года были

лишь раскрашенной декорацией, за которой уже зияла пустота.

Об ужасе этой пустоты, которой оканчивается существование как любого отдельного смертного, заблудившегося на своем жизненном пути, так и целых народов, променявших невидимое, но вечное, на заманчивое, видимое и преходящее, напомнил афинянам в этот год великий Софокл в своей трагедии «Филоклет». В ней старый поэт повторил еще раз непреложную для него, но недоступную, видимо, для большинства его соотечественников истину, которую он старался внушить им всю свою долгую жизнь: не сила, не изворотливый разум, не умение приспособляться к обстоятельствам делают человека тем, что он есть, — лучшим творением вселенной, а человечность, любовь и сострадание к себе подобным. И кто преступил этот извечный закон, тот потерял право на людское свое первородство.

События этой трагедии, сюжет которой взят из не дошедшей до нас эпической поэмы «Малая Илиада», разворачивались, как обычно, в далекие ахейские времена. Братья Атриды и их союзники стояли со своими войсками под стенами Трои, но не могли, как им открыло пророчество, сокрушить ненавистный город, откуда не овладеют луком Геракла, оставшимся на острове Лемнос у несчастного Филоклетета. Этот неизлечимо больной страдалец, с гниющей от какой-то неведомой язвы ногой, исходящий во время приступов в ужасных криках, был брошен на диком острове своими товарищами по предложению Одиссея, так как «вопил он на весь военный стан и беды накликал». Всеми забытый и беспомощный, Филоклетет остался в живых только благодаря чудесному луку Геракла, стреляя из него дикую птицу и так добывая себе пропитание. «Жалко, жалко мне бедного!» — сокрушается хор у Софокла.

Нет заботы о нем людской,  
Не присмотрит за ним никто.  
Несчастливец, всегда один,  
Хворью тягостной мучится!

И вот это-то единственное средство поддержания жизни — чудесный лук — и решает отнять у него хитроумный Одиссей, радеющий о победе ахейцев. Не смея сам показаться на глаза уже преданному им однажды Филоклетету, он посылает на остров доблестного Неоптолема, сына Ахилла, уговаривая честного и доброго юношу покривить

душой ради общего блага, сказать, что он рассорился с теми, кто осаждает Трои, и как-нибудь выманить лук:

Ты, знаю, сын мой, не рожден таким,  
Чтоб на обман идти и на коварство, —  
Но сладостно... торжествовать победу!  
Ренись!.. Вновь станем честными... потом...  
Забудь же стыд — всего на день один...

Убежденный рационалистическими доводами Одиссея (весьма напоминающими аргументы софистов Крития и Антифонта), Нептолем соглашается совершить эту подлость во имя победы над Троей. Однако, потрясенный страданием Филоктета и бесчеловечностью своих соплеменников, не в силах обмануть поверившего ему, всеми преданного, несчастного человека, он готов уже отказаться от коварного замысла. На этом безлюдном острове, вдали от великих свершений и исторических подвигов, чистый душой сын Ахилла осознает предельно ясно тот основной закон человеческой жизни, о котором напоминает ему умоляющий отвезти его на родину калека:

Спаси меня! Опасна и страшна  
Судьба людей — им изменяет счастье!  
Пусть горе далеко — должны мы помнить  
Всегда о нем: живя благополучно,  
Тем более беречься мы должны.

Растроганный Нептолем велит Филоктету готовиться к отплытию, хотя хор благоразумно (благоразумно с обывательской точки зрения) не советует ему брать беднягу: «Разумность велит нам бояться беды», «Будь разумен, так лишь действуй, чтобы ужасов не знать!»

В это время на острове появляется некий купец с сообщением, что ахейцы, по-видимому, вскоре пришлют за Филоктетом, поскольку им было пророчество, «что не разрушить им твердыню Трои, пока его не привезут назад». Филоктет в ужасе просит Нептолема скорее бежать с проклятого острова: он никогда не простит ахейцам предательства и не поможет им, даже если там, у Трои, он обретет исцеление, как было обещано в пророчестве. Мучимый совестью, Нептолем раскрывает ему свой обман и уговаривает страдальца добровольно поехать с ним к Трое. Отчаяние снова преданного Филоктета не знает предела, хотя он понимает, что добрый по своей природе юноша кем-то «научен злым делам постыдным». Трагедия, через страдания безвиного Филок-

тета и нагромождения коварств и обманов людей, умеющих быть хозяевами жизни, стремительно движется к своему единственно возможному для Софокла завершению: когда прибывший на остров Одиссей отбирает у Филоктета Гераклов лук, оставляя несчастного на верную гибель, когда ахейские корабли готовы вот-вот отплыть и преданный всеми страдалец в смертельной тоске в последний раз взывает о милосердии: «Други, останьтесь! Ради богов!» — сердце Неоптолема не выдерживает. Не в силах больше действовать «наперекор душе», он возвращается, чтобы «исправить сделанное зло» — вернуть чудесный лук его законному владельцу.

И опять, как всегда и везде у Софокла, обманной Рассудок, представший здесь в традиционном обличье хитроумного, находящего выход из всех положений Одиссея, соображения пользы ведут свой нескончаемый спор с человеческим сердцем, с теми неписаными, но непреложными законами, без которых немислима жизнь. Вот Одиссей вопрошает мучимого совестью Неоптолема:

Но что ж ты недостойного свершил?

Неоптолем:

Я человека гнусно обманул.

Одиссей резонно возражает ему, имея в виду пользу общего дела:

Твои слова и действия — безумны!

Неоптолем:

Но честны — честность выше, чем расчет.

Коллизию разрешает внезапно появившийся Геракл, который велит Филоктету явиться со своим луком под стены Трои, а потом, свершив свое предназначение, возвратиться на родину, «к луговинам Эты».

Трудно сказать, надеялся ли великий Софокл пробудить милосердие в очерствевших сердцах афинян, неотвратимо двигавшихся навстречу своему поражению, но, безусловно, он хотел еще раз напомнить им об этом. И, избегавший обычно касаться в своих возвышенных произведениях печальных и позорных деяний соотечественников, он не может удержаться в «Филоктете» от весьма прозрачных намеков в адрес тех «глашатаев неправды», которые «отважны на словах, на деле — трусы» и которые уже почти погубили Афины, блиста-



тельный город полной надежд молодости и его самого, и его бессмертного друга Перикла. Соотечественники уважали мудрого и спокойного поэта, они понимали всю справедливость его слов и, возможно, даже готовы были признать, что великодушные порывы чистого и благородного сердца значат гораздо больше, чем самый прибыльный расчет, но соображения эти оставались сами по себе, а жизнь, неправильная, сложная, неуправляемая и жестокая, шла сама по себе, и, казалось, не было уже никого — ни мудреца, ни героя, ни бога, кто мог бы ее изменить...

Появляясь теперь из года в год, спартанцы уничтожали посевы, вырезали скот, угоняли в рабство крестьян, большинство сел опустело, и их обитатели мыкали горе и нищету в жалких лачугах, лепившихся к скалам между Длинными стенами и Фалером. Перебивались кто и как может в надежде на лучшее будущее, на те невиданные и неслыханные заморские богатства, к захвату которых их звали неугомонные авантюристы. Напрасно Сократ убеждал сограждан в том, что «земледелие является одновременно источником удовольствия и средством для увеличения домашнего благосостояния, а также упражнением для тела, дающим ему способность выполнять все обязанности свободного человека». Он предвидел, как писал об этом впоследствии его верный ученик, историк Ксенофонт, печальные последствия для Афин, если сельское хозяйство придет в полный упадок: «Какое прекрасное изречение, что земледелие — мать и кормилица всех профессий! Если земледелие процветает, то и все другие профессии идут успешно, а где земле приходится пустовать, там угасает почти всякая деятельность на суше и на море».

Поздно, бедные беднели, а богатые богатели, и им не было дела ни до умствований нищего философа, ни до с презреньем отвергнутых древних традиций, воспетых Гесиодом:

Труд человеку стада добывает и всякий достаток.

Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее

Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки.

Нет никакого позора в работе: позорно безделье.

Забавной нелепостью казались теперь меры, предпринятые когда-то Солоном, который, «видя, что страна по своим естественным свойствам едва-едва удовлетворяет потребности земледельческого населения, а ничего не де-

лающую праздную толпу не в состоянии кормить, внушил уважение к ремеслам и вменил в обязанность Ареопагу наблюдать, на какие средства живет каждый гражданин, и наказывать праздных». С тех пор прошло много десятилетий, большинство жителей Аттики привыкли постепенно к голодной праздности и больше прислушивались к тем, кто горячо излагал планы новых захватов, чем к тем, кто назойливо напоминал о давно утраченном и невозвратимом, как этот всем уже порядком надоевший сын Софрониска. Беднякам, которых с каждым годом все больше становилось в Афинах, «оставалось на выбор: или вступить в конкуренцию с рабским трудом, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным, низким занятием и не сулило к тому же большого успеха, или же превратиться в нищих. Они шли — при данных условиях неизбежно — по последнему пути, а так как они составляли массу населения, это привело к гибели и все афинское государство»<sup>1</sup>.

Казалось, не было больше афинского народа, прославившего себя столькими подвигами и свершениями последнего столетия, не было больше вождей, способных остановить государство на самом краю, спасти его от катастрофы. Оставалось уповать лишь на то, что найдется в конце концов человек, который что-то придумает и всех спасет; может быть, это будет Алкibiад, одерживавший успех за успехом во главе афинского флота, любимец богов и надежда сограждан. Некоторые из упорных приверженцев «старинного благочестия» продолжали ратовать за возвращение к строю отцов, но для всех оставалось в общем неясным, что же под этим подразумевается: времена Клисфена, Солона или, может быть, Драконта. Была даже создана специальная комиссия для исследования этого вопроса (о чем писал впоследствии в своей «Афинской политике» Аристотель), и сохранилось постановление Совета и народного собрания от 409—408 годов о новой публикации законов Драконта. Однако каждая из соперничавших между собой общественных групп представляла себе эту реставрацию, исходя из своих собственных классовых интересов: одни выделяли в «старинном укладе» свободное волеизъявление трудового народа, другие же — благородное служение родине состоятельных и щедрых эвпатридов.

Что же касается вечных истин и конечного смысла че-

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2-е, т. 21, с. 118.

ловческого бытия, до которых продолжали доискиваться Еврипид и Сократ, то до всего этого не было дела массе невежественных, полуголодных и отчаявшихся людей, запертых в Афинах, как на острове, все это вызывало лишь раздражение и злобные насмешки:

Есть в стране зонтиконогих  
Неизвестное болото.  
Грязный там сидит Сократ,  
Вызывает души.

А то насилие, против которого, несмотря ни на что и вопреки всему, восставали два этих безумца не от мира сего, сделалось к этому времени, по существу, единственным средством продлить свое существование и для тех, кто выдвигал в Народном собрании планы новых захватов, и для тех, кто с надеждой внимал им. И если нищий и праздный сын Софрониска утверждал, что «худшее на свете зло — это творить несправедливость» и что, «если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее», он предпочел бы переносить, — это было его дело. Большинству же афинян уже было поздно разбираться в том, что из совершаемого ими можно назвать злом, они давно уже потонули в совершенных ими ошибках и промахах и теперь уже просто не видели иного выхода. Золотое сияние Периклова века, века художников, философов и благородных народных вождей, растворилось в небытии, уже готовы были погаснуть его последние отсветы, и те, кто еще хотел и был способен творить и мыслить, спешили покинуть Афины. Многие же из тех, кто не смог оставить отечество, были впоследствии уничтожены.

К этому времени, по-видимому, и Еврипид начинает подумывать о том, чтобы уехать из Аттики. Весной 408 года он последний раз представляет для постановки на празднике Диониса традиционную трилогию, от которой до нашего времени дошел лишь «Орест». Как сообщают хронисты, постановка этой трагедии, во многом напоминавшей нашу оперу богатым музыкальным сопровождением и длинными ариями на «лидийский лад», была зрелищем красочным и великолепным. Даже в эти тяжелые годы афиняне не жалели денег на театральные представления. Расходы эти распределялись главным образом среди богатых граждан, которых к концу войны стало ничуть не меньше, а даже как будто бы больше. Хозяева больших эргастерий, производящих товары на вывоз, лам-

повщики, ювелиры и оружейники, зажиточные торговцы и судовладельцы почитали за честь финансировать Великие Дионисии или Панафинеи, подобно аристократии прошлого, теперь изрядно обескровленной. Хотя, конечно, былой пышности уже не было: навсегда ушли те времена, когда в театре выставляли перед представлением богатую добычу или дань, привезенную союзниками, чтобы многочисленные гости, наполнявшие амфитеатр, воочию убедились, как богаты Афины и как они сильны. Теперь чужеземцев почти не было, Афинская архе распалась, и число союзников можно было пересчитать по пальцам одной руки.

И вот снова, в который уже раз, афинские зрители возвратились в древний Аргос, в те пласты навсегда ушедшего времени, от которых они привыкли отсчитывать свою историю. Только что окончилась Троянская война, и победители, как предвещала Кассандра, Приамова дочь, в своих бредовых пророчествах, платят сполна за совершенные злодеяния: коварно убит неверной женой Клитемнестрой и вероломным Эгисфом царь Агамемнон; исполняя веление Аполлона-Мстителя, дети царя, Орест и Электра, убивают преступную мать. Однако, исполнив этот страшный приказ, Орест гибнет и сам в силу непреложных законов человеческого естества — «материнская душа шит сына кровь». И если Эсхил и Софокл видели в несчастном сыне царя Агамемнона сурового мстителя, героического в своем подчинении богу и, безусловно, достойного оправдания, то у Еврипида это раздавленный собственным преступлением, жалкий, безумный больной, как «труп, под солнцем позабытый», это даже уже не человек, поскольку его личность распадается у всех на глазах. Это тот грешник-матереубийца, один из тех, о страшных муках которых в подземном мире (даже если они и раскаивались потом всю жизнь в совершенном преступлении) писал впоследствии Платон: «...они кричат и зовут, одни — тех, кого убили, другие — тех, кому напесли обиду, и молят, заклиная, чтобы они позволили им выйти... и приняли их. И если те склоняются на их мольбы, они выходят и бедствиям их настает конец, а если нет, их снова уносит в Тартар... и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у своих жертв; в этом состоит их кара...»

Ореста терзают Эринии, «темнокожие девы мщения», у них собачьи лица, волосы — змеи, глаза Горгоны и распустившиеся по воздуху крылья. Изможденный, нече-

санный, в запятнанной материнской кровью одежде, он вот уже шесть дней не ест и не пьет и только в недолгом сне находит забытье от ужаса совершившегося. Все двери в городе заперты для него, аргосцы требуют смерти материубийцы. Но вот Эринии ненадолго отпускают свою жертву, и перед зрителями уже совершенно новый Орест — отчаянный, словно бы обрубивший все связи между собой и людьми, лихорадочно громоздящий преступление на преступление, как будто бы даже ни в чем не раскаивающийся и жаждущий лишь одного — любой ценой вырваться из когтей приближающейся смерти. И если первый Орест, безумная жертва божьего веления, способен возбудить сострадание или жалость, то этот второй Орест, лихорадочно ищущий выхода, готовый на все, ведомый скорее демоном, чем богом, омерзителен и страшен, несмотря на все аргументы, подтверждающие как будто бы в силу формальной логики его правоту.

Орест и Электра, соучастница преступления и любящая сестра, стремящаяся хоть чем-нибудь облегчить муки брата, ожидают в царском дворце решение народа, который собрался на сходку, чтобы решить, побить ли камнями материубийца. У них остается одна лишь надежда — заступничество их дяди Менелая, который должен вот-вот возвратиться в Аргос из троянского похода. Елена, причина этой ужасной войны, уже возвратилась и боится высунуть нос из дворца, ненавидимая народом. Однако, опасаясь народного гнева, побуждаемый своим тестем Тиндаром, суровым спартацем в черной траурной ризе, Менелай уклоняется от заступничества даже во имя своего брата, великого Агамемнона. Тогда Орест по совету Пилада, своего друга и нареченного Электры, решает сам предстать перед народным собранием и требовать справедливости. Однако народ непреклонен: никакие доводы разума, никакие апелляции к фатальности злоключений рода Атридов не могут в глазах людей оправдать ужас содеянного — не может быть справедливым меч, которым пронзает сын вскормившую его грудь. И единственная милость, на которую могут рассчитывать материубийцы, — это лишь право покончить с собой. Этот важнейший эпизод трагедии — собрание аргосцев (эпизод, которого нет ни в мифах, ни у Софокла и Эсхила) позволяет Еврипиду ввести в произведение контраргумент настолько же сильный, как и основной аргумент — воля бога. Убеждение в том, что злодейства злодейством не исправить, что никому не дано безнаказанно преступать закон человечности, ока-

зывается не менее сильным, чем приказание Аполлона. И опять, как всегда у Еврипида, здесь ведут нескончаемый спор две правды — правда сердца и правда ума, спор, который поэт так и не смог разрешить за всю свою долгую жизнь.

Орест и Электра считают себя правыми и невиновными, но голос совести твердит им, что они погибли, погибли еще до того, как аргосская сходка обрекла их на смерть. Неотвратимость этой гибели прекрасно понимает Электра, несмотря на всю ту деятельность ради спасения, которую брат и сестра лихорадочно развивают на всем протяжении трагедии: «Сгибли мы, мать, мы мертвы», «Гибнем мы, ночь, гибнем»... Однако и здесь убежденный последователь Гераклита остается верным постигнутой им раз и навсегда диалектике жизни: уничтоженные морально, прекрасно сознавая невозможность жить дальше со столь страшным преступлением на совести, Орест и Электра тем не менее отчаянно цепляются за жизнь и идут ради нее на все. Они убивают Елену (оправдывая себя тем, что карают ее «от лица Эллады... за вдов и сирот»), захватывают заложницей молоденькую Гермioniу, свою двоюродную сестру, и угрожают ей смертью, чтобы заставить ее отца Менелая, потрясенного столькими страшными и неожиданными бедами, помочь им бежать из Аргоса. Разпущенная кровь льется неостановимым потоком, который вот-вот захлестнет Ореста и Электру, тоже словно бы обезумевшую от отчаяния и неотвратимости своей страшной судьбы:

Бейте, губите, разите!  
Меч двулезвийный  
В тело ее погружайте!

Погибая, несчастные потомки преступного Атрея словно хотят увлечь за собой и всех остальных, к концу трагедии в них уже не остается ничего не только что возвышенного, но и просто человеческого.

И вот когда действие достигает наивысшего напряжения: Орест, Пилад и Электра, стоя на кровле дворца, собираются поджечь его балки, Орест держит меч у нежного горлышка невинной Гермioniы, а ввизу Менелай в отчаянии не знает, что ему предпринять, вот тут-то и появляется Аполлон, «бог из машины», чтобы все уладить и устроить: «Я ж дела Орестовы улажу, потому что приказ убить был точно мой приказ». Но этот традиционный благополучный конец выглядит крайне искусствен-

ным. Чтобы все завершилось действительно ко всеобщему удовлетворению, всемогущему Аполлону надо сделать так, чтобы Орест смог забыть грудь матери, которую та обняла перед ним, умоляя о пощаде, чтобы Электра опять стала кроткой девушкой, поджидающей нареченного, и начисто позабыла, как она ликовала при виде крови Елены, как заманивала в ловушку Гермияну. Чтобы Мелпай мог осознать, решить для себя самого, для чего же он вытерпел столько тягот многолетней войны, для чего уничтожили Троя, если он не выкупил, как в конце концов оказалось, этой страшной ценой любимой жены. Надо было все позабыть и все простить, чтобы можно было жить дальше. Но забыть это было невозможно, и появление Феба тут ничего не меняло — так, дань поэтическим схемам и невозможность распутать логически клубок зла и насилия, сплетенный злосчастными Атридами...

«Орест» не понравился афинянам: здесь все было так же запутано, непонятно и неразрешимо, как и в самой жизни, и не хотелось думать о том, что насилие всегда было уделом людей, даже тех, дела которых стали легендой. А может быть, в мечущихся в поисках спасения, громящих убийство на убийство, во всем отчаявшихся Атридах афиняне узнавали себя, которым, в сущности, тоже оставалось надеяться лишь на то, что явится какой-то всеисильный «бог из машины» и остановит, спасет их на самом краю...

Благовонной короной своей  
Увенчай поэта, победа,  
И не раз, и не два, и не три  
Ты увей ему белые кудри, —

разнеслись в свежем весеннем воздухе конечные строфы трагедии. Но победы, как всегда, не последовало.

Мало кто из сидящих в тот день на нагретых весенним солнцем скамьях афинского амфитеатра еще помнил первые трагедии Еврипида — почти полвека войны и гражданских распрей унесли столько и столько славных мужей, его сверстников, мало кто знал правду об Анаксагоре, Аспасии, Фидии, Протагоре, что могли о них знать суеверные и невежественные крестьяне, переполнившие город в эти последние годы? Что могли они знать о всех художниках и мудрецах уходящего века, о тех, кому Афины были обязаны своим блеском и славой не в меньшей степени, чем доблестным стратегам. Их знали больше по слухам и сплетням, по досужим вымыслам сочини-

телей комедий-однодневок. И Еврипид был один из них, из тех, кто считает себя почему-то вправе навязывать согражданам свою ложную и хвастливую мудрость. Городу были нужны другие люди, такие, как беспримерный Алкивиад, которого осенью этого года афинский народ радостной толпой встречал в Пирее: прекрасный, словно бессмертный бог, отважный муж возвратился на родину с богатой добычей — захваченными в морских боях пелопоннесскими кораблями и ста талантами золота. Сограждане с восторгом приветствовали героя, он казался своим и беднякам и аристократам, и вряд ли бы кто особенно воспротивился, вздумай он стать тираном и возложить на себя неограниченную власть в государстве.

А Еврипид — он был не нужен. Не нужен городу, во имя которого он сорок лет сражался с варварами и соседями-греками, не нужен народу, к душе и разуму которого он полвека тщетно взывал в своих трагедиях, не нужен даже собственной семье, слишком далекий от мирских забот, слишком великий, чтобы излучать тепло и нежность. Чувство глубокого личного поражения, овладевшее им постепенно, делало для него все более тягостным какое бы то ни было общение с людьми, и свои последние афинские годы поэт жил почти что отшельником, проводя целые дни в размышлениях и работе в своем любимом гроте на Саламине. Как сообщают античные авторы, рядом с этим гротом существовало когда-то даже такое вот изображение на камне: Муза со свитком в руке подводит Еврипида, полного старика с большой бородой, к сидящей на скале нимфе. Несколько поодаль стоит Гермес, что должно было указывать на предназначение пещеры как приюта для «уединенных занятий мудрой поэзией»... И саламинский грот был, должно быть, действительно приютом, прибежищем для этого мудреца, перемудрившего в какой-то мере себя самого, ибо прожив столь долгую жизнь, он так и не научился жить в ладу с людьми, даже с наиболее близкими. В семье его был полный разлад: со своей второй женой, Милитто, он тоже не очень-то ладил, в городе сплетничали о том, что Еврипид, мол, хочет покинуть Афины из-за позора, так как и эта его жена не отличается добродетелью. Взрослые сыновья не понимали отца, он раздражал их своевластием, мрачным характером, а главное, тем, что он, дожив до седин, так и не смог, не научился и не хотел жить так, как живут все. Трудно сказать, был ли он богат, вероятнее всего, не был, но тем не менее его обвиняли в скупости.



И даже младший сын — поэт не всегда мог найти общий язык со своим гениальным отцом.

К этому времени никто уже, по-видимому, особенно не заботился о том, что он ест и пьет, как он спит. Сознывая, что времени у него осталось в общем немного, а сделано еще так мало и мир остается для него такой же огромной загадкой, как в то далекое время, когда он, еще молодой, полный сил и надежд, допытывался у ионянина по прозвищу Ум о секретах мироздания, Еврипид работал даже больше, чем в молодости. Он с горечью должен был признаться себе, что тайна Жизни не прояснилась для него с годами и он уже очень близок к тому, чтобы, подобно Сократу, считать неоспоримым лишь одно: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Поэтому сын Мнесарха не мог позволить себе тратить быстро бегущие последние годы на болтовню в народном собрании, на дрязги с семейными (которые его не любили), на заботы о сладком куске и мягкой постели. Все это, как оказалось, было не для него, и если старый поэт думал когда-либо о своей, не такой уж далекой кончине, то он не мог не вспоминать учителя Анаксагора, которого, если верить преданиям, смерть застала на проезжей дороге, или же своего иронически мудрого друга Протагора, нашедшего последний покой в глубине моря. Город мешал ему думать, люди раздражали бессмысленной и жестокой суетой своей неупорядоченной жизни, и лишь созерцание бескрайних просторов Миртойского моря, которым он любовался, работая в своем саламинском убежище, вселяло надежду на то, что все-таки она есть, непостижимая для человека гармония мира. И трудно сказать, было ли это добровольное одиночество злом или благом: старое тело его взывало к теплу и уюту, но дух как никогда нуждался в том, чтобы отвергнуть, отбросить, презреть суету бытия. Чтобы подняться до понимания существенных истин миропорядка, о которых он, видимо, продолжал размышлять до тех самых последних часов, когда старые Мойры перерезали истонченную нить его жизни, Еврипид должен был навсегда отказаться от личного благополучия (хотя в юные годы он, возможно, наивно стремился сочетать и то и другое), как должен был Анаксагор отказаться от родового добра, как должен был, если верить преданиям, ослепить себя философ Демокрит, чтобы, подобно царю Эдипу, яснее увидеть сущность вещей, отвергнув соблазны видимого. Ведь «именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в не-

сравненно большей степени, чем любой другой из людей», и «душа философа, — как утверждал, если верить Платону, Сократ, — решительно презирает тело и бежит от него, стараясь остаться наедине с собой».

Только теперь, подходя к концу своей длинной и трудной жизни, трудной не какими-то особыми тяготами и бедами, болезнями, утратами или нищетой, но тяжелейшей внутренней борьбой, поисками смелого разума и метаниями гордого, свободного духа, только теперь сын Мнесарха до конца понял смысл древнего изречения о том, что искусство требует жертв. И жертвой этой бывает нередко вся жизнь, отданная во славу того неведомого и всемогущего бога, который заставлял его вновь и вновь, несмотря на горечь непризнания и поражений (написав около девяноста драм, он при жизни всего лишь четыре раза удостоился первой награды), браться за стилос. Он служил Мельпомене, ни на что не рассчитывая, ничего не прося и не отступив ни на шаг от своего жизненного предназначения:

Нет, не покину, Музы, алтарь ваш;  
Вы же, Хариты, старца любите!  
Истинной жизни нет без искусства...  
Зеленью плюща белые кудри  
Я увенчаю. Лебедь весь белый,  
Но не мешайте петь ему, люди!

Ему так хотелось быть счастливым и радостным в своем великом служении Красоте и Добру («Иначе как, будучи угрюмым самому, других пленять?»), хотелось быть светлым и умиротворяющим, все понимающим и прощающим, но этого было ему не дано. Не дано было даже забыть, хотя бы на время, в мире своей поэзии и отрешиться от той всеподавляющей скорби, рожденной несовершенством человеческой жизни, которой были пронизаны его великие творения и которая превратила в трагедию, не менее впечатляющую, чем злоключения Атридов или потомков Эдипа, его собственную жизнь:

.....никто не придумал  
Гармонией лир многострунных  
Печали предел ненавистой,  
Печали, рождающей смерти,  
Колелебующей ужасом царства,  
Печали предел положить...

Почти аскетический образ жизни сына Мнесарха, его добровольное уединение на Саламине казались весьма подозрительными его согражданам, которые, вероятно,

думали так же, как и герой Аристофана: «Поверь мне, мой Фединнид, такой страшный человек, как сын Мнесарха, никуда не годится ни в нравственном, ни в политическом отношении. В людях, до такой степени удаляющихся от общества, непременно есть что-нибудь дурное, требующее от них такого отчуждения». Теперь уже очень трудно, невозможно определить, какая ничтожная доля правды была в недоброжелательных пересудах сограждан и была ли она в злобных сплетнях, ползущих по городу. И в то же время афиняне в высшей степени снисходительно относились к похождениям Софокла, не утратившего в своем очень и очень почтенном возрасте (он был старше Еврипида на пятнадцать лет) тяготения к женщинам, любившего бывать на дружеских пирах, повеселиться и имевшего незаконного сына Аристонна от гетеры Феодориды Сикионской. Софокл, любезный и приятный в обращении, был окружен любовью и уважением сограждан даже после скандального процесса, затеянного против него законными сыновьями. Сыновья эти, раздраженные мотовством старика, требовали от судей отстранить отца от управления имуществом как выжившего из ума. Говорят, что, не утруждая себя особыми аргументами, Софокл прочитал присяжным своего «Эдипа в Колоне», и в результате обиженные сыновья получили строгий выговор от суда за недостаточное почтение к своему гениальному отцу. И Софокл продолжал жить так, как ему хотелось. Про него говорили, что его посещают сами боги.

Так в чем же причина того, что афиняне были столь снисходительны к творцу «Эдипа», любившему и умевшему пожить в свое удовольствие, и так нетерпимы к создателю «Медеи», жившему последние двадцать лет главным образом мучительным поиском истины? Вероятно, в силу той же самой причины, по которой и сами они, Еврипид и Софокл, на протяжении почти полувека являвшие вместе на суд афинян свои трагедии, за всю свою долгую жизнь так и не стали друзьями, даже не сблизились, хотя и уважали друг друга. Так, античные авторы сообщают, что, когда Софокл потерпел кораблекрушение во время своей поездки на остров Хиос и при этом погибло несколько его трагедий, Еврипид написал ему следующее: «Несчастье с драмами, которое всякий назовет общим несчастьем для всей Греции, тяжело, но мы легко утешимся, зная, что ты остался невредим». Оба они на склоне лет жили частной жизнью (после смерти Перик-

ла Софокл постепенно отошел от участия в политике и военных делах), считая главным служение музам. Оба с неодобрением относились к губительным политическим авантюрам демагогов последней четверти этого века и осуждали войну. Оба они были мудры, но их мудрость была совершенно различной — и в этом-то было все дело.

Софокл принимал мир таким, как он есть, твердо веря в его изначале заданный смысл; жизнь представлялась ему налаженной и освященной традициями системой отношений между людьми, между человеком и богами, между человеком и законом, и это придавало линейную ясность его гениальным творениям. Смерть и жизнь, зло и добро, необходимое и случайное — все представало в его мировидении как нерасторжимые звенья одной бесконечной цепи, которую никому не дано нарушить ни в чем. Он был религиозным в глубочайшем понимании этого слова, верил в некий высший Закон, который правит людьми и богами, которого не избежать, не обмануть и подчинение которому есть высшая мудрость. Он сомневался в полезности знания, считая, что истинная сущность вещей все равно никогда не раскроется для человека. И его герои жили и действовали в соответствии с этим высшим Законом, являя собой достойный пример для афинских зрителей, слабых живых людей, запутавшихся в неразрешимых противоречиях бытия. Он верил в высшую гармонию мира той светлой верой, не замутненной излишними мудрствованиями, которой не было и не могло быть у мятежного духом ученика Анаксагора и Протагора, для которого неустроенность человеческой жизни порой заслоняла ее самоценность.

Не человека, а бога считал он мерой вещей, свято веруя в непоколебимость традиций, задачу искусства видел в том, чтобы славить все «доброе и чистое» и, по словам Аристотеля, «утверждал, что сам изображал людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они есть». В высшей степени почтительно относящийся к нему Аристофан говорил, что «уста Софокла покрыты медом», и для афинян казалось бесспорным, что писать лучше, чем сын Софилла, невозможно, так же как невозможно увидеть мир мудрее и яснее. Еврипид же, как и Сократ, все пытался коснуться каких-то заветных струн в сердцах окружающих его людей, струн, которых, возможно, у многих из них даже не было, и вызывал этим все большее раздражение и гнев. В эти тяжелые годы Софокла тоже не раз приглашали поки-

нуть Афины, но он наотрез отказался, считая, что, «кто через порог тирана переступит, тот раб его, хотя бы и свободным родился». Он не мыслил себе жизни вне Афин, и, прекрасно, по-видимому, осознавая всю близость поражения, был готов разделить с родным городом его печальную участь.

Что же касается Еврипида, который с каждым годом и с каждым днем чувствовал себя все более чужим и ненужным в Афинах, против которого вот-вот могли возбудить судебный процесс (слишком много обвинений выдвигали против него, вольнодумца и богохульника, озлобленные несчастьями сограждане), то он все же решает принять приглашение македонского царя Архелая или же восхищавшихся его поэзией сицилийцев. Он приходит к этому решению после долгих колебаний и мучительных раздумий, отразившихся в его последних трагедиях. Так, в «Финикиянках» царица Иокаста спрашивает своего изгнанного из отечества сына:

Скажи, дитя, отчизну потерять  
Большое зло для человека, точно?

И несчастный Полиник отвечает ей:

Огромное: словами не обнять.

Покидая родные Афины, блистательный город его полной надежд гордой молодости, сын Мнесарха понимал, что жизнь его, в сущности, на этом кончается, потому что ему, выросшему среди образованных, смело мыслящих людей, воспитанному бессмертными философами-учителями, вряд ли удастся сохранить себя среди неотесанных, грубых варваров, «лишенных свободных речей», падающих ниц перед деспотом-самодержцем («Да, жить среди глупцов... какая пытка!»), но возможности жить как-то и дальше в Афинах у него уже, видимо, не было. И вот в середине 408 года он навсегда покидает великий свой город, где ему теперь не с кем было особенно прощаться и не о ком было особенно жалеть, чтобы вернуться сюда через несколько лет бронзовым бюстом в театре Диониса.



## В ИЗГНАНИИ

Итак, в свои семьдесят два года Еврипид навсегда оставляет отечество: он бежит из Афин, как бежал сорок лет назад великий Эсхил, оскорбленный неблагодарностью соотечественников, как бежали потом Анаксагор и Протагор, гонимые невежеством и суевериями. Он навсегда покидает истощенные войной поля разоренной Аттики, священные масличные рощи и платаны Академии, тоже словно бы доживающие свои последние сроки. Сначала он отправился в Магнесию на Ионийском побережье недалеко от Эфеса, принадлежащую теперь персидскому царю. Вероятно, он отправился туда морем, и путь этот, наиболее безопасный и короткий в то тревожное время, лежал через Миргойское и Эгейское моря, мимо Эвбеи и Андроса, между Делосом и Наксосом, мимо Икарии, Самоса и Хиоса, всех этих древних островов, старинных очагов греческой культуры, теперь, после персидского нашествия и стольких лет не менее жестокой братоубийственной войны, пришедших в запустение и бедность. И престарелому поэту, в последний раз обводившему скорбным и растерянным взором весь этот пошатнувшийся, столь блистательный ранее эллинский мир, те ужасы войны, о которых он столько раз говорил, кричал

прямо в лицо своим словно бы помутившимся рассудком согражданам, казались, возможно, еще более непоправимыми. И постепенно печальные дела отечества становились для него все более чужими, тем более что он не мог тут ничем помочь, не мог даже все объяснить до конца, и поэтому мысли его обращались все больше к вечным вопросам о цели и смысле человеческой жизни.

Магнесия, старинный город в долине реки Меандр, была издавна населена выходцами из Греции. Полвека назад персидский царь Артаксеркс преподнес его в дар великому Фемистоклу, когда Спаситель Эллады, изгнанный из отечества и не нашедший убежища ни в одном из греческих городов, пал в ноги сыну побежденного им когда-то персидского властелина, умоляя о приюте и защите. Польщенный таким унижением самого доблестного из греков, Артаксеркс дал ему сразу, как пишет Геродот, три города — на хлеб, вино и на рыбу. Одним из них и была Магнесия, до сих пор управлявшаяся потомками Фемистокла. Они не простили унижения своего великого деда, останки которого покоились в великолепной гробнице на главной площади города, после того как «из уважения к славе собственных подвигов и прежних трофеев он принял самое благородное решение — положить своей жизни конец, ей подобающий». Фемистоклиды хорошо относились к изгнанникам из Афин, особенно к тем, кто добровольно бежал от произвола и неблагодарности сограждан. Тем более что афиняне до сих пор продолжали корить и позорить Фемистоклидов тем, что они, мол, живут себе и процветают на те самые деньги, которые их бесчестный и сребролюбивый родоначальник вывез обманным путем из Аттики. Большое влияние в городе имели также потомки Метиха, сына великого полководца Мильтиада, попавшего чуть ли не сто лет назад в плен к персам и с почетом принятого Дарием. На помощь всех этих людей, во многом, по-видимому, сохранивших верность греческим обычаям и благожелательно относившихся к образованным служителям муз, вполне мог рассчитывать и Еврипид. К тому же, как говорят, у него самого были в Магнесии какие-то старые связи и знакомые, проксеном которых он бывал раньше в Афинах, когда те приезжали в Аттику по торговым или каким-то иным своим делам.

Возможно, что Еврипид надеялся провести остаток своих дней на этой древней ионийской земле, по кото-

рой, казалось, еще бродили в вечном поиске истины тени древних философов. Рядом были Эфес, родина Гераклита, и Милет, под старинные своды которого возвратились, возможно, беспокойные души Анаксагора и Аспасии, после того как был завершен их сложный жизненный путь. Однако под влиянием персов с их деспотизмом и чуждыми грекам культурными и религиозными традициями, восточными нравами и обычаями ионийские города — эта древняя колыбель греческой культуры и мудрости — во многом утратили свой прежний облик. Вероятнее всего, Еврипид не нашел и здесь взаимопонимания, не нашел людей, тяготеющих к тем самым ценностям, нравственным и духовным, которые столь высоко ставил он сам и которых донскивались когда-то философствующие друзья его молодости. Как бы там ни было, он ненадолго задержался в Магнесии и отправился в Македонию, куда уже перебрались к этому времени некоторые из немногих близких ему людей, и прежде всего музыкант Тимофей.

Может быть, уставший от жизни «философ сцены» надеялся обрести душевный покой в мире более первозданном, каким представлялась ему Македония, и это в какой-то мере ему удалось. Пожалуй, не будь этого, наверное, самого длинного в жизни поэта путешествия, он не смог бы преодолеть того тяжелого разочарования в людях, в жизни вообще, которое им овладело в Афинах. Нелепость и неустроенность бытия представлялись фатально предопределенными уже готовому впасть в отчаяние сыну Мнесарха, когда он, к счастью для себя, сумел вырваться из привычного и казавшегося чуть ли не единственным мира. Синий простор вечного моря, его соленые ветры, гористые острова с виноградниками на склонах, сухие долины Азии, множество новых людей, разноплеменных, разноязыких, радующихся и страдающих в своей непрестанной борьбе за жизнь и с самой жизнью, — весь этот беспредельно огромный, неумиряющий мир заставил его если уж не позабыть о бедах отечества, то, по крайней мере, сузил их рамки, умерил масштабы. Помог ему осознать, что поражение Афин — это еще не конец, что меняются власти, рушатся государства, одни народы сменяют другие, но жизнь остается, и остается вечная красота этого мира, его глубокий, непреходящий смысл, ради которого стоит жить и к постижению которого стоит стремиться. Вера в это, осознание этого окончательно укрепились в нем в Македонии, что-



бы излиться в ликующих гимнах жизни — хорах «Вакханок».

Первозданная красота Македонии должна была поразить Еврипида, привыкшего к невысоким горам и безлесным равнинам Аттики, где и так скудную вследствие сухости климата растительность давно уже съели козы и овцы. Здесь же высокие горы были покрыты непроходимыми зарослями: у самых вершин ели и сосны, а ниже, на склонах, дикие сливы, мирты, каменный дуб, лавр, олеандры и можжевельник. Между горами простирались равнины, поросшие колючим терновником и высокими жесткими травами, по ним текли, устремляясь с гор к морю, быстрые прозрачные реки, богатые рыбой. В лесах и равнинных кустарниках водилось множество диких зверей — козы, лисы, зайцы, кабаны, лани и даже львы, и до сих пор в македонских селениях справлялся древний обычай посвящения в охотники и поклонялись божкам-животным. До сих пор здесь не побывавший в бою не считался мужчиной, а не сразивший врага на войне носил в знак бесчестия веревочку вместо пояса. Только теперь, глядя на эти высокие горы, густые леса, примитивные хижины македонцев, Еврипид мог представить себе впечатления Геродота, которыми тот когда-то делился с афинянами, от северных рек, изобильных рыбой, несущих свои широкие спокойные воды в Понт Эвксинский, от обширных степных пространств, не знающих плуга, где стада диких белых коней щипали сочные травы. Продвигаясь в глубь Македонии к ее столице Пелле, Еврипид словно бы совершал путешествие во времени, в тот героический век Гомера, где жизнь человеческая, как казалось столь многим тогда и как кажется порою теперь, была труднее, опаснее, но зато честнее и проще. Где-то именно в этих краях находились, если верить древним сказаниям, сады царя Мидаса, сына Горгия, в которых росли дикие розы с шестьюдесятью лепестками, и когда эти розы цвели, их аромат наполнял всю страну. И бежавшему от городской темноты «философу сцены» могло показаться, что здесь-то уж он увидит людей, живущих в единстве с великой их матерью-природой, хотя, в сущности, жизнь македонян не была ни более правильной, ни более справедливой, ни более разумной, и перед обескровившими себя междоусобными распрями греками у них было только одно, хотя и решающее, преимущество — это их молодость, нерастраченные варварские силы.

И мира тоже не было на этой земле, спокойствие поселений, над которыми поднимался дым очагов, было обманчивым. Вожди окрестных племен находились друг с другом в постоянной вражде и все они вместе стремились ослабить могущество Македонии, которое возрастало по мере того, как истощали себя постоянной войной греческие государства. Первым царем Македонии, который объединил несколько местных племен в единое царство, был некий Пердикка, родом из Аргоса. Шестым после него был царь Александр, который хотя и был проксеном афинян, не оказал или не смог оказать сопротивления персам, когда они вторглись на полуостров, и даже отдал свою сестру в гарем персидского вельможи. Афиняне не раз выражали свое недовольство двойственностью поведения Александра, обвиняя его в пособничестве персам. И Геродот, живший здесь где-то между 455 и 445 годами и относившийся с особой симпатией к македонской династии, старался потом в своей «Истории» всячески оправдать, объяснить или же затушевать неблагоприятные, с точки зрения греков, моменты в политике македонян. Спустя полвека Пердикка, сын Александра, еще больше расширил и укрепил македонское царство, покоряя и вытесняя соседние племена вплоть до самого моря. Соседи сопротивлялись, и когда Еврипид прибыл в эти края, здесь была жива еще память о вторжении (в 429 году) огромного полчища, более ста пятидесяти тысяч фракийцев, гетов и других варваров, обитавших вдоль Истра, которых фракийский царь Одрис Ситалка повел на Пеллу. Только мощные стены спасли тогда македонян от этой разноплеменной орды. Осада города затянулась, и Пердикка, вступив в переговоры, был вынужден согласиться на ряд условий Ситалка. Примирение закрепил брак сестры Пердикки Стратоники с фракийским царевичем Севром, после чего последовали несколько лет непрочного мира.

Царь Архелай, по приглашению которого Еврипид прибыл в Македонию, считал себя истинным устройтелем и преобразователем государства, и основания для этого были. Современники утверждали, что он сделал для Македонии больше, чем все восемь предшествующих царей, вместе взятых: он построил ряд укреплений, проложил прямые дороги по всей стране, создал сильную конницу и ввел в употребление военные машины. Дальновидный и довольно образованный, Архелай тяготел к культуре эллинов, завидовал могуществу и блеску гре-

ческих полисов, особенно Афин, и втайне мечтал сравняться с ними, тем более что при все ухудшающемся положении обеих враждующих сторон эти мечтания казались не столь уже несбыточными. Он старался привлекать в свою столицу образованных и одаренных философов, художников, поэтов, музыкантов, радушно приглашая всех тех, кому недоброжелательство, зависть или же бедность не оставляли места у себя на родине. Говорят, он приглашал и Сократа, молва о котором давно уже перешагнула пределы Аттики, но, равнодушный равно как к злобе, так и к почету, философ отказался. Прибыв в Пеллу, Еврипид нашел там, помимо своих молодых друзей, Тимофея и Агатона, поэтов Меланипида и Хирила, а также художника Зевксиса, одного из наиболее известных в то время. (Существует версия, что примерно в эти же годы там жил и историк Фукидид, однако она ничем не подтверждается и представляется мало достоверной.) Этот кружок беглецов из Афин было все, что оставалось Еврипиду от родины, последний отблеск золотого века рабовладельческой афинской демократии в беспокойном полуварварском море населения Пеллы, где даже при дворе Архелая, обожавшего греческую образованность, не приглашали к столу того, кто еще не убил на охоте вепря. Конечно же, изгнанники продолжали и думать и говорить о смутных делах покинутого отечества, но мало кто, видимо, помышлял вернуться обратно: македонский царь был дружелюбен и щедр, его щеголявшие отменной физической силой и хваставшие охотничьими трофеями придворные тоже питали известное уважение к просвещенным чужестранцам и даже стремились по мере сил им подражать. Здесь можно было писать стихи, ваять, сочинять музыку, размышлять о событиях троянского времени, толковать изречения древних мудрецов, декламировать на частых и шумных пирах элегии совершенно здесь неизвестных старых эллинских поэтов, не боясь доносов и преследований. Можно было даже надеяться на какое-то признание и убеждать себя в том, что жизнь еще не кончается — в изгнании, на чужбине, среди хмельных полуварваров и что что-то еще остается у них впереди.

В Македонии Еврипид оставался верен своему образу жизни: много писал, читал, гулял в окрестностях Пеллы, любуясь прекрасной природой, вселяющей успокоение в его изболевшуюся душу. Царь Архелай был особенно милостив к старому поэту и часто беседовал с ним, ве-

роятно, македонскому самодержцу льстило, что именно в Пелле, а не в Сиракузах или в Магнесии, нашел прибежище этот известный всему просвещенному миру эллин, необыкновенный человек, которого Дельфийский оракул назвал вторым мудрецом после Сократа. Все это, конечно, не могло не вызвать зависти при дворе, особенно мучился этим чувством местный поэт Аридей, дарование которого просто меркло рядом с гением нелюдимого афинянина, поэтому и в Македонии Еврипид столкнулся с недоброжелательством, хотя молчаливым и скрываемым из боязни царского гнева. Так, однажды один молодой человек, некто Декамник, оскорбил Еврипида на пиру у царя, и Архелай, стараясь загладить обиду и успокоить своего отнюдь не кроткого духом знаменитого гостя, приказал жестоко избить дерзкого.

В эти последние годы старый поэт работал особенно много, словно спеша, торопясь, с одной стороны, решить для себя самого сведавшие его всю жизнь вопросы, а с другой стороны, высказать людям (кому? — македонским варварам или же своим небогадарным и недалеконвидным соотечественникам, не нуждавшимся ни в каких его разъяснениях?) свое понимание человеческой жизни, ее основных законов, ее сокровенного смысла, который, как показалось ему, вероятно, открылся для него наконец здесь, в Македонии. Он спешил сказать свое последнее слово об этом мире и поэтому просто не мог тратить быстро текущие месяцы и дни на несущественное. Но хотя, повторяя во многом своего незабвенного учителя, клазоменского философа по прозвищу Ум, Еврипид давно уже жил главным образом жизнью духа, напряженной работой ищущей мысли, его, почти восьмидесятилетнего старца, и в Македонии не оставляли в покое досужие сплетники, утверждая, что он ходит на любовные свидания. Впрочем, возможно, и в этом почтенном возрасте сын Мнесарха, находившийся всю жизнь в столь сложных и противоречивых отношениях с прекрасной половиной человеческого рода, нравился женщинам, нравился до тех пор, пока горел в нем его мятежный и гордый дух.

Он написал в Македонии несколько трагедий: «Алкмеон в Коринфе», «Архелай», «Ифигения в Авлиде» и «Вакханки», из которых до нас дошли только две последние, поражающие глубиной своего откровения и совершенством мастерства. В центре драмы «Архелай», написанной в честь его царственного гостеприимца, —

судьба основателя македонского царства, какого-то очень древнего, возможно, даже мифического царя Архелая, происходившего согласно этой пьесе не более не менее, как от самого Геркулеса. Как видно, и старый демократ не был чужд абсолютно лести, что ж, за приют и хороший обед тоже нужно было чем-то платить... Архелай остался очень доволен этим произведением, и его поставили с поистине царской пышностью в Дионе, близ Олимпа, где издавна почитали Вакха и где, кроме того, просвещенный македонский владыка учредил ежегодные музыкальные и драматические состязания в честь Зевса и муз.

Без сожалений оставив родину, стремясь освободиться от груза прошлого, проникнуться осознанием каких-то новых ценностей, приобщиться к другим пластам человеческого бытия, ему почти незнакомым и потому заманчивым, старый трагик не мог тем не менее сделать этого сразу. Он не мог перестать быть афинянином, перестать размышлять о причинах, которые обрекли Афины на столь страшные беды. Гуляя по рощам и полям в окрестностях Пеллы, Еврипид все старался доискаться, понять, почему же его поколение, начинавшее путь свой в сиянии Саламинской победы, оканчивает его в ужасном предвосхищении позорного поражения? Кто виноват, кого обвинять и с кого спрашивать? В чем корень зла? В корыстолюбии и косном самомнении демагогов, в бездарности полководцев, немилости богов, отвернувшихся от афинян, или же в несовершенстве самой человеческой природы? Человеку своего времени, чуждому пониманию глубинных причин и законов, по которым развивается общество, ему было непонятно, почему демократия, которую он приветствовал много лет назад со всем пылом своей молодой, жаждущей великих свершений души, обманула во многом его ожидания. Надежды на то, что простой, трудовой человек будет хозяином в Афинах, не сбылись. Вместо героев и мудрецов, как ожидалось, как думалось, к власти пришли толстосумы и лавочники, гонители всякого свободомыслия, которые мнили себя ничуть не хуже былой аристократии. И по-прежнему только богатство и знатность происхождения (сколько раз говорит об этом с горечью худородный Еврипид в своих последних трагедиях!), только это и делало человека по-настоящему свободным, только это и ценилось. Ум же, природные дарования, благородство души, даже подвиги во славу отечества — все это теперь

почти не имело значения. Или же, как вопрошает себя Еврипид вместе со своими скептическими героями, это вообще никогда не имело значения?

Безусловно, что до конца своих дней Еврипид оставался верен великим идеалам демократии, видя лишь в ней возможность для гармоничного развития человека и условие для истинной свободы — идеалам, так, увы, и не осуществившимся, — но то, что он наблюдал в Афинах на протяжении последней четверти века, вселяло в него ужас и отвращение. Все получалось совсем наоборот, и он (как и все другие, кому была дорога судьба родины) не мог понять, в чем же основная причина. Обольстительная Свобода, во имя которой сражалось его поколение в далекую пору осиянную победами молодости, оказалась коварной Пандорой: она словно открыла ларец с бесчисленными бедами, промахами и преступлениями, которые обрушились на афинян и, казалось, уже почти довели их до гибели... Еврипид не стремился, да и не мог быть беспристрастным свидетелем происходящего, как Фукидид, не звал назад, к старине, как Аристофан, не искал мертвящего покоя восточных деспотий, как Ксенофонт. Не в силах понять социальных причин кризиса современной ему рабовладельческой демократии, он, подобно Сократу, пытался найти объяснение этому в самом человеке, в тех силах, которые таятся внутри каждого из смертных, часто ему самому неведомые и неподвластные, и которые, вырываясь на поверхность, определяют ход бытия.

Стремясь отыскать причины того тяжелейшего положения, в котором оказались Афины, он видел их то в отсутствии вождей, подобных Фемистоклу и Периклу, то в страшной междоусобной войне, унесшей цвет эллинистического, подточившей жизнеспособность древних городов, но чаще всего в несовершенстве рода людского, которому еще очень далеко до того, чтобы стать разумным хозяином своей собственной судьбы. Уставший от неразрешимости жизненных противоречий, Еврипид был готов теперь отрицать все то, что было свято для эллинов на протяжении долгих веков, и развенчать даже то, на что он не посягал в своей дерзновенной молодости, — патриотизм, любовь к родине, счастье пожертвовать собой во имя ее. Ниспровергая кумиры, как он теперь считал, насквозь живые, пост впадал в крайности, и великий принцип Протагора «человек есть мера всех вещей» приобретает в его последних произведениях ярко выражен-

ные индивидуалистические очертания, предвосхищая тот упадок гражданственности, тот солипсизм, то трагический, то гедонистски-равнодушный, который стал определяющим для греческих художников слова последующего столетия. Он одним из первых поставил под сомнение те идеалы, которых столетием позже вообще уже не существовало. Привычный его мир умирал, чтобы возродиться в следующем, уже идущем ему на смену из непознаваемого будущего, но несчастный сын торговца Мнесарха не мог подняться до такой глубины обобщений, до такой философской отрешенности, чтобы равнодушно смотреть, как у него на глазах разваливается по частям его единственный из миров, и скорбел, протестовал, проклинал...

Ответом на многие из тех вопросов, которые не могли не терзать Еврипида на закате его трудной и сложной жизни, явилась «Ифигения в Авлиде». В этой трагедии он вновь обращается к мифу о принесении в жертву царской дочери Ифигении во имя победы над Троей. Считается, что этот миф сложился где-то между VII и V веками и наиболее ранний его вариант имеется в «Киприях». Дело будто бы обстояло так: в то время как греческие корабли собирались в беотийской гавани Авлиде, чтобы двинуться потом вместе на Трою, предводитель ахейского войска, царь Агамемнон, убил на охоте прекрасную лань и стал похваляться, что столь меткий выстрел не под силу самой Артемиде. За это разгневанная богиня наслала на гавань северные ветры. Гибли корабли, разбиваясь у самого берега, о том, чтоб отплыть к Трое, не могло быть и речи. В отчаянии ахейцы обратились к оракулу, и тот сказал, что Артемиде требуется жертва — юную дочь Агамемнона Ифигению. Девушку срочно вызвали из Аргоса, будто бы для брака с Ахиллом, находящимся тут же, в греческом войске, и закололи на алтаре. Ветры утихли, суда отплыли, и Троя была уничтожена.

Гомер ничего не говорит об этом в «Илиаде», у него Ифианасса (Ифигения) спокойно живет себе с матерью в Аргосе и уже через десять лет после этих событий предлагается в жены Ахиллу (песнь IX). Однако, возможно, что в этом предании содержится какая-то доля исторической правды. Человеческие жертвы во имя победы над врагом приносились даже во времена Еврипида: так, согласно Плутарху Фемистокл перед битвой при Саламине принес в жертву Дионису Оместу «трех пленников, очень

красивых собой, роскошно одетых и украшенных золотом», племянников персидского царя, а спартанский царь Агиселай, собираясь переправиться в Азию, принес жертву Диане в Авлиде, словно продолжая традиции Троянской войны. К этому мифу обращались Гесиод и Пиндар, мотив мнимого сватовства Ахилла использовал Стесихор, а затем и Эсхил в трагедиях «Ифигения», где жертвоприношение аргосской царевны имело возвышенно-патриотическую трактовку. Еврипид, хотя и у него заклание дочери Агамемнона — это выкуп за будущую победу, а не расплата за хвастовство ее отца, выворачивает, как обычно, весь миф наизнанку, словно желая доказать еще раз столь очевидную для него истину: темные и недостойные деяния людей не исполнение воли богов, а следствие их собственной несостоятельности. Агамемнон пытается убедить всех, и прежде всего себя самого, в высшей необходимости смерти Ифигении, прибегая к тем самым лозунгам и аргументам, которых вдосталь наслушался Еврипид за последние годы и которые к концу Пелопоннесской войны стали пустой оболочкой из пышных словес:

Дитя мое! Не Менелая волю,  
Как раб, твою... Эллада мне велит  
Тебя убить... Ей смерть твоя угодна,  
Хочу ли я или нет, ей все равно:  
О, мы с тобой ничто перед Элладой,  
Но если кровь, вся наша кровь, дитя,  
Нужна ее свободе, чтобы варвар  
В ней не царил и не бесчестил жен.  
Атрид и дочь Атрида не откажут.

Однако он не может обмануть этими выпренными речами ни свою жену Клитемнестру (не жалеющую для царя язвительных слов: «Не вождь, а раб ахейский!»), ни Ахилла, возмущенного тем, что его именем раскрываются столь гнусные замыслы, ни в конечном итоге себя самого: ему жаль дочь, но он боится воинов, не желающих больше медлить с отплытием. Коллизия разрешается тем, что юная Ифигения, искренне убежденная в необходимости самопожертвования во имя отечества (хотя, если разобраться, предстоящий поход на Трою был всего лишь карательной экспедицией и целью его было возвращение «блудной жены», как все время подчеркивает Еврипид, окончательно дегероизируя в последних трагедиях самую славную в истории своих предков страницу), сама себя отдает на заклание:



Я умру — не надо спорить, — но пускай по крайней мере  
Будет славной смерть царевны, без веревки и без жалоб.  
На меня теперь Эллада, вся великая Эллада  
Жадно смотрит: в этой жертве беззащитной и бессильной  
Все для них: попутный ветер и разрушенная Троя...

Но если для Эсхила и Софокла самопожертвование аргосской царевны было подвигом, а решение Агамемнона — исполнением воли богов, всегда тягостной для человека, но непреклонной, Еврипид все это видит совершенно иначе: у него Ифигения — жертва не столько своей жестокой судьбы, сколько слабости своих близких. Ни Клитемнестра, ни Агамемнон, уже было раскаявшийся в своем решении, ни тем более Ахилл как будто бы не желают совершить это зло, и тем не менее оно совершается с поистине фатальной неотвратимостью. Трагедия завершается чудом: когда уже все было готово для жертвоприношения, вместо девы на алтаре оказалась прекрасная лань, а Ифигения исчезла. Куда? Неизвестно, может быть, в степи далекой Таврии, а может быть, ее забрали к себе бессмертные боги...

Здесь нет легендарных мужей троянского времени, в чьем облике время как бы все укрупнило, стерло лишнее и несущественное, а есть запутавшиеся в противоречиях жизни люди печального времени конца Пелопоннесской войны, довольно слабые и мелочные. И Агамемнон здесь совсем не тот величественный воин, о котором так говорил бессмертный Гомер:

Кто сей, пред ратью ахейской, муж великий и мощный?  
Выше его головой меж ахейя есть и другие,  
Ни толико прекрасного очи моя не видали,  
Ни толико почтенного: мужу царю он подобен.

Здесь это внутренне в себе неуверенный, но старающийся не показать этого политикан и демагог, всеми средствами домогающийся власти, так похожий на столь презираемых Еврипидом «народных вождей» конца его печального века:

Вспомни, как ты унижался, черни руки пожимая,  
Как дверей не запирали ты, без разбору принимая,  
Как со всеми по порядку ты беседовал учтиво,  
И врагов и равнодушных уловля фразой льстивой...

Поистине такие речи немислимы в устах героев Микенского времени, они были немислимы еще полвека назад. «Ифигения в Авлиде» — это свидетельство тяже-

лых раздумий поэта, той мучительной переоценки казавшихся вечными ценностей, которую переживал он в свое последнее десятилетие. В этой трагедии Еврипид наконец прямо поставил вопрос, к которому шел долгие годы, — вопрос о правомочности жертвы, тем более юной человеческой жизни, во имя каких бы то ни было высших интересов. И он не мог его не поставить: великие деяния персидской войны уже стали легендой, а то насилие, уничтожение бывших союзников, схватки с пелопоннессцами, братьями по крови, языку и славным победам над врагами Эллады, — все эти подвиги во славу отечества, по утверждению демагогов и любителей легкой наживы, все это не стоило тысяч и тысяч оборвавшихся жизней, несостоявшихся судеб, неродившихся детей, неспетых песен и ненаписанных картин. Трагичность патриотического сознания в то время, когда родина превратилась, по существу, в убийцу своих детей, нелепость подвига во имя чьей-то корысти, невозвратимая ценность каждой отдельной человеческой жизни, унесенной войной, — все это слилось в Ифигении. Повец героинь мужественных и страстных, неукротимых в любви и ненависти, Еврипид возвратился на склоне лет к образу кроткой и великодушной юницы, словно бы воскрешая трогательную Алкесту своей молодости, также принесшую себя в добровольную жертву. И опять он явил себя глубочайшим психологом и лириком, сострадающим исследователем человеческой души, беззащитной перед недоброжелательством мира. С одной стороны, Ифигения как будто бы молодая афинянка, современница Еврипида, не сомневающаяся в официальном лозунге «спасения отечества» и «обуздания варваров», твердо уверенная в правоте отца и превосходстве своего народа:

Грек, царя, а варвар, гнися!! Неприлично гнутья грекам  
Перед варваром на троне. Здесь — свобода, в Трое — рабство.

Успокаивая свою мать, сомневающуюся в необходимости столь страшной жертвы, Ифигения словно вторит афинским демагогам конца Пелопоннесской войны, прикрывающим своекорыстные экспансионистские устремления давно уже обесцененными патриотическими лозунгами:

А еще... Прилично ль смертной быть такой жизнелюбивой?  
Разве ты меня носила для себя, а не для греков?  
Иль, когда Эллада терпит и без счета сотни сотен  
Их, мужей, встает, готовых весла взять, щитом закрыться

И врага схватить за горло, а не дастся — пасть убитым,  
Мне одной, за жизнь цепляясь, им мешать?.. О нет, родная.

А с другой стороны — это глубоко незащитная молодая девушка, почти ребенок, всеми обманутая и преданная, вычеркнутая из жизни своими близкими. Ей так не хочется умирать, умирать, не познав радости жизни, мужской любви, материнства, что ей до победы, которую она никогда не увидит:

А под землей так страшно... Если кто  
Не хочет жить — он болен: бремя жизни,  
Все муки лучше славы мертвеца.

И какая же из этих Ифигений настоящая, именно такая, какой она должна быть? У Еврипида нет однозначного ответа на этот вопрос, как, в сущности, и на все другие вопросы, которые он когда-либо ставил. Он не подходит к миру с заранее заданными парадигмами, как Софокл, и в этом его слабость — потому что вопрос остается открытым и зрителям не всегда нравилось это. Но в этом же и его сила: поэт следует течению жизни, ее бесконечному внутреннему диалогу, который дано услышать лишь очень и очень немногим. И главное в нем — это сомнение, сомнение, подтачивающее радость земного бытия, но идвигающее это бытие вперед, сомнение, которое Еврипид вкладывает на этот раз в уста Клитемнестры:

Дитя мое... Добычей рук бессмертных  
Ты сделалась... Как призывать тебя?  
А если это бред пустой и ложный,  
Чтобы меня утешить?.. Что тогда?..

Шли дни и месяцы, жизненный путь сына Мнесарха приближался к концу, но, следуя заветам своих бессмертных учителей, он продолжал напряженно доискиваться ответа на самый главный вопрос, мучивший его всю жизнь: в чем смысл человеческой жизни и в чем состоит счастье? Дела отечества становились для него все более чужими и далекими, его все меньше интересовали перипетии афинской политики. Для старого воина и поэта это все уже было в прошлом: битвы, победы, поражения... Здесь, в Македонии, среди великолепной, почти первозданной природы, в окружении людей, казавшихся варварами по сравнению с его соотечественниками, но более сильных, цельных и нравственно здоровых, Еврипид неизбежно был должен увидеть мир несколько иначе,

открыть для себя какие-то новые его грани, а если и не новые, то казавшиеся ранее несущественными. Всегда до бесконечности усложнявший свою собственную жизнь, искавший счастья то в глубинах познания и философских абстракциях, то во взлетах поэтического вдохновения, он просмотрел немало простых человеческих радостей и вынужден был теперь это признать. Он, всегда стремившийся изменить к лучшему этот жестокий и непонятный мир, сделать людей более вечными, возвышенными и справедливыми, теперь вынужден был признать, что или это оказалось ему не под силу, или же это вообще невозможно. Жизнь подходила к концу, а мир оставался все той же огромной загадкой, как и во времена его полной надежд молодости, и, одинокий, одолеваемый старческой слабостью, вдали от родных Афин, «философ сцены» увидел, возможно, по-новому непреходящую мудрость Солона, считавшего, что истинное и единственно возможное для человека счастье — это живые, здоровые, устроенные дети и достойная кончина на родине...

Именно здесь, в Македонии, среди глухих лесистых гор, где в урочную пору местные менады еще справляли свои дикие, оргастические празднества в честь великого Вакха, при воспоминании о запустевшей Аттике, становился особенно понятным древний миф об Антее, который был силен до тех пор, пока соприкасался с матерью-землей. Духовно сформировавшийся в те времена, когда все расширялся процесс «отращения от земли» жителей Аттики, начатый Фемистоклом, и считавший долгие годы, что именно город, его божественные Афины, светоч искусств и образованности, призван определять развитие общества, постепенно просвещая деревню с ее косностью и примитивными суевериями, Еврипид не мог не признать к концу своих дней, что все обернулось совсем не так, как ожидалось, как думалось. Сотни разоренных людей в тесных стенах города не стали ни более просвещенными, ни более счастливыми: напротив, оторванные от матери-природы, от освященного вековыми традициями труда, от обычаев дедов и прадедов, они постепенно деградировали физически и нравственно, превратившись в немущих и наглых паразитов, которых уже было не в состоянии содержать обедневшее государство. Оказалось, что своим блеском, силой и процветанием Афины были обязаны в значительной степени тому, что вокруг города из года в год трудились на своих полях,

огородах и виноградниках свободные земледельцы — люди, хранящие животворную связь с кормилицей-землей, здоровые корни могучего дерева, на котором в урочную пору распускались прекраснейшие цветы...

И, подводя итог своему долговому, сложному и противоречивому поиску смысла и содержания бытия, Еврипид оставался верен себе: он не мог примириться с фаталистическим восприятием мира как единственно правильным и считать, подобно Геродоту, что «незгоды и телесные немощи ведь поражают и мучают нас так, что наша, пусть даже краткая, жизнь кажется нам слишком долгой». Он не ждал кончины как освобождения, уповая, подобно Сократу, на вечное счастье в надземном мире («Как не испытывать радости, отходя туда, где надеешься найти то, что любил всю жизнь, — любил же ты разум, — и избавиться от общества, давнего своего врага!»), но уже на самом пороге, готовясь переступить ту непостижимую грань, что отделяет прекрасный и жестокий мир живых от сумрачной обители мертвых, может быть, даже в чем-то и соглашаясь с Сократом, Еврипид в последний раз с невероятной даже для него силой художественного мастерства воспел Жизнь во всем ее грозном величии и противоречивости в трагедии «Вакханки». Он воспел счастье жить на этой земле, быть частью этого бессмертного и бесконечного мира, в котором все приходит в свой черед и все связано неразсторжимо: свет и тень, борьба и покой, горе и радость, дерзкий человеческий крик и равнодушное молчание великого Космоса...

Вряд ли можно говорить о том, что в этом своем последнем и, как считается, самом сильном произведении Еврипид пришел наконец к утверждению какой-то главной и однозначной истины, завершивший долгий спор с самим с собой и со всем миром. Скорее всего «Вакханки» свидетельствуют о том, что поэту хотелось во что бы то ни стало найти объяснение жизни в самой жизни, отыскать единственно возможное для человека счастье на этой земле (пусть даже ему самому так и не пришлось испытать его в полной мере), прежде чем он покинет ее. Он не хотел уходить из этого мира с убеждением в его полной бессмысленности и безысходности, не боясь признать, что, может быть, он просто чего-то не увидел, не смотря на свою якобы мудрость, что нечто важное осталось скрытым для него, но оно, это самое важное, все-таки есть и, возможно, даже известно другим людям,

людям более простым, чей бесхитростный разум не перегружен заимствованной мудростью, философскими абстракциями, живущим той самой жизнью, которой, как казалось ему теперь, и надлежит жить человеку — в единении с природой, в подчинении ее вечным, непреложным законам.

Несчастье людей в том и состоит, что они оторвались от своей прародительницы и противопоставили себя ей, утверждает в своей последней трагедии Еврипид, но вряд ли он сам бы мог при всем желании жить таким образом: это счастье — счастье гесподовского патриархального земледельца или же македонского полуварвара — было для него уже невозможно, он не мог спуститься с тех высот разума, которых ему удалось достигнуть, перечеркнуть тот путь, который был им пройден (и не только им, но всем афинским народом), и «Вакханки» — это не мечта об опрощении, но гимн жизни во всей ее диалектической сложности, с ее и созидательным, и разрушительным началами, только поняв и приняв которые человек может быть ею счастлив:

Многовидны явленья божественных сил,  
Против чаянья много решают они:  
Не сбывается то, что верным считал,  
И нежданному боги находят пути;  
Таково пережитое нами...

Воплощением самой Жизни является у Еврипида бог Дионис, то дарующий людям великие радости, то обрушивающий на них суровые кары — этот древнейший из богов, в котором в долгом течении тысячелетий слились божества различных народов, носящие разные имена, но все отождествлявшие собой вечную животворящую силу Земли. Согласно одним преданиям Дионис пришел в Грецию из Финикии, а в крито-микенские времена имел облик священного быка. Но есть и легенда о том, что это был какой-то древний герой или же полубог родом из беотийских Фив, который сам совершил поход на восток со своей ратью менад, достигнув пределов Индии, и был впоследствии обожествлен. Как бы там ни было, в Аттике Дионис оставался долгое время сельским, прадедовским богом, пришедшим из глубины додорийских столетий, отнесенным на немудрящие крестьянские празднества аристократическими олимпийцами. И лишь на самой окраине эллинского мира, в захолустной Фракии, где в ежегодных оргастических празднествах женщин

еще слышались отчетливо отзвуки матриархата, Диониса продолжали почитать как одного из самых главных богов, В Афинах же всего за полстолетия до рождения Еврипида, когда усилилась борьба народа с родовой знатью, такой же своевластной и надменной, как и почитаемые ею олимпийцы, хтонический Дионис стал понемногу выходить на первый план как щедрый и милостивый к простому народу бог, извечный спутник и покровитель работающего на земле человека:

Вина  
Влагу усладную,  
Всех печалей забвение,  
Дал богачу он и бедному.

Установлению культа Диониса в Афинах в немалой степени способствовал тиран Писистрат, искавший поддержки земледельцев. Дионис стал одним из наиболее почитаемых божеств победившей рабовладельческой демократии, но к концу Пелопоннесской войны его изначальная сущность в значительной степени стерлась, и из великого крестьянского бога он превращался все больше в символ праздного веселья, вина и зрелищ, сытый, румяный и капризный, точно какой-нибудь афинский щеголь послепериклова времени, такой, каким он предстал впоследствии в комедии Аристофана «Лягушки».

Дионис в «Вахханках» — это тот Дионис, каким он был изначале и каким по сути своей останется навсегда: прекрасный и грозный, несмотря на всю свою прелесть, бог, тот самый, который жестоко наказал когда-то за непочтение фракийского царя Ликурга, о чем писали Гомер в «Илиаде» и Эсхил в одной из своих не дошедших до нас трагических трилогий. В трагедии Еврипида Дионис, сын бессмертного Зевса и земной девушки Семелы, дочери властителя Кадма, возвращается после долгих странствований по свету в родные Фивы, чтобы освятить память матери и наказать ее сестер, которые в нем «Зевеса сына не признали»:

За это их я в бешенстве дома  
Заставил бросить: потеряв рассудок,  
Они теперь ушли на Киферон  
В вакхических одеждах, с жадной оргий  
В груди, и сколько в царстве Кадма есть вместе  
Народу женского — всех с ними вместе  
Заставил я покинуть очаги.

Из всех фиванцев только дед его Кадм да старый прорицатель Тиресий распознают в прекрасном лидийце

великого бога и решают принять его, «взять тирсы и, накинувши небриды, плющом седые головы увить», пополнив его свиту. Царствующий в Фивах Пенфей, тоже внук Кадма, двоюродный брат Диониса, человек свободного образа мыслей, презиравший престолярные суеверия, очень недоволен какой-то непонятной ему смутой в стране, он пытается вразумить деда и Тиресия, а женственного лидийца, виновника всех беспорядков, приказывает изловить и привести к нему в цепях: «Пусть он, камнями побитый, умрет, на горьком опыте узнав, как здесь справляют праздники в честь Вакха». И вот они уже стоят друг против друга: всемогущий бог вечно существующей жизни — и умствующий Пенфей, сильный разумом, но черствый душой, дерзающий «превысить предел», положенный смертному, но, в сущности, даже не понимающий, в чем оно состоит, человеческое счастье:

Да и мудрость не в мудрость, когда  
Человек выше смертного смотрит:  
Век проходит, и время не ждет,  
А ты счастье ронишь из рук,  
За мечтою гоняясь!  
Разума нет у таких мудрецов,  
Жизнь расточают они без отрады, без пользы.

Напрасно блаженные в своем единении с богом, людьми и природой старики просят вольнодумца Пенфея смириться перед непознаваемым, не «чуждаться веры»:

Да, перед богом тщетно нам мудрить.  
Предания отцов, как время, стары,  
И где те речи, что низвергнут их,  
Хотя бы в высях разума витал ты?

Напрасно сам Бромий, «бог суровый для гордых, а для кротких — нет добрей», уговаривает брата-богоборца признать его власть, являясь ему во всем своем всеокушающем величии: он вызывает землетрясение, в огненных вспышках освобождается из оков, рушит царский чертог и ввергает в безумие царицу Агаву и других женщин, заставляя их разрывать руками коров, в щепы разносить крестьянский скарб, похищать детей и наносить страшные раны мужчинам, пытающимся вернуть их домой. Упорствуя, Пенфей грозитя перебить всех женщин в ущелье Киферона и так или иначе посрамить самозванного бога. И тогда Дионис решает по заслугам наказать этого смертного, возомнившего себя равным, а то и выше



бога и противопоставившего свой жалкий человеческий разум, свою смехотворную земную власть его вечной силе:

Ты сам не знаешь, что желает сердце,  
Ты сам не знаешь, что творит рука,  
Ты сам не знаешь, что ты есть и будешь.

Он ввергает в безумие гордого своим свободомыслием царя, с улыбкой накидывая ему петлю на шею, делая его «посмешищем для Фив». По его совету Пенфей переодевается в женское платье, чтобы тайно проникнуть на оргию вакханок, и находит там гибель от рук собственной матери Агавы, в безумии своей представляющей, что она разрывает на части льва. Так, беспощадно и насмешливо, восстанавливает свою непреложную власть Дионис, точно сама Природа, равнодушно сметающая на своем пути все, что противоречит ее законам, и неизменно восстанавливающая равновесие, которое никому не дано нарушить:

Необузданным речам  
И безверья слепоте  
Злой конец определен,  
А рассудок и покой  
Человека берегут:  
С ними жизнь его прочна,  
Держатся миром и дома.

Спор Пенфея с Тиресием и Кадмом, раскрывающий смысл трагедии, — это все еще тот диалог поэта с самим собой, конец которому положила только его смерть, но так и не завершила его. И если богоборец Пенфей — это, без сомнения, одна из ипостасей самого Еврипида, то, чем был он всегда, то счастливые в своей искренней вере старцы — это то, чем он, очень возможно, хотел бы стать на склоне лет, но чем он никогда не был и не мог быть. Сын Мнесарха давно уже понял, что глубокий и пронизательный разум никогда не уживается со счастливой простотой, что стремление перешагнуть меру, положенную смертному (стремление, всю жизнь снедавшее его самого), опасно, но он не мог стать другим, не мог смирить свой мятежный дух, жаждущий достичь пределов познания:

Не прихоть ли, коль так благоустроил  
Бог нашу жизнь, быть ею недовольным?  
Но дух наш хочет быть сильнее бога,  
Мы в горделивых помыслах готовы  
Считать себя умней самих бессмертных.

Так писал он еще в «Просительницах», чтобы опять и опять повторять это в «Вакханках»:

Нет, горя не звать  
Дано лишь тем,  
Кто божье оставил богам.  
Что мудрость, коли счастья не может дать она?

И в этом ключ к пониманию как личной трагедии Еврипида (этой вечной трагедии «горя от ума»), так и глубочайшего трагизма всего его творчества: достигнув, казалось бы, крайних пределов знания, доступных для человека его времени, нащупав своим пытливым умом важнейшие закономерности жизни, он никогда не знал покоя и удовлетворения и сам понимал почему. Утверждая, что человек вообще несчастен своим отделением от природы, а человек, сознательно усугубляющий это отделение самонадеянным рационализмом, несчастен тысячекратно, он никогда бы, однако, не смог не только что возвратиться в лоно природы, но даже подчинить себя ей. Считая, подобно своим философам-учителям, что человек с его разумом и беспокойной душой лишь ничтожнейшая из частиц мироздания, песчинка в бездонном океане вселенной (что прозвучало особенно торжественно и грозно в прекрасных хорах «Вакханок»), он тем не менее никогда бы не смог отказаться от идеи равнозначности, равновеликости бескрайнего Космоса и того микрокосмоса, что заключен в каждом из смертных. Всю жизнь пытавшийся чему-то учить свой народ, поднять его до вершин, им самим достигнутых, он видел — и с каждым годом все ясней и отчетливее, — что у простого народа, каким бы невежественным и заземленным он ни казался, есть тоже своя великая мудрость, идущая через века и помогающая ему в отличие от «мудрецов горделивых» пережить все тяготы, беды и неожиданности бытия... Он понимал это, но принять «от толпы и обряд... и веру» так никогда и не смог. Жить надо проще — это откровение, к которому ему надо было идти всю жизнь, не давало, по видимому, покоя дерзкому разумом ученику Анаксагора и почитателю Гераклита на склоне его непростого пути, но это было не для него, как он ни старался убедить в этом и себя самого, и других:

Счастлив пловец, что в бурю  
В гавань вошел и спасся,  
Счастлив и тот, кто в сердце  
Бурю сомнений и дум усмирил.  
Нет в остальном тебе счастья надежного.

И даже если, дописывая последние строки своей последней трагедии, последние строки драмы собственной жизни, он призывал к смирению, сам он так и оставил этот мир бунтарем. Еврипид умер в начале 406 года, и смерти его, так же как и жизни, сопутствовали отнюдь не доброжелательные слухи. Поэт был похоронен в Македонии, близ Аретусы, и спустя какое-то время в гробницу его ударила молния, как когда-то в гробницу спартанского законодателя Ликурга: «С ним одним случилось после смерти то же, что никогда — с самым чистым и самым любезным богам человеком, и в глазах страстных поклонников Эврипида — это великое знамение, служащее оправданием их пылкой приверженности».

Весной 406 года в Афинах узнали о смерти Еврипида, и Софокл в траурной одежде вывел на просцениум актеров без венков, скорбя о смерти великого собрата по служению Музам. Теперь он остался один, последний из тех, кого взрастило навсегда ушедшее золотое Периклово время, остался доживать свои последние несколько лет печальным и беспомощным очевидцем крушения мощи и славы своего великого города. Возможно, что к этому времени афиняне осознали, если уж не вполне, то в какой-то мере, свою несправедливость по отношению к Еврипиду. Тем более что слава их гениального соотечественника распространялась все шире за пределами эллинского мира, и им восхищались даже те, кто едва ли был особенно знаком с театральным искусством Афин. (Так, Плутарх рассказывает в связи с этим, что однажды какой-то афинский корабль, преследуемый пиратами, просил убежища в бухте карийского города Кавна. Карийцы сначала не пустили корабль, но потом, спросив у корабельщиков, не знают ли они что-нибудь из Еврипида, и получив удовлетворительный ответ, позволили афинянам укрыться в их гавани от морских разбойников.) И теперь то, что старый поэт умер на чужбине и там же был похоронен, обернулось для его соотечественников немалым позором. Семье Еврипида было доставлено его скромное имущество, книги и рукописи, в том числе не вполне еще законченные «Ифигения в Авлиде» и «Вакханки». Античные авторы сообщают, что сиракузский тиран Дионисий купил за один талант у наследников лиру поэта, его доску и грифель и пожертвовал все эти вещи в храм Муз в Сиракузах. Молодой Еврипид, сын поэта, доделал трагедии и представил их для постановки вместе с не дошедшим до нас «Алкмеоном в Коринфе».

И вот перед афинским народом в последний раз (по крайней мере, для тех, кто сидел в это утро в театре) предстали мятущиеся, страстные и сомневающиеся герои македонского изгнанника, в последний раз явились перед ними с глубокой скорбью, гневом и удивлением обнаженные трагические тайны человеческого сердца, в которое лучше не заглядывать. Возможно, они были удивлены, эти зрители, удивлены тем новым для них Еврипидом, который предстал перед ними, уже не существующий, но все еще вопрошающий, доискивающийся до истины, в «Вакханках». Измученные нескончаемыми бедами, оказавшие-

ся словно бы в тупике безысходности, столь характерном для еврипидовских трагедий (хотя многие из них не желали признаться в этом даже самим себе), тоскующие в грязном и тесном городе по ячменным полям и зеленым пастбищам, по своим покинутым виноградникам на залитых солнцем склонах холмов, позабывшие вкус собственного молодого вина, которое они распивали, бывало, во славу великого Диониса, афинские зрители, бывшие крестьяне, всем своим существом понимали мудрого старца Тиресия, вразумляющего вольнодумца Пенфея:

Послушай, сын мой: два начала в мире  
Суть главное. Одно — Деметра-мать.  
(Она ж Земля; как хочешь называй).  
Она сухой лишь пищу нас кормит;  
Ее дары дополнил сын Семелы:  
Он влажную нам пищу изобрел —  
Тот винный сок, усладу всех скорбей.  
В нем он и сон нам даровал, забвенью  
Дневных забот, — иного же не найти  
Им исцеленья...

Что ж, думали они, может быть, этот раздражительный старый поэт, мизантроп и, как говорят, богохульник, примирился в конце своих дней с всемогущими богами, по крайней мере с Дионисом... Может быть, сами бессмертные боги даровали ему свою последнюю, самую великую милость — смирение, и он наконец признал как незыблемые и вечные те самые законы человеческой жизни, те изначальные ее устои, против которых бунтовал всю свою долгую жизнь, доискиваясь до смысла бытия, который, в сущности, и не надо искать, а надо в него лишь верить:

Веры не надо нам  
Лучше отповской;  
Легким усилием признаешь ты  
Мощным того, кого богом зовем мы,  
Вечными, духу врожденными, — истины,  
В кон так долго уж веруют люди...

Трудно сказать, были ли восхищены афинские зрители отточенным мастерством этих последних трагедий или же их снедало осознание своей былой несправедливости по отношению к Еврипиду, но как бы там ни было, трилогия получила первую премию, ту самую вожделенную награду, которой поэту удавалось достигнуть лишь несколько раз на протяжении длинного полувека. Так как царь Архелай отказался выдать тело поэта для погребения

ния в Афинах, сограждане ограничились тем, что поставили в честь его по дороге в Пирей кенотаф со следующей эпитафией, сочиненной будто бы то ли историком Фукидидом, то ли музыкантом Тимофеем: «Могилой Еврипида служит вся Греция, тело же его находится в Македонии, где ему суждено было окончить свою жизнь. Отечество его — Афины и вся Эллада. Он пользовался любовью Муз и тем приобрел себе хвалу от всех».

Но вот минул год, и афинский народ, который совсем еще недавно восхищался и плакал, внимая хорам «Вакханок», этот же самый народ от души хохотал и веселился на представлении «Лягушек» Аристофана, где неуемный защитник дедовской старины и за гробом продолжал сводить счеты со столь раздражавшим его при жизни сыном Мнесарха. Словно вызванные из небытия, в ярком утреннем свете сошлись на просцениуме театра Диониса бессмертные теши тех, кто отпел свое и отведал, обрели наконец последний покой в иных каких-то пределах. Дерзкий насмешник Аристофан вел за собой зрителей прямо в Тартар, где якобы продолжали утверждать свою правоту, свое понимание миропорядка Эсхил, Еврипид, Клеон, и снова каждому воздавал по заслугам, как он эти заслуги понимал и оценивал.

Главный герой «Лягушек» (и, может быть, в этом был скрытый, нахальный вызов творцу «Вакханок», пусть даже уже не существующему) тоже Дионис. Но не всемогущий прекраснотелый Лидиец, у которого светлые кудри как виноградные гроздья, а свой, афинский Дионис, разнаряженный, сытый, румяный, капризный и глуповатый, жаждущий первосортных развлечений. Обиженный тем, что трагедии на празднествах в его честь стали уж очень плохи, он решает вместе с Гераклом спуститься в Тартар, чтобы вывести снова на свет хоть какого-то стоящего поэта. Здесь, в загробном мире, каждый вел себя так, как при жизни в Афинах: так, Клеон служил приставом, продолжая опутывать ложью и лестью толпу легковверных простоватых тещей, так прославляемый хором лягушек:

Разве ты с первых дней  
Не был глуп, не был груб.  
Нет стыда, чести нет  
У таких крикунов.

Но, верный своему неискоренимому недоброежелательству, поистине непонятному ожесточению, Аристофан и в

Тартаре находит того, кто еще хуже Клеона, кто принес, на его взгляд, еще больше вреда афинскому обществу:

Всё ж нам на радость нашелся  
другой теперь,  
Много подлей тебя, много хитрее.  
Он управится с тобой. Это ясно  
как дважды два!  
Бесстыден и бесчестен он  
И на выдумки силен.

И это все о Еврипиде, этом трагичнейшем из поэтов и, по-видимому, несчастнейшем из людей, сердце которого растворилось в бездонности людского страдания. И это о человеке, жизнь свою положившем на поиски истины, вся «вина» которого состояла лишь в том, что он пытался достучаться до сердца, до совести своих — увы! — далеко не совершенных соотечественников. Какое страшное непонимание! Какая несправедливость судьбы...

Далее оказывается, что Еврипид, «богини огородной порождение», «этот ужасный человек», «прорицатель лжи» и «рыночный крикун» (Аристофан, как обычно, не стеснялся в эпитетах для ненавистного «сына торговли зеленью»), хотя он появился в подземном царстве совсем недавно, уже успел сколотить шайку подонков и собирается скинуть Эсхила с его законного места первого среди поэтов, этот скандалист и наглец, который молился при жизни «богам собственного чекана» и развратил афинский парод:

Умело я их обучил,  
Пример для жизни показал,  
В поэзию науку ввел  
И здравый разум. Рассуждать  
Теперь способны все про всё,  
И в государстве, и в домах,  
Хозяинчать на новый лад  
Способен всяк и всяк кричит:  
— Уж я задам! Уж я вас!

И это все о человеке, трагедия которого в том-то и состояла, что он так и не смог ничему научить своих соотечественников, как ни старался. И не было его вины в том, что традиционалистски в своем большинстве мыслящая, по старинке религиозная афинская публика не давала себе труда размышлять о гуманистической сущности его нравственной философии, а видела в ней лишь стремление ниспровергнуть установления предков и веру в бессмертных богов, милостью которых и только лишь ею одной держится мир. Та правда жизни, которую стремился

явить Еврипид в своих трагедиях, казалась ненужной и оскорбительной тем, которые, подобно самому Аристофану и созданному им в «Лягушках» Эсхилу, хотели бы видеть в поэзии лишь идеал, то совершенство, до которого так далеко людям, но к которому они должны стремиться:

Еврипид:

Или, скажешь, неправду и с жизнью вразрез  
рассказал я о Фезде несчастной?

Эсхил:

Зевс свидетель, всё — правда! Но должен скрывать  
эти подлые язвы художник,

Не описывать в драмах, в театре толпе не показывать.

Малых ребяток

Наставляет учитель добру и пути, а людей  
возмужавших — поэты.

О прекрасном должны мы всегда говорить.

Итак, прибыв в Тартар, Дионис с Гераклом наводят порядок и восстанавливают справедливость (хотя Аристофан в чем-то не отрицает и доли правоты Еврипида, восклицаящего с горячностью: «Человеческим будет наш голос пускай!») — Дионис возвращает на землю Эсхила как первого среди мудрецов и поэтов, сурового поборника истины и справедливости, величественного певца марафонского времени, когда потомкам Тезея казалось, что будущее не только их собственной, благословенной богами земли, но и всей Эллады зависит только от них.

А теперь об этом будущем боялись и думать: после того как Алкивиада заподозрили в измене (в связи с разгромом в морской битве у мыса Нотия) и навсегда изгнали из Афин, обвинив в стремлении к тирании, исчезли последние надежды на то, что городу удастся вернуть былую мощь и великолепие. В 405 году у маленькой речки Эгоспотамы, впадающей в Геллеспонт, пелопоннесцы паголову разбили афинский флот (причем воины и матросы даже не оказывали особого сопротивления, многие из них вообще покинули свои корабли и разбрелись куда глаза глядят, не надеясь, видимо, больше на лучшее и равнодушные как к собственной судьбе, так и к судьбе своего города). Три тысячи афинян сдались тогда в плен и были казнены, а через несколько месяцев спартанский полководец Лисандр уже стоял со своими кораблями под стенами Афин, закрыв вход в Пирей, а царь Павсаний блокировал город с суши. Условия, на которых пелопоннесцы



соглашались заключить мир, были крайне тяжелыми для афинян, но у них уже не было другого выхода: противники требовали распустить морской союз (вернее, то, что от него к этому времени оставалось), передать спартам весь флот, срыть Длинные стены, вернуть изгнанников-аристократов и признать гегемонию Спарты над всем эллинским миром. Некоторые же из наиболее враждебно настроенных пелопоннесцев (прежде всего коринфяне) и фиванцы требовали не более, не менее, как уничтожения Афин. И вот тогда-то, когда, казалось, наступил последний час для великой державы Паллады, вольнодумствующий поэт Еврипид, уже два года как не существующий, спас, если верить преданиям, погибающий город вечной славой своего гения: «Говорят, на собрании союзников некоторые действительно предлагали продать афинян в рабство, а фиванец Эриант посоветовал разрушить город и обратить место, на котором он стоял, в пастбище для овец. Но когда затем военачальники собрались вместе на пир и один фокеец запел первую песню хора из «Электры» Еврипида, которая начиналась так:

. . . . . Агамемнона дочь,  
В сельский дом твой пришли мы, Электра, —

все были растроганы, все решили, что покончить со столь славным городом, давшим таких великих людей, и уничтожить его было бы делом чудовищно жестоким».

Слава Еврипида росла с каждым годом и с каждым поколением, и прав оказался Ион Эфесский, написавший на смерть «сладкозвучного соловья театра» следующую эпитафию:

Спи без тревог в Пиерийской, одетой  
туманом долине,  
В месте, где вечная ночь кроет тебя, Еврипид!  
Знай и зарытый в земле, что твоя  
непреложная слава  
Светлой и вечно живой славе Гомера равна.

Со временем оказалось несущественным то, что порицалось в его трагедиях современниками: излпшняя фило-софичность, порой схематизм образов и некоторая искусственность действия, но восхищали страстность и искренность поэта, глубокое знание человеческого сердца и сострадание к людям, в какше бы бездны падения ни ввергали их темные силы собственных страстей, — все то, чего эмоционально более восприимчивый читатель и зритель последующих столетий не могли найти ни у Софок-

ла, ни у Эсхила. Среди искусственной в поэзии молодежи стало модным обмениваться, перебрасываться между собою репликами из трагедий Еврипида, цитировать целые строфы, повествуя друг другу о собственных любовных перипетиях. Несравненный Менандр во многом обязан Еврипиду очаровательной непринужденностью и блеском своих комедий (скорее даже мелодрам), в которых в чем-то повторились, нашли дальнейшее развитие мотивы «Иона», «Андромеды» и «Елены». А Филемон, другой известный комедиограф, живший полвека спустя после Еврипида, так писал в одном из своих произведений: «Если умершие действительно живут за гробом, как уверяют некоторые люди, то я повесился бы, лишь бы только видеть Еврипида». В период эллинизма и римского владычества трагедии Еврипида считались вершиной драматического мастерства; Еврипиду стремились подражать поэты эпохи Августа, а «Федра» Сенеки вновь оживила для зрителей заходящей античности трагедию несчастной мачехи целомудренного Ипполита.

Творения сына Мнесарха прошли через толщу веков, волнуя сердца и воображение тех, жизнь которых, казалась бы, была так непохожа на жизнь бессмертного эллина, так чужда ей и так далека; ему стремились следовать поэты эпохи Возрождения и классицизма, им увлекались немецкие романтики, его трагедии высоко ценили Гёте, Шиллер, Байрон, Шелли, Леконт де Лилль и Верхарн. В России Белинский назвал Еврипида «самым романтическим поэтом Греции», «страстным, глубокомысленным философом», и уже в конце XVIII — начале XIX века появились первые переводы его произведений на русский язык, лучшими из которых до сего времени по праву считаются переводы Иннокентия Анненского. Все его творчество — это «бунт против мира такого, какой он есть или каким он кажется. Но, с другой стороны... — это свидетельство веры по отношению к миру такому, каким он должен быть, или, вернее, такому, какой он есть, в его внутренней сущности, и каким его раскрывает перед нами поэзия». И потому пребудет в веках мятежный духом сын Клите и Мнесарха, пребудет, пока люди останутся людьми, на каких бы языках они ни говорили и к каким бы высотам прогресса ни поднял их неостановимый в своем поступательном движении человеческий разум.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЕВРИПИДА

- 480 г. до н. э. — рождение Еврипида; победа греков над персами при острове Саламин.  
462—460 гг. — годы эфебии Еврипида.  
456—455 гг. — постановка первой трагедии Еврипида.  
443 г. — трагедия Еврипида была удостоена первой награды.  
438 г. — постановка «Алкесты».  
431 г. — постановка «Медеи».  
431—404 гг. — Пелопоннесская война.  
428 г. — постановка «Ипполита».  
425—423 гг. — постановка «Андромахы».  
424 г. — постановка «Гекубы».  
424—420 гг. — постановка «Просительниц».  
415 г. — постановка «Троянок».  
414 г. — постановка «Ифигении в Тавриде».  
413 г. — постановка «Электры».  
412 г. — постановка «Елены».  
Около 412 г. — постановка «Иона».  
Около 411 г. — постановка «Финикиянок».  
408 г. — постановка «Ореста».  
408—406 гг. — пребывание Еврипида в Македонии.  
406 г. — смерть Еврипида.  
405 г. — постановка «Вакханок» Еврипида.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

### ИСТОЧНИКИ

- Еврипид. Трагедии. Т. 1, 2. М., 1980.  
Аристофан. Избранные комедии, М., 1974.  
Геродот. История в девяти книгах, Л., 1972.  
Гесиод. Работы и дни. М., 1927.  
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.  
Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М., 1935.  
Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М., 1955.  
Платон. Сочинения. Т. 1—3. М., 1968—1972.  
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1—3. М., 1961—1964.  
Софокл. Трагедии. М., 1979.  
Фукидид. История. М., 1915.  
Эсхил. Трагедии. М., 1978.

### ЛИТЕРАТУРА

- Античное общество. М., 1967.  
Античная цивилизация, М., 1973.  
Античность и современность. М., 1972.  
Боннар А. Греческая цивилизация, т. 2, 3. М., 1958—1961.

- Бузескул В. П. История афинской демократии, т. 1. Спб., 1909.
- Варнеке Б. В. История античного театра. М.—Л., 1940.
- Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966.
- Вопросы классической филологии. М., 1969.
- Головия В. В. «Умоляющие» Еврипида. — В кн.: Институт истории искусств. М., 1957.
- Головия В. В. История античного театра. М., 1972.
- Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Спб., 1913.
- Доватур А. И. Рабство в Аттике в VI—V вв. до н. э. М., 1980.
- Зелинский Ф. Ф. Древний мир и мы. М., 1911.
- Коллинз Л. Эврипид в изложении Л. Коллинза. Спб., 1877.
- Кун П. Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1957.
- Латышев В. В. Очерк греческих древностей, ч. 1. Спб., 1894—1895.
- Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.—Л., 1929.
- Магаффи Дж. П. История классического периода греческой литературы. Т. 1—2. М., 1882—1883.
- Маковельский А. О. Софисты. М., 1940.
- Радлов С. И. Очерк истории греческой этики до Аристотела. Спб., 1908.
- Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 1959.
- Рожанский Н. Д. Анаксагор. У истоков античной науки. М., 1972.
- Соболевский С. И. Аристофан и его время. М., 1957.
- Штолль Г. В. Великие греческие писатели. М., 1901.
- Язык и стиль античных писателей. Л., 1966.
- Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила. М., 1978.

Стихи из трагедий Еврипида, Эсхила, Софокла даны в переводе И. Анненского, С. Шервинского, С. Апта и Н. Позднякова, из комедий Аристофана в переводе С. Радлова и Адр. Пиотровского.

Стихи античных поэтов даны в переводе В. Жуковского, Вяч. Иванова, В. Вересаева, С. Апта, Л. Блюментау, О. Румера.

## СОДЕРЖАНИЕ

В лучах Саламина . . . . .	5
На службе отечеству, мечтая о Мельпомене . . . . .	25
Человек есть мера всех вещей . . . . .	53
«Век просвещения» . . . . .	76
Закат «золотого века» . . . . .	112
Во власти Ареса . . . . .	139
Раздавлены мы тяжестью печали . . . . .	165
Упрямый и горестный слуга Мельпомены . . . . .	189
Последние годы в Афинах . . . . .	214
В изгнании . . . . .	240
Эпилог . . . . .	262
Основные даты жизни и творчества Еврипида . . . . .	269
Краткая библиография . . . . .	269

**Гончарова Т. В.**  
Г 65 Еврипид. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 271 с.,  
ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.  
Вып. 12 (651)).

1 р. 30 к. 150 000 экз.

В книге рассказывается о «трагичнейшем из поэтов», как отзывался о нем Аристотель, замечательном древнегреческом драматурге Еврипиде. Острога постановки важнейших философских и нравственных проблем во всемирно известных «Медее», «Троянках», «Финикиянках» и других произведениях украсила за Еврипидом репутацию «философа сцены».

Г 4702010200—270  
078(02) — 84 139 — 84

**ББК 83.3(0)3**  
**8А**

ИБ № 8954

**Татьяна Викторовна Гончарова**

**ЕВРИПИД**

Редактор **В. Левченко**

Художник **В. Носнов**

Серийная обложка **Ю. Арндта**

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **В. Авдеева, И. Тарасова**

Сдано в набор 22.03.84. Подписано в печать 12.09.84. А08162.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура  
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 14,28+  
+1,78 вкл. Усл. кр.-отт. 16,37. Учетно-изд. л. 16,5. Тираж  
150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 1 р. 30 к. Заказ 2261.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-  
графии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.